«КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ...»

В. В. Колесов

В. В. Колесов

"КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ..."



серия
ЖИВОЕ СЛОВО

ИВАН ФЕДОРОВ

В. В. КОЛЕСОВ

«КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ...»

Санкт-Петербург
«Иван Федоров»
2001

ББК 81.2Р
К 74

К 74 **Колесов В. В.**
«Как наше слово отзовется...». – СПб.: «Иван Федоров», 2001. – 347 с.

«Как сказать правильно?» – спрашивал себя и других каждый из нас. «И почему?» – добавляли пытливые.

В этой книге на вопросы о правильном словоупотреблении отвечает профессор Санкт-Петербургского государственного университета В. В. Колесов.

На некоторые из этих вопросов автор отвечал в книгах, издававшихся ранее, однако было это давно и книги те стали редкостью.

Другие вопросы возникли недавно, и продолжают возникать...

Вопросы задают люди разных возрастов, с разным образованием. Поэтому и книга будет интересна и полезна самому широкому кругу читателей.

ISBN 5-93893-074-X

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этикет для человека, что этикетка для вещи (во французском языке это одно слово): по одежке встречают – по речи провожают. А ещё этикет – это этика, так что и речевой этикет есть правила поведения в речи.

Этикет символичен. Словесная форма сообразно традиционной идее воплощается в действии – таковы те «три сосны», в которых легко заблудиться, то есть забыть, *для чего* этикет существует (для дела в обществе), *от чего* возник (от идеи – в культуре) и *в чём* он явлён (в словесной формуле, которая объединяет всё общество в данной культуре).

Академик Д. С. Лихачев, говоря о средневековом этикете, все три стороны этического поведения назвал «представлениями» о том, «*как надо*»: 1) представление о реальном ходе событий (это – вещь); 2) представление о том, как себя вести (в идее); 3) представление о том, как всё это выражено в слове. Этикет дела, этикет идеи, этикет слова. Невозможно сказать, что важнее или, как некоторые говорят, «что первее». Однако мы хорошо знаем, что словом всё начинается и в слове же завершается. Только формами словесного этикета человек отличается от других представителей животного царства; этикет действия известен всем, этикет идеи зависит от слова.

Но идея, смысл, значение закреплены за словом, так что и в этом смысле слову – первое место.

Вот почему столь часто возникают вопросы, и в устной и в письменной форме, и разные люди спрашивают о русском слове, о смысле его и звучании. Вот почему

так много хороших и умных книг написано о культуре речевого поведения.

Интересная тоже вещь: ни на каком языке больше нет такого количества работ, посвящённых культуре речи, как у нас, о языке русском. Не оттого ли, что мы бескультурны, и потому нам обязательно нужно учиться родному языку? Вовсе нет, бескультурны в этом отношении не больше, чем все иные народы. Но на всех языках говорят и пишут как придётся, как слово выльется – по-разному. Пишешь английскую фразу – делай перенос, где строка кончается, неважно на какой букве. У нас же – правила переноса, которые учитывают и смысл, и состав слова, и даже его звучание. И только у нас придают значение тому, чтобы во всех случаях говорить и писать *правильно*. Великое разнообразие слов и форм, речевых формул и речений – богатство народа, но вместе с тем и тяжёлый труд в управлении им. А ведь хочется говорить и *красиво*...

В этой книге не найти ответов на в с е вопросы, которые возможны и которые были предъявлены автору в письмах, в беседах, после лекций и докладов... Это всего лишь попытка разобраться в типичных случаях поведения, как говорится, размышляя на ходу.

Когда возникает желание объяснить какой-то факт, не следует стремиться давать ему оценку – сразу же испортишь всё дело. Хорошо или плохо, но из факта он тут же превращается в предмет разногласий.

Нужно поступить осмотрительнее. Для начала отдалить этот факт от себя и взглянуть на него незаинтересованным взглядом, как бы со стороны, отстранённо – объективно. Тогда и факт превращается в объект, а объект – уже научное понятие.

В полной мере относится сказанное и к языку, к фактам языка даже скорее, чем ко всему остальному. Ведь языком мы пользуемся ежедневно, сжились с ним, он для нас как кожа и одновременно – рабочий инструмент, без которого не прожить... И сколько привычного для нас кажется нам обычным, и сколько обычного – верным! Очень трудно судить о языке справед-

ливо и здраво. Так и хочется опереться на свой собственный опыт, своё понимание языка, на своё чувство.

Есть несколько способов отстранения от субъективных впечатлений о субъективном в языке. Можно наблюдать речь других людей и сравнивать со своею; нужно постоянно просматривать словари и проверять свои знания о родном языке, который кажется столь понятным; необходимо внимательно читать книги, особенно художественную литературу и – в первую очередь – стихи. Конечно, хорошую литературу и очень хорошие стихи. Написанные на русском языке и не переведённые с других языков. Совершенно обязательно знать историю своего языка, потому что исторический взгляд на язык позволяет увидеть его не просто отвлечённо от собственных языковых переживаний, но ещё и в цельном его виде, не разобранным на отдельные слова или грамматические формы. История слов не просто интересна, ибо позволяет понять их коренной смысл, она и полезна, поскольку открывает тайны бытия: всякая философия есть прежде всего раскрытие национальной ментальности через категории и формы родного философу языка.

И уж после того, как всё это исполнено, возникает уверенность в том, что ничто не упущено и всё принято во внимание, можно уже оценить полученный результат и на этом построить линию своего поведения. Быть может – всё бывает! – тогда окажется, что и не следовало предпринимать столь сложный путь, потому что с самого начала ответ был ясен.

Но дорогу осилит идущий – а сколько он увидит по пути?

Каждое слово, с которым мы встретимся на этом пути, само по себе – это символ. А символ, как ясно каждому, кто хорошо учился в средней школе, – это условное обозначение вещи, качества или действия в понятии или в идее.

Так что каждое слово имеет свой смысл, обладает значением и представляет ценность. В слове родного языка, в любом его слове одновременно сосуществуют

образный смысл – *образ*, понятийное значение – *понятие*, и ценность национального *символа*. Слово как символ в глубину растёт: за образом – понятие, за понятием – символ (которые в этом смысле называют ещё «образным понятием»). Вот «рука» – это символ власти и могущества, «дом» – отчий кров, «кикимора» – обездоленное судьбой существо, в своём одиночестве страшное.

Задача, стоящая перед каждым, состоит в постижении смыслов слова. Задача одновременно и простая и сложная.

Простота в очевидности смысла: кто из русских не знает, что такое д о м, р у к а или даже к и к и м о р а? Знают в образе, образно, что не всегда совпадает с тем, что называют «понять». Понимают не в словесном образе, представлении, понимают (схватывают умом) понятием. Кто, не заглядывая в словарь, не задумываясь способен дать п о н я т и е «дома», «руки» или той же «кикиморы» – тот, конечно, является специалистом по домам, по рукам или хотя бы кикиморам.

Дом – строение, предназначенное для жилья или работы.

Рука – верхняя конечность человека от плеча до кончиков пальцев.

Кикимора – нечистая сила в женском образе.

Но ведь слово и само по себе – символ. Мы начали с этого: слово – символ. А символ есть образное понятие – то, что мы представляем в образе, ухватив в понятии (*поятии*), в совместном усилии мысли и чувства рождается символ. А символ всегда остаётся основным элементом национальной культуры. Он – культура и есть.

Существование человека в языке предполагает трёхмерность связей: отношение человека к знаку-слову (мы назвали его символом), его отношение к идее-смыслу и его же отношение к вещи и миру. Полнота восприятий предполагает все три источника в поступлении информации: и чувства, и разум, и волю. Лишь в гармонии трёх составляющих человек становится

личностью, ибо тогда он сам, без помощи «средств посторонней информации» и партийных идеологов, может понять событие, оценить идею или выразить их — в слове. А отношение к идее есть истина, отношение к вещи есть польза, отношение к слову есть красота, и всё это вместе у философов носит имя, известное всем, желанное всеми, но не всем доступное: *благо.*

Быть может, читатель, прочтя эти строки, отложит книгу. И ошибется, потому что книга совсем не о том.

Дорогу осилит идущий...

В 1961 году Корней Чуковский, только что выпустивший в свет свою знаменитую книгу о русском языке «Живой как жизнь», записал в своём дневнике: «Неохота писать о языке. Какой тут язык! Недавно одна женщина написала мне: “Вы всё пишете, как плохо мы говорим, а почему не напишете, как плохо мы живём?”»

Сам писатель на этот вопрос не ответил, а что подумал — неизвестно.

Но ответ имеется: нужно писать другие книги.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Грамотный, образованный, учёный

В любом обществе человек, который чем-то выделяется среди остальных, вызывает интерес и желание постичь, что нового в социальную жизнь вносят такие, как он. Ведь поначалу это «новое» непонятно, внушает подозрения.

Так и в русской истории. Кажется, совсем недавно мещанская среда выдвигала свои ярлыки-лозунги: «ишь, какой грамотный!» или «образованные одолели!», а потом и «шибко учёный!» или «все тут культурные!». Теперь же всё чаще мы слышим споры о том, что такое интеллигент. Именно в этой последовательности и развивалось в нашем обществе отношение к людям, воплощавшим в себе те понятия, которые сегодня окончательно сформировались в известные всем — образованный, учёный, культурный, интеллигентный человек.

Действительно, некогда речь могла идти о человеке вообще, во всей совокупности его свойств. Сегодня мы говорим отдельно, аналитически расчленяя понятия, об учёном, о культурном, об интеллигентном. Многообразие человеческих индивидуальностей и многосложность современной социальной жизни выделяют из нашей среды представителей самых разных культурных типов. В подходе к культуре как созданию само́го человека общество быстро находило свои критерии и оценки. Вчера и грамотности достаточно — сегодня требуются образованные, вчера культурный был выше всех — сегодня требуют интеллигентного.

Издревле существовало представление о человеке как об определённой целостности: во всех качествах и свойствах, изначально данных ему родителями или родом. Ведущих качеств четыре, и каждое следующее рангом выше, поскольку оказывается важнее в отношении человека к остальным людям. Физическая сила – *сильный*, пригожесть – *красивый*, разумность – *умный*, и всё это вместе как итог жизни – *добрый. Добрый человек* – всегда человек хороший.

Конечно, и сегодня сохранились (и мы понимаем их) все эти качества-признаки, но по велению времени и они повернулись новой своей стороной, в переносном значении выражая не личное только свойство человека, но и общественный к нему интерес: *сильные мира сего, красиво работает, умные руки...* Образный сдвиг в значении слов отражает оценку с позиции «всех», с социальной точки зрения.

Взглянем на слова *грамотный, образованный, учёный*. Все они пришли из высокого слога. Уважительное отношение русского человека к мастерству и к знанию хорошо известно. *Грамотный* от заимствованного у греков *грамота*; только у русских и украинцев есть это слово. *Образованный* – славянизм, близкий к значению слов *образовать* или *образный. Учёный* – страдательное причастие, а страдательные причастия не очень-то жаловали в разговорной русской речи. Однако являясь определениями, все эти слова постепенно выработали в себе признаки, которыми воспользовались при именовании человека. Сочетание «грамотный человек» сжалось в одно слово *грамотный*, «образованный человек» – свернулось в *образованный*, «учёный человек» – породило важное (уже для нашего времени) слово *учёный*.

Будьте внимательны, не пропустите: не отдельное слово важно, а совокупный смысл всех относящихся сюда понятий. Термин *учёный* из сочетания *учёный человек* образовалось по старой модели, хорошо известной русским. Не случайность, а национальное чувство ведёт в пересмотре опорных слов культуры. Важны

отражённые в словах-понятиях степени мастерства, которые постоянно повышаются.

Не так давно, казалось бы, А. И. Герцен произнёс иронически: «Я уверен, что со временем ясно докажут, что прилагательное *учёный* уничтожает существительное *человек*», – а вот уже есть у нас особый термин *учёный*, хотя осталось и сочетание *учёный человек*, которое звучит насмешливо. Таково отношение к «учёному» с древности, «слишком учёный» – нехорошо. Герцен всего лишь перефразировал знаменитую латинскую пословицу, известную по афоризму Мишеля Монтеня: «После того, как появились люди учёные, нет больше хороших людей». Учёность, как и образованность, не определяет порядочности и прочих нравственных качеств учёного или образованного человека. Порядочность и нравственность – это другой ряд понятий и слов.

Последовательность возникновения этих слов легко проследить в языке, стоит лишь внимательно приглядеться.

Можно ведь сказать «профессионально грамотный человек» – это как бы предел возможностей в творческом развитии мастера. «Профессионально образованного или учёного» быть не может: профессиональная их подготовка входит в содержание самого понятия об образованности или учёности. Точно так же *высоко* или *широко образованный* отличается от *глубоко учёного* – тоже ведь существенная разница. Высота и широта подготовки являются пределом для образованности, но учёный, помимо этого, должен ещё вникнуть в своё дело, может быть и узкое по предмету, но всегда – беспредельно глубокое по существу.

Есть и профессиональные ограничения, связанные со спецификой дела. Можно представить грамотного в своём деле сантехника, но над учёным сантехником посмеялся бы и он сам. Писатель может быть образованным, но учёный писатель... увольте! Писатель может стать учёным, может быть и учёный-писатель, это правда, но только после того, как пройдёт подготовку, став в школе грамотным, а в вузе образованным.

Наконец, важны и производные слова. У *грамотного* много противоположностей: тут и *неграмотный*, и *безграмотный*, и *малограмотный*. *Образованный* сужает границы противоположностей: может быть *необразованный*, попадается *малообразованный*, – вот, пожалуй, и всё. *Учёный* либо есть, либо его нет, и тогда он только кажется учёным; прибегают к новым формам отрицания, заимствованным из классических языков, – *псевдоучёный, квазиучёный* или (по их образцу, с переводом приставки на русский) *лжеучёный*. В отличие от образованности и грамотности, учёному не противопоставлены никакие степени отсутствия учёности. Это просто не нужно. Слово стало именем, отражающим существенную часть современной производственной жизни. *Учёный* – работник умственного труда, занятый важным делом, наукой. Вот насколько гибко отражает наш язык различия между грамотным, образованным и учёным! Есть ещё одно свидетельство этого, незаметно присутствующее в нашем обиходе. Приобщением к грамотности руководит Министерство просвещения, и оно отличается от Министерства высшего и среднего специального образования. Есть ещё и Академия наук – соединяющая научные институты. Мы потому и различаем смысл всех трёх слов, что в социальных установках нашего общества имеются материальные силы, такие различия организующие. Главное же – за каждым словом стоит его история. Изучая историю слов, мы всегда уясним себе и развитие их значений.

В XIX веке социальная программа направлений общественной мысли определялась и отношением их к уровню народной культуры. Московские славянофилы ратовали за грамотность, петербургские либералы призывали дать народу грамотность и образованность, революционные демократы считали необходимыми для народа образование и современную науку. Степени «знания» чётко различались в русском обществе, их взаимное соотношение – в центре внимания публицистики; оттачивались смысл и характер терминологии. «Грамотность распространяется у нас гораздо быстрее

образования, – писал народник Н. В. Шелгунов. – Все мы умеем читать, но только очень немногие что-нибудь знают и понимают, что они читают». На самом же деле, считал Шелгунов, став грамотной, образованная масса получает верные понятия только с наукой – иначе и образованность не развивается дальше.

Знают – образованные, понимают – учёные. Последовательность в развитии интеллектуальных способностей человека выражена в этих глаголах точно: уметь – знать – понимать. Грамотен и ремесленник, широко образован – мастер, а вот для учёного самое важное – познание нового, он на острие прогресса. Так распределились функции всех трёх слов теперь, но путь к этой точности и ясности мысли был длительным и трудным.

Социальное усложнение русского общества требовало дифференциации понятий, а следовательно, и развития смысла слов. В XVII веке *грамотный* – и 'грамотный', и 'образованный', и 'учёный' вместе, в XVIII веке *грамотный* – только 'образованный' (для обычной грамотности подыскиваются особенные слова: *письме́нный человек*). В середине XIX века развитие общества остановилось «перед неясным ещё, но влекущим к себе словом *образование*», – писал известный педагог В. П. Острогорский. Не *грамотный*, а *образованный* в то время – высшая степень в развитии творческих возможностей человека.

Но и слово *образованный*, возникнув в 1830-е годы, долгое время не имело нынешнего смысла, являлось как бы истолкованием слова *просвещённый*. Оно понималось слишком конкретно.

Постепенная специализация значений у этих слов началась под влиянием иностранных языков, прежде всего – под воздействием со стороны уже выработавшего подобную дифференциацию смыслов немецкого языка. И современники замечали, что различие немецких *Bildung* 'образование', *Erziehung* 'воспитание' (т. е. просвещение) и *Unterricht* 'обучение' (грамота!)

как-то связано с неуклонным расхождением в смысле старинных русских слов *воспитание, образование, просвещение*. Различие между ними ещё не терминологическое, значения их отчасти совпадают.

В далёкой древности и *учёный* – просвещённый, можно даже сказать – образованный человек: обученный кем-то, наученный чему-то.

В современном смысле слово использовал первым, пожалуй, М. В. Ломоносов в те времена, когда над учёным подсмеивались, именуя его *педантом* или *гелертером* – на французский или немецкий манер. Пока не нужны учёные, они не имеют и имени.

Лишь в статьях Белинского вновь появилось слово *учёный* – знающий о научных проблемах, о науке. Учёный в представлении русского человека сто лет назад – и наученный, как в давности, и знающий, как во времена Ломоносова, да ещё и осведомлённый в специальных вопросах науки, – всё это вместе. Слово ещё неопределённо по смыслу, термина – нет.

Слово *научный* вошло в наш язык рано: основанный на принципах науки. Слово же *учёный* стало термином только с развитием современных наук. Лишь в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова (1940) к прежним значениям ломоносовского слова добавляется и такое: «В значении имени существительного – специалист в какой-нибудь научной области».

Так постепенно изменяли по смыслу, то сужая, то расширяя свои значения, старые книжные слова, выстраивались по рангам в общий ряд, чтобы в конце концов строго и ясно обозначить степени знания и умения: *грамотный – образованный – учёный*. Признак знания важен для всех троих, признак культуры – только для грамотного и образованного. Случилось так потому, что и понятие *культурный человек* вошло в нашу жизнь вместе с понятием *учёный человек*.

Цивилизованный и культурный человек

Если грамотный, образованный и учёный могут разобраться во всех особенностях языка, зная и понимая его, от культурного человека ждут большего. Однако культурный и учёный... могут и не совпадать в одном человеке, как знания и культура не совпадают в общих признаках.

Мы вступаем в новый ряд определений современного человека.

XVIII век, век Просвещения, подарил эти два понятия, выражавшие одно и то же: *цивилизация* во Франции (Гольбах, 1770) и *культура* в Германии (Гердер, 1791) – как закон человеческой истории, преемственность поколений и развития общества.

Цивилизация – от латинского определения *civilis* – 'гражданский'; т. е., строго говоря, 'городской'. Городская культура, противопоставленная натуре – природе. Пока в особой чести была французская речь, у нас ходило французское слово. Чаадаев, Пушкин, декабристы, Герцен, петрашевцы, Писарев – все говорят о цивилизации и цивилизованных людях (лексикографически – начиная со словаря 1837 года, в котором даже произношение французское: *сивилизация*).

Слова *культура* ни у кого из них нет. Ещё и В. И. Ленин на рубеже веков говорил о XIX веке, «который дал цивилизацию и культуру всему человечеству», – и цивилизацию, и культуру. Оба термина употребляются пока вместе, потому что обозначают одно понятие. Позднее потребовалось их разграничение по смыслу. Цивилизацию стали связывать с материальной деятельностью человека, культуру – с духовной.

Нужно понять журналистов XIX века. Слово *прогресс* запрещено к употреблению, слово *развитие* также, слова *революция* давно нет ни в одном словаре. Вынужденный обстоятельствами, «эзопов язык» революционных демократов нуждается в термине, который давал бы намекающее понятие о прогрессе и развитии,

о революциях. Идея прогресса и развития... *цивилизация.* Идея просвещения – *культура.* «Где эта культура, в чём созданная нами цивилизация?!» – восклицал публицист-народник Н. В. Шелгунов.

У революционных демократов, а затем у писателей-народников постепенно выстраивалась в логическую цепь последовательность слов, выражающих новые социальные отношения. Они рождаются, новые отношения и связи, их нужно как-то обозначить, а иностранное слово, внешне невинное (и привычное для всех, кто владеет языками), годится тут как нельзя лучше. Царедворец под *цивилизацией* понимает привычки городской жизни, передовой публицист – развитие общества в новом направлении. Для одного и слово-то во французском произношении: *сивилизация,* – для второго это уже интернациональный термин: *цивилизация.*

О *культуре* тоже известно, что слово латинское и обозначает нечто, противоположное природе – *натуре.* В 1863 году, когда сотрудник «Отечественных записок» употребил выражение «действовать на природу культурою», критик славянофильского «Москвитянина» советовал заменить последнее слово привычным в то время *возделанием.* В своём роде это верно, потому что *культура* и значит 'обработка, возделывание', даже 'образование (чего-то)'; так и отмечено впервые в словаре иностранных слов 1861 года. Более ста лет назад сначала П. Л. Лавров, а затем Н. В. Шелгунов в «Очерках русской жизни» внимательно рассмотрели все признаки, которыми современники различали слова *цивилизация* и *культура.* Описывая социальные отношения своего времени, они прояснили содержание понятий, обозначенных этими словами; пока ещё не терминами, а заимствованными словами, обычно в сочетании с более понятными русскими словами. Новые слова внедрялись в сознание читающей публики.

Язык и сам по себе способен показать – стало слово русским или оттачивает пока свой смысл в литературных битвах. Слово развивает свои переносные значения

и с помощью суффиксов образует новые, уже совершенно русские слова.

Ещё и в середине XIX века предпочитали говорить *человек цивилизации*, а не *цивилизованный человек*. Нет и сочетания *культурный человек*, хотя встречаются *культурный век* и *культурное общество*. Более того, до XX века возможны выражения *культурное травосеяние* или *культурное производство* – 'возделывание' или 'промышленность', т. е. в точном соответствии с латинским термином в немецком его понимании. В конце XIX века человека, который «ввёл в культуру» салат и турнепс, называют *высококультурный хозяин*. В начале XX века только светские люди называют себя *культурными людьми*, но всегда в том же самом прямом смысле: воспитанные, вылощенные (т. е. не «дети природы»). П. Л. Лавров рискует говорить о «просвещённом культурном слое образованных» и «культурных силах» (1877), но в этих сочетаниях иностранное слово всё ещё поясняется привычным русским. Мысль развивается постепенно: сначала говорят о своей культуре, потом о культурных силах, которые становятся (собирательно) культурными людьми, – но всё ещё в прямом смысле слова.

И XX век множит определения: *культурное строительство, культурная революция, культурный уровень, культурные связи* – указывают на определённый уровень культуры, которого может достичь эпоха или страна.

Вспомним: *образованным человеком* поначалу называют того, кто получил образование. Только со временем по метонимическому переносу значения так стали называть человека, имеющего разносторонние знания: «люди учёные – образованные!»

То же с определением *культурный*. Человек, живущий в культурном обществе и в культурный век, да притом и образованный до такой степени, что может осознать это, – несомненно культурный человек. В начале 1930-х годов в толковом словаре Д. Н. Ушакова сочетание *культурный человек* уже известно, хотя над

ним и посмеиваются: 'возделанный человек'! Пока осознаётся внутренний образ слова, его исходный смысл, слово не стало термином. Оно ещё опутано множеством побочных значений, исконных и благоприобретенных, и каждый человек по-своему понимает это слово. В том же словаре вторым значением слова *культурный* указано 'образованный человек'. В новом же академическом словаре вместо него в качестве побочного стоит уже 'воспитанный человек'! *Образованный* связано со знанием и обучением, а *воспитанный* относится к нравственной сфере бытия. Для разных эпох важен свой подтекст.

Не потому ли и слово *цивилизация* употребляется нами меньше, чем слово *культура*?

Теперь важнее обозначить не материальную сторону цивилизации (понятие о материальной культуре в основном обозначается словом *цивилизация*), а духовную. Но и духовная, нравственная сторона современной жизни сознанием также раздваивается. С одной стороны, это – по преимуществу внешняя культура, создающая *культурного человека*. А с другой – заветно своё, в борениях выстраданное представление о мире, классовое и национальное, личное и всечеловеческое. Возникла нужда ещё в одном слове, и оно появилось – *интеллигентный*.

Интеллигентный человек

История слова *интеллигенция* хорошо известна с момента его заимствования из польского языка в 1862 году. Пореформенные русские журналы ухватились за слово, обозначавшее «мыслящий класс» своего времени, и в зависимости от классовой позиции то восхваляли, то всячески порицали «интеллигенцию». С одной стороны, это «люди критической мысли, люди интеллигенции» (П. Л. Лавров), с другой – «ничтожество людей, так называемых интеллигентных» (царский цензор А. В. Никитенко). Классовые грани, важ-

ные в середине XIX века. В подобном разграничении определений и позиция публициста, и реальность отношений в жизни.

Исходный корень – латинское слово *интеллектус* – 'разум, ум'. Разум в отличие от чувства и духа. *Интеллектуал*, сказали бы мы сегодня об этом значении слова. Оно и воспринималось таким ещё в конце XIX века. Поэт Валерий Брюсов в 1899 году считает необходимым переводить новое слово известным ему французским: «общество *интеллигентов (intellectuels)*, которого не выношу». Историк В. О. Ключевский в 1897 году пишет: «Это слово недавно вошло у нас в употребление и держится пока только в газетном жаргоне. Оно некрасиво, хотя имеет классическое происхождение. Некрасиво потому, что неточно, значит не то, что хочет обозначать. Оно означает собственно человека разумеющего, понимающего, а им обыкновенно называют человека, обладающего научно-литературным образованием. Как видите, это понятия различные, хотя и не противоположные».

Профессору, знающему латынь, новое значение слова кажется диким: почему 'образованный', если сам корень указывает на значение 'понимающий'? Чужое слово, став термином русской общественной жизни, на страницах журналов не сразу приспосабливается к русской речи.

Над ним потешаются, намеренно понижая его смысл. Для Гончарова признак интеллигенции – писание стихов, для Салтыкова-Щедрина – безделье на общем фоне досуга, для модного писателя Боборыкина – умственность, особенно у дам.

Поначалу ясно только одно: интеллигенция противопоставлена простолюдинам. «А интеллигент, – разъясняет Шелгунов, – не всякий, кто думает. Надо знать, что думать, надо уметь думать». Знакомый мотив – знать и уметь! Слова, сказанные в 1875 году, выражают мнение прогрессивных людей России, которым представляется, что основной признак интеллигента – духовные искания, стремление к общественным идеалам,

к делу. Интеллигенция сама своим отношением к народу формировала понятие о себе.

В мемуарной литературе мы найдём множество указаний на то, как воспринимали интеллигента в отличие «от культурных людей» из аристократического салона. «Мы говорили про кого-нибудь: "Это типичный интеллигент, он не бреется каждый день, ест с ножа и дамам не целует руки"... Или: "Это не настоящая дама, это интеллигентка, она называет свою фамилию, когда ей представляют мужчин"».

Но такие, чисто внешние характеристики мало тревожили власть имущих, они понимали, что «в интеллигентных кружках шла умственная работа обличительная и даже раздражённая против порядка вещей» (из досье жандармского управления). Не заметить это – значило открыть дорогу революционным силам. И вот в начале 1880-х годов «Новое время» – газета охранительная – по прямому наущению правительства неожиданно взорвалась статьёй, направленной против интеллигенции.

«Печать всполошилась, – писал Шелгунов, – и начались обсуждения, кого и что считать интеллигенцией, какая интеллигенция настоящая и какая ненастоящая. С тех пор этот вопрос так и не сходил со сцены и составлял центральную точку всего умственного движения восьмидесятых годов». Не только 1880-х, но и дальше – вплоть до революций, и до сих пор.

В общественных столкновениях мужала и крепла та нравственная сила, пока не определяемая точным термином, которую уже ощущали. «Интеллигентностью была не наука, не знание, а какое-то высшее, всеразрешающее начало или источник, в котором сосредоточивалось всё высшее и самое правильное разрешение всех неясностей жизни», – писал тогда же Н. В. Шелгунов.

Реакционеры требовали, а министр внутренних дел готов был исключить из употребления выражение *русская интеллигенция*. Важное уточнение: *русская*. Совсем не тот смысл, что в прежнем собирательном

имени *интеллигенция*, новое выражение несёт с собою социальный заряд большой силы. Исподволь созревало понятие об интеллигенте – русское слово и понятие русское. «Не всякий работник умственного труда, – правильно отметил К. Чуковский, – а только такой, быт и убеждения которого были окрашены идеей служения народу», – *интеллигент*. В словари других языков слово *интеллигент* в таком значении вошло как русское слово.

Слово постоянно изменяло не смысл свой – основное значение, а те неуловимые за давностью прошедших лет социальные и нравственные оттенки, которые единственно и составляли т е р м и н быстротекущей политической жизни – тогда, в горячке боя. Мы видим: сначала *интеллигенция* – всякое образованное общество, затем – средний, независимый от сословных границ класс, ещё позже – культурная прослойка в обществе. И вся эта масса людей, сосредоточиваясь на одном общем деле, постепенно становилась воплощённой совестью своего времени, носителем высоких идеалов, обязательно связанных со служением своему народу. Чтобы уточнить понятие в таком именно смысле, поначалу использовали добавочные определения: *передовая интеллигенция, пролетарская интеллигенция, рабочая интеллигенция*.

Уточняющие определения по мере своего развития *интеллигенция* получает и в наше время: *трудовая интеллигенция, советская интеллигенция, народная интеллигенция*... и так далее: жизнь уточняет слово.

Двойственный характер дореволюционной русской интеллигенции отразился и в появлении новых слов, производных, вторичных. *Интеллигентный* в смысле 'культурный' появилось около 1870 года, а *интеллигентский* – 'принадлежащий интеллигенции' – чуть позже, примерно в 1880 году. Выбор прилагательных оказался удачным. Мало того, что все они по суффиксу – уже чисто русские слова, между ними есть и смысловая разница. *Интеллигентский* – тот, кто п р и н а д л е ж и т интеллигенции, а таких признаков может

быть много, в том числе и не совсем достойных. *Интеллигентный* же – тот или то, что присуще интеллигенту, составляет основной его признак и является характеристикой лица, а не класса.

Потому-то появилось сочетание: *интеллигентный человек*, а не *интеллигентский* – качество личное, не принадлежность к социальной группе. Интеллигентными в XIX веке прежде всего стали называть труд, профессии. Чехов говорил об *интеллигентной жизни*, Короленко – об *интеллигентной совести*. Все в отвлечённом смысле, но все о проявлениях умственной деятельности человека. По уже знакомому нам переносу значения с деятельности на человека возникают сочетания, последовательно сменявшие друг друга: *люди интеллигенции*, затем *интеллигентные люди*, а с конца XIX века и *интеллигентный человек* – отдельно, самостоятельно, как выражение личности. Один из ранних примеров – в публицистике Короленко: «Два интеллигентных человека и десять мужиков».

Как только стали образовываться разные прилагательные, их сразу же попытались расценить: что хорошо, а что не очень. В. И. Ленин в своих произведениях 61 раз употребил слово *интеллигентный* и более 300 раз – *интеллигентский*. В частности, в его речах и публицистике сформировалось отрицательное отношение к интеллигентскому и уважительное внимание к интеллигентному.

Определение *интеллигентский*, как осуждаемое, не развивалось дальше. Из устойчивых сочетаний *интеллигентные люди, интеллигентный человек* по общему закону русского языка, сжимаясь в одно слово, возникло сначала обозначение *интеллигент*, а с 1880-х годов – *интеллигентность*, та самая интеллигентность, которая со временем и стала самым общим признаком интеллигентного человека. Но история непредсказуема. Из *интеллигентного* образовалось и слово *интеллигентщина* – узкие интересы кружка в ущерб интересам национальным.

Добрый человек

В современном 17-томном академическом словаре о слове *интеллигентный* сказано: 'умственно развитый', 'образованный', 'культурный'. Вот три признака, которые как бы вбирают в себя сразу три прежних слова и связанные с ними понятия всех трёх уровней: культурность всего лишь частный признак интеллигентности.

Какими-то таинственными нитями связаны всё-таки друг с другом все эти слова: *образованный, культурный, интеллигентный*. Да ведь была и какая-то потребность общественной жизни, чтобы понятия обо всех оттенках личности, вторгаясь в русскую действительность, утверждались в ней и наконец образовали термин. Жизнь за сто лет изменилась в корне, и новый термин стал неизбежностью.

А ведь были люди, некультурные, неинтеллигентные, которые с порога хотели отменить чужие слова, запретить – и их, и скрытые за ними понятия, прекратить живое течение общественной мысли, пытливо пробивающей путь сквозь завалы слов, выражений и путаных журнальных статей.

Почему стало возможным укоренение чужих слов? И почему не все из них сохранились? Да потому, что в русских словах, коренных и древних, сохранялось особое отношение русского человека и к умному, и к доброму – к заступнику народному. Никакое заимствованное слово, будь оно самым распрекрасным и точным, не ляжет на душу, не отзовётся коренным своим смыслом, если не пройдёт сквозь огонь и воду решительных социальных испытаний. Язык развивается сам по себе, по своим законам, это верно. Но нормы литературной речи создают люди. Они выбирают из множества слов только то, что годится им для красоты и точности речи.

Судите сами, насколько избирателен русский язык. *Цивилизованный* – слово понятное, но употребляется редко. *Культурный* и *интеллигентный* – используем очень часто.

В своё содержание этот термин вобрал исконную русскую традицию – обозначить человека умного, оценив его и со стороны нравственной. Не просто умный – добрый. В умном наши предки прежде всего видели и ценили способность к душевному порыву, духовную суть познания, требования к которому постоянно повышались, всё усложняясь со временем. Ум и знания двузначны. Они могут быть и злыми и добрыми, а для русского человека ценен ум добрый. Выходит, что в понятие о русском интеллигенте незаметно вошло народное представление о хорошем и умном. Такое представление отражается во всех новых словах. Сейчас, например, много говорят о «ментальности» – своеобразном, каждому народу присущем национальном способе видеть общество и мир. *Ментальность* от латинского слова *mens, mentis* 'ум, разум' – чисто рассудочная форма оценки окружающего мира с помощью родного языка. В русском характере было не так: ту же оценку давали с точки зрения нравственной, душевной – и потому называли не *ментальностью*, но *духовностью*. Духовность и есть русская ментальность, только редко о том говорят, о русском частенько судя по своим меркам.

Однако теперь понятно, почему и смысл слова *интеллигентный* неуклонно преобразовывался в русском духе: от рассудочного к духовному, от рационального к нравственному.

В поступательном развитии значений слова *интеллигентный* происходило последовательное вхождение в него культурной русской традиции – прежних, более конкретных, в известной мере частных, но всегда точных понятий о человеке д о б р о м, о человеке х о р о ш е м, о человеке у м н о м. Национальный оттенок русского представления об интеллигентности и состоит в непрерывающейся традиции народного отношения к человеку: в совместности доброго и умного, а значит, и хорошего, душевного, на которого можно положиться. Своеобразной заменой древнерусских слов и образов в новых исторических условиях и стало слово *интел-*

лигентный. Народное сознание не спеша, но и бесповоротно наполнило его своим особым содержанием, которого не оказалось ни в каком другом языке. Мало ума – доброта нужна, душевная деликатность. Таково русское представление о человеке интеллигентном. «Мы ломаем голову, какой он такой, интеллигентный человек? А образ его давно создал сам народ. Только он называет его – хороший человек. Умный человек. Уважительный. Не мот, не пропойца. Чистоплотный. Не трепач. Не охальник. Работник. Мастер». Так говорит Василий Шукшин, и говорит правильно. Чутьё художника подсказало ему историческую правду – потому что историк может лишь подтвердить справедливость этих слов. Добрый умница или умная доброта – вот стержень мысли, на который постепенно нанизывался смысл новонайденного интернационального термина. «Начнём с того, – добавлял Шукшин, – что явление это – интеллигентный человек – редкое. Это – неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется – для созвучия – "подпеть" могучему басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса "что есть правда?", гордость... И – сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если всё это в одном человеке – он интеллигент».

Интеллигентность и культура

Теперь понятно и то, почему, говоря: *культура производства, культура речи, культура поведения*, – мы никогда не заменим слова *культура* словом *интеллигентность*. Интеллигентность всегда в личности, и если человек ведёт себя «культурно» – он интеллигентен. Культура – уровень достижений, степень развития умственной, духовной и общественной жизни общества, а интеллигентность – воплощение этого в отдельной личности. Внутренняя интеллигентность сохраняет реальность культуры.

Но это не всё.

Мы увидели уже, как за историей слов в прошедших поколениях стоят и классовый взгляд на вещи, и борьба за культуру быта. В каждом отдельном слове можно найти ниточку личного пристрастия, эмоции, даже аффекта, но также и яркую нить словесного образа, который в русской культуре, как в любой народной культуре, всегда самобытно национальный; он и ведёт сквозь века общий смысл слова, никуда не сворачивая – постепенно формируя и чёткий стержень понятия, который уже никогда не исчезнет, а если и исчезнет, так уж вместе со словом. Эти три ипостаси слова – эмоция, образ, понятие – нерасторжимо слиты и нами в обычном разговоре всегда воспринимаются вместе. Логически точными терминами слова́ становились, только предварительно наполнившись образами национальной культуры. А образ рождает эмоция. Можно спорить и отрицать, можно просто выкинуть вон, позабыть, отменить, упразднить – но на время! Не эмоция правит сегодня миром слов, а логика образа. Без плоти и крови национального словесного образа всякое понятие в слове мертво. Оно непонятно. Его нет.

Усложнение форм современной жизни вызвало много новых понятий, но все они, как бы ввинчиваясь в коренные смыслы славянских слов, прорастают из их значений, и становится ясно, что *грамотный человек* социально культурен, *образованный человек* гражданcки цивилизован, *учёный человек* всесторонне интеллигентен. Иностранное слово органично вошло в русскую речь, помогая разграничивать все оттенки социально важного смысла. Пока есть чувство, зажжённое этим словом, – оно может стать вашим личным словом. Пока есть образ, ведущий нас в давние дали, слово остаётся народным, русским словом. Пока есть понятие, скрытое в слове, – его поймет и другой человек, на каком бы языке он ни говорил. Вот какой сложный сплав представляет собою слово: и личное, и национальное, и общечеловеческое в каждом отдельном слове любого современного языка! «Культура сло-

ва» в том состоит, чтобы бережно сохранять родники народного слова и образности его, не гнушаясь при этом и общелюдским и не посмеиваясь над личным пристрастием каждого человека в отдельности к тому или иному слову.

Культура – в умении выбрать и уместно употребить только то слово, единственное и важное, которое в данном случае ясней и ярче передаст вашу мысль.

Как говорит культурный человек?

...Он выбирает самое нужное слово и соединяет его с другими, способными с этим словом сопрягаться по стилю и по смыслу. Как просто!..

Но достигается простота, во-первых, знанием цели и способов эту цель достичь; во-вторых, тренировкой и опытом. В том числе и чтением книг о родном языке. Культура речи – это единство высказывания в структуре, в содержании, в стилистической точности, то есть в единстве выражения слова, мысли и дела.

Есть несколько признаков идеального построения речи, о которых следует помнить, вступая в серьёзный разговор.

В ы р а з и т е л ь н о с т ь р е ч и применительно к ситуации, причём выразительными могут быть и молчание, и пауза, просто взгляд. Запоминается то, что не стало штампом или пустой фразой: запоминается живая мысль, облечённая в яркое слово.

Т о ч н о с т ь р е ч и определяется той действительностью, в которой общение происходит. Нужно знать, о чём говоришь, и понимать, зачем говоришь. Соотношение *речь–действительность* может быть и понятийной, и предметной. Строгое соответствие слов обозначаемым ими предметам – без всяких излишеств дурного тона. «Подали *чёрный кофе без молока*» – смешно, потому что не соответствует понятию «чёрный кофе» (не *чёрное кофе*, не *чёрный кофий*) и не отражает реальной предметности мира.

Уместность речи определяется функциональной оправданностью сообщения. Уместность ситуации, контекста или стиля определяет выбор наличных словесных средств. Известный пример нарушений такого правила – в объявлении «Не выводить собак без намордников, лишающих их возможности учинить укушение».

Богатство речи состоит в разнообразии средств выражения, явленных в богатстве стилей. Тремя различными стилями мы сообщим о гибели Авеля, и сразу же станет ясно, кто предпочел тот или иной вариант: *Каин убил Авеля... – Каин обагрил свои руки неповинною кровью брата Авеля... – Каин с заранее обдуманным намерением лишил жизни своего родного брата по имени Авель...*

Логичность речи сопутствует логике мысли, это связь речи с мышлением, особенно ярко проявляется в синтаксисе: непротиворечивость высказывания, точный порядок слов, отсутствие плеоназмов (избыточных по смыслу формул), следование законам мышления... Нельзя, например, сказать: *Я купила корову, будучи ещё тёлкой.*

Правильность речи есть соответствие норме, принятой в данном литературном языке – языке интеллектуального и художественного действия; тут имеются собственные правила игры, нарушить их – значит остаться непонятым и осуждённым. *На́чать и углу́бить* ничего невозможно.

Чистота речи есть отношение речи к самому языку, ко множеству форм его проявления – в диалектах, в жаргонах, в вульгаризмах и прочих словесных формах, накопленных языком за столетия неустанного развития.

Вот он, наш цветик-семицветик, во всех своих проявлениях или, как говорят учёные, в своих речевых функциях.

И в центре, откуда растут лепестки, стоит человек, хозяин этих богатств и владыка языковых сокровищ. Справился с этим богатством, овладел им – значит, хорош, нет – попробуй ещё раз.

Можно выделить три степени владения речью.

Правильная речь достигается в опыте общения; это грамотность. Соблюдаются литературные нормы, и главное здесь – понять, что правильно, а что неправильно. Эту степень владения языком даёт средняя школа, в которой, к сожалению, изучают главным образом письменные нормы, забывая об устных.

Культурная речь помогает человеку в различных обстоятельствах жизни проявлять самого себя как личность. Ценится здесь не правильно-неправильно, а хорошо или плохо, и *оценочность* становится важным признаком в речевом усилии. Обычно эту степень владения речью достигают в вузе, но, может быть, и в семье – кому как повезет.

Риторическая речь есть осознанное владение всеми богатствами языка, поступившими в личное твоё владение, это творчество и поиски новых форм выражения; в XIX веке такой степени владения речью достигали на уроках красноречия, отменённых, увы, «за ненадобностью» в наши дни.

Однако каждый из нас вполне свободен в выборе уровня, на котором он хотел бы пребыть до конца своих дней.

И если выбор сделан – за работу!

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИСТОКИ КРАСНОРЕЧИЯ

Истоки красноречия – в красивом звучании слов, красивая речь – она же самая правильная. Одно с другим связано. Поэтому нужно сказать о том, что же такое

Звучание речи

Правильно произносить слова всегда было важным делом. Неверное ударение, ошибочная интонация, неточность звучания – и вот появился у вас чужеродный «акцент».

Сложность в том, что единого произношения у нас никогда не было. Всегда оставалась свобода выбора – как сказать и кому что выразить. Даже личный вкус проявлялся в этом. Например, как странно, что чародейка контрастных ритмов Марина Цветаева так ненавидела «букву *ю*» – ведь за этой буквой скрывается сочетание наиболее контрастных звуков русской фонетики: самого мягкого неогублённого согласного *й* и самого огублённого твёрдого гласного *у* – *йу*: *любит-не любит*. Сегодня в спешной речи, да ещё в заударном слоге и не поймёшь, что сказано: *пол'ьс* – это *полис* или *полюс*? Мягкость согласного подавляет огублённость гласного, подчиняет его себе. Но до недавнего времени именно гласный был особо важен в речи. По тому, как говорит человек, различали, откуда он, какого имени-звания.

В одной позабытой повести северянка девушка говорит москвичу герою: «Что же, мы в Москве тоже побывали, москвичек ваших повидали. Хулить не ста-

нем – королевы... А разговаривают как бойко: *та-та-та* да *та-та-та...* не то, что мы, кулёмы: *то-то-то* да *то-то-то*». И о своём неровном произношении поэт Вознесенский тоже заметил: «С детских лет моё московское "*а*" обкатывалось круглым "*о*" володимерской речи...» И давно замечено, что Москва говорит не по-русски: «говорят *па-масковски*, свысока», в других местах «низким говором, на *о* напирают», на севере народ «строит губы кувшином», москвичи-акальщики прозваны «полоротыми» – то есть с распахнутыми настежь ртами.

Примерно так говорит москвич, словно на качелях качается. Предударный слог возносит выше подударного, тянет, как поёт:

пыгляаади, хырааашо гывааарит, пы мааскофски, ны рааспеф!

Речь коренного москвича звучит так: *ты-тааааа-та.*

Редукция остальных безударных гласных такова, что иногда и гласного нет. Евгений Замятин передаёт произношение нового в начале века слова: «Уже видать: настоящий декадент (произносится *дъка́дънт*)». Современное произношение слов типа *девяносто* смущает школьниц, которым учитель говорит *двиноста* или *ктяпский* (октябрьский), – если, конечно, верить письмам этих школьниц.

А москвичей всегда изумляла равномерность и ровность питерского произношения. Они приписывали такой «голос» сырости петербургских каналов и влажности ветреных набережных, у которых и рта лишний раз не раскроешь: «говорят как сквозь зубы, высокомерно как-то» – а на самом деле с достоинством и без лишних эмоций:

ха-ра-шо га-ва-рит ма-сквич, кра-си-ва, ум-но га-ва-рит!

Чёткие линии переходов, ровность тона без подъёмов и падений, выпуклость каждого гласного звука, вокруг которого спокойно размещены согласные. «Прыгающая московская походка», о которой в XIX столетии поговаривали все, никак в петербургском говорении

не обозначена. Особенность будто бы и незаметная, но всё же определяет старое питерское произношение, на фоне которого речь приезжих заметна сразу же.

Намеренная ошибка всегда уже стиль. Знаменитая игра словами, в употреблении или замене звуков выражающая отношение говорящего и к тому, о чём речь, и к тому, кому сказана. При этом вот что важно: высмеивается обычно речь москвичей. Достоевский играет словами от имени «человека из подполья»: «Я с наслаждением писал эту повесть. Я *а*бличил, даже поклеветал... Но тогда ещё не было *а*бличений, и мою повесть (в *а*бличительном виде) не напечатали». Москвич Бальмонт воспел славу славянскому звуку «а» – это, оказывается, наша славянская буква! Но ещё в XIX столетии народник Михайловский писал в ответ на такие восторги в пользу московского «аканья»: «Любопытно было бы знать, *акал* ли великоросс во времена татарского ига, московских царей вообще и Иоанна Грозного в особенности, *акал* ли он во всё продолжение крепостного права и проч. Достойно внимания, что *акать* по конструкциям языка приходится, главным образом, женщинам: *Я, Анна, была бита палкой... Я, Варвара, заперта была в тереме* и проч. Отсюда повелительный характер русских женщин!»

В ироническом этом тексте всё напутано. Буквы смешиваются со звуками, звучание – с грамматикой. «Женские» окончания в словах *была, бита, заперта* и прочих – особенность русской грамматики, к аканью никакого отношения не имеет. Более того, «повелительный характер» русской женщины проявился (в языке) лишь в том, что он старается, и сегодня энергичнее, чем прежде, в произношении сблизить формы женского рода с мужскими: *я бы́ла, за́перта* как *бы́л* или *за́перт*.

«Оказалось, – пишет тот же Андрей Вознесенский, – что буква “о” – самая распространённая в русском языке, основа нашей речи, а стало быть, и сознания. Не она ли ключ к национальному характеру?» –

вот философское вопрошание на пустом месте! «Русский характер» проявляется в звучании слов, а вовсе не в поэзо-бюрократических начертаниях букв. Если уж хочется видеть национальный характер в столь дальнем от него проявлении, скорее прав Михайловский в его ироническом замечании о русских женщинах.

Вельможа XIX века «сказал что-то одними гласными, так что я не понял» (Герцен) – таков «высокий стиль» разговора вельмож. Постоянное увеличение акающе-икающего произношения, редукция гласных, сокращения и перестановки звуков совершенно изменили просторечие в больших городах. Его и стали воспринимать как чисто литературную речь, а всё остальное казалось нерусским.

Бывшая институтка-смолянка вспоминала: «В Иркутске говорят скоро, съедая гласные, так что для иностранца слышится *нестройное жужжание*. На Волге же и в Москве народная речь ясная, звучная, гармоничная, певучая. В туманном иноземном Петербурге – далеко не такой приятный говор: нет той чистоты, той музыкальности в голосе. Мы с сестрой с особенным удовольствием прислушивались к местному разговору: проведя всю жизнь в Петербурге, потом в Иркутске, нельзя было не понять всей прелести родного русского языка» (1874 г.).

Интересное впечатление от московской речи, о которой говорят иначе: Бальмонт «произносил только как бы согласные: *прш сдиться, нн нрвца*». Москвич Брюсов сочетания *ки, ги* произносил как *ти, ги*: «есть песни и плясти!», «какого мнения вы о математити?» Чуть раньше сказано о Писемском: «пил водку рюмка за рюмкой и заговорил самым простонародным языком, нарочно выделяя такие слова, как *мещанка*, которое он произносил *мешанка*» (т. е. *мешшанка*). И Пушкин замечал изнеженность и прихотливость московского говора: «Звучные буквы *щ* и *ч* пред другими согласными в нём изменены. Мы даже говорим *женшины, нослег*».

Известный знаток сценической речи Волконский учил актёров произносить слова, чтобы выразить угрозу: «А ты, *быярин, зныешь* ли...» Мейерхольд изумлялся московскому произношению: «Ужас! Среднего образования им не хватает! Вместо *и* говорят *ы*: *далёкый*, *дикый*, *великый*... А кто виноват? Малый театр! Перепортил он интеллигентную русскую речь!»

Так воспринимали посторонние люди чисто московскую речь. Она не являлась уже образцом. И тип образованного русского москвича, о котором говорили в XIX веке, «с московским акцентом, протянутою певучею речью», бесследно исчез в XX столетии. Даже старое произношение слов типа *дождь*, *дождя* как *дощ*, *дажжа*, обычное в московской речи, теперь называют еврейским (в письмах читателей), хотя это типично московское произношение слов, которые сегодня выговаривают по-питерски: *дошть*, *даждя*. Как пишем, так и говорим.

Согласный

Когда собиралась комиссия по переименованиям улиц и площадей Ленинграда, кормчий этого дела, академик Панченко, предложил инженерам и техникам повременить со своими советами и послушать филологов: вы там себе инженерьте, а мы тут проголосуем.

Проголосовали.

Стал Ленинград Петербургом – даже Санкт-Петербургом, хотя, как известно, в последние перед революцией годы был он всего лишь Петроградом. Уж как нам хочется по-иностранному! Лишь бы подальше от своего...

Но самое главное случилось потом, и «филологов» засыпали вопросами. Как говорить: *петербурженка*? *петербуржанка*? *петербуржка*? как-то иначе? Во всех случаях возникают нежелательные ассоциации с другими словами. Также возник вопрос о «правильном употреблении слова *петербургский*», и на той же ко-

2 Зак. 207

миссии сказал академик, что «говорящие *петербуржский* – люди невежественные».

Что остаётся филологу, которого снова подставили? Остаётся задавать вопросы.

Вот есть же Выборгское шоссе, но одновременно – выборжская сдоба: суффикс тот же и согласный перед ним вроде тоже: *выборжский* и *петербуржский* – почему бы и нет? В чём оправдание вкусу академика?

В XIX веке грамматические чередования звуков *ч* с *к* или *ж* с *г* были вполне нормальным явлением, но проявлялись не всегда последовательно, известно в каких случаях: в иностранных словах. Державин говорил: *поставить людей пошеренжно* – по шеренгам, значит. Владимир Соллогуб совсем напротив: *сваха неумолкно и премило шутила*. И даже (ужас!) выпускник столичного университета Писарев писал: *как вы уберегетесь от подобных мыслей?*

Действительно, как вы убережётесь от подозрений, что даже академик может ошибиться? И то и другое сказано вполне по-русски, хотя, конечно, что-то считается нормой, а что-то нет.

Вернёмся к досадному случаю.

Слово *петербургский* сложно произнести с полным составом согласных, мы и говорим обычно *петербурский*, звук *г* опускается для благозвучия. Наоборот, в законной для русской грамматики форме *петербуржский* всё звучит хорошо, зачем «опускать»? *Петербуржский*. Заглянем в орфоэпический словарь и увидим, что оба произношения слов допустимы: *петербурский* и *петербуржский*, а вот *петербургский* и верно – нет. По законам русской грамматики чередование *г/ж* должно быть: *враг* и *вражеский*, например (суффикс тот же), и произношение *русского прилагательного* требует этого звука *ж*. Правда, в том же словаре рекомендуется только произношение *выборгский*, но это, надо думать, дань не немецкому слову, а слову шведскому (не *-бург* , а *-борг*). Кроме того, составители словаря, москвичи, не спросили самих выборжцев (а не *выборгцев*!). Вот как опасно смешивать

звучащее слово с его написанием. Возникнут сомнения, некие неудобства, нехорошо.

Кажется, ясно: никто не говорит *петербургский*, хотя написать так может. Бог ему в силу, как говорят...

Смешение согласных в иностранных словах – довольно частая вещь, и в прошлом распространено широко. Например, смешение звуков *с* и *ш* в сочетании их с другими согласными давно известно русской речи, постепенно «перемалывающей» неудобь произносимые иностранные слова. Такие слова приходили к нам, но с трудом воспринимались русским слухом. Тогда возникали затруднения. Полтора ещё века назад сын грамматиста, и сам литератор, А. Греч писал: «Часто говорят *паштет* и даже *пашкет*; дóлжно говорить *пастет*... Не дóлжно произносить *штора*, говори: *спусти стору* или *сторы*... Дьлжно говорить *слесарь, слесарная работа*, а не *шлесарь, шлесарная работа*». Такого же происхождения колебания в произношении слов *стемпель* и *штемпель* (немецкое слово в написании *Stempel* произносится со звуком *ш*).

Немецкое *Skelett* или французское *squellette* тоже давали повод для сомнений. Автор старинных мемуаров пишет, как ленивый гимназист, тоскуя у стены, пытается отвечать на вопросы учителя:

«– А ещё у человека есть шкелет...

– Ах, какое варварское слово, – заметил учитель.

– Шкилет, – поправился наш товарищ; дальше и он ничего не знал...»

В терминологии та же беда. До сих пор колеблемся: *шпатлёвка* или *шпаклёвка*? *шпиговка* или *шпиковка*? В написании вариантов больше: в словаре В. И. Даля целых три формы: *шпадлевать, шпатлевать, шпаклевать*, и только последняя форма передаёт чисто русское произношение; поэтому и просторечная форма *шпаклёвка* привилась у нас как литературная.

Сокращённое слово

В речи приходится употреблять аббревиатуры – сокращённые по первым буквам слов выражения типа США или РФ. И здесь мы сталкиваемся с тем же противоречием, которое существует между писаным текстом и произносимым словом.

Вот из письма: «По радио, телевидению и в быту часто говорят: *феерге*, *сешеа* и так далее. Разве в русском алфавите есть буквы *се*, *фе*, а не *эф*, *эс*? Некоторые дикторы, на мой взгляд, правильно произносят *эфэрге*, *эсшеа*, но возникают колебания. Вообще правильно ли ради удобства выговаривать сокращённые слова, не соблюдая точного названия букв типа *вэ-мэ-фэ* (ВМФ)?»

Аббревиатур возникает всё больше, есть уже большие словари сокращений русского языка, и в самом последнем, кстати, названные слова даются так: *эф-эр-гэ*, *сша* или *сэ-ше-а*, *вэ-эм-эф*.

Возможность вариантов произношения связана, как обычно, с изменениями самого языка. В данном случае изменяются названия русских букв. В древности они назывались иначе, полным словом: *а – аз*, *б – буки*, *в – веди* и так далее, для лучшего запоминания – стихом (в переводе: «я буквы знаю...»). Произношение сокращённых слов по этой системе было бы затруднительно, да и необходимости в сокращениях тогда не было, но подобное чтение букв затрудняло обучение грамоте.

С XVIII века названия букв стали произносить мягко: *бе*, *ве*, *ге*. Однако такое название букв скоро устарело, в настоящее время принято чтение на латинский образец, которому сочувствовал первый реформатор нашей графики Петр I. Таков же и международный стандарт: *бэ*, *вэ*, *гэ*... Но и в названиях самих букв имеется расхождение. Говорят, с одной стороны, *бэ*, *вэ*, *гэ*, а с другой – *эр*, *эс*, *эф*, *ша*, *ка*. Первых случаев больше, поэтому в целях удобства всё более распространяется, по аналогии, произношение по типу *бэ: фэ* и даже *шэ*. И самая главная причина такой аналогии по главному

типу *бэ* заключается в том, что такие сочетания удобнее и для говорящих (образуются открытые слоги с гласным на конце), и для слушающих, потому что при этом каждая буква, не сливаясь с соседними, произносится как бы отдельно. Она становится заметнее в ряду других, а как раз это-то и важно при произнесении сложных сокращений. Классический пример из прошлого: РСФСР – правильнее произнести *эр-эс-эф-эс-эр*, но в беглой речи мы всё равно услышим с другим слогоразделом как *рэ-сэ-фэ-сэ-эр*. Тем более, что букву «ф» можно произнести двояко: как *эф* и как *фэ*. Однако некоторые названия-слоги ещё не привились в обиходе, так что произносить *лэ*, *мэ*, *нэ* считается вульгарным, и мы говорим *дэ-эл-тэ* (ДЛТ). Чтение буквы «ф» как *фэ* рекомендовано специалистами, но что-то душа к нему не лежит: непривычно и грубо. Звуки, скрываемые за буквами «м», «н», «л», «р», вообще сложны, они ведь полугласные и сами обладают свойством порождать в случае необходимости призвук: *овн – овен*, *ветр – ветер*, *жизнь – жизень*... А сегодня даже актёры, люди в общем фонетически образованные, аббревиатуру мнс (младший научный сотрудник) произносят как *мэ-нэ-эс*, а дфн (доктор филологических наук) как *дэ-фэ-нэ*, что, конечно, ошибочно.

Следовательно, возможны и указанные в письмах примеры – варианты произношения: *эс-ша-а*, *эф-эр-гэ* – несколько замедленно, для многих и непривычно, и *сэ-ше-а*, *фэ-эр-гэ* проще с выделением слогов по русскому типу. Со стилистической точки зрения второе произношение можно признать разговорным, первое – книжным, традиционным. В некоторых случаях вступают в силу правила благозвучия произношения, и тогда приживается как будто и неверное чтение, но больше других удобное.

Последнее моё замечание вызвало множество писем: «Хочется спросить, почему “удобнее” произносить эти буквы безграмотно, когда столь же удобно их называть грамотно?» (это о буквах *фэ*, *шэ*, а почему же тогда и не *мэ*?). Ещё письмо, и уже от женщины, женщины –

народ настойчивый, и вот мне выговор: «Надо быть последовательным: раз вы разрешаете произносить *фэ*, тогда можно говорить и *лэ*, а по-моему, это одинаково вульгарно. И если можно *сэ-ше-а*, следует разрешить и *сэ-сэ-сэ-рэ* (СССР) – куда как благозвучно! Уступки лёгкости произношения опасны, раз начав – где кончим? Где граница между трудным и лёгким... и если начать упрощение в пользу малограмотных, можно зайти далеко...

Всё правда и всё справедливо, но... Речь о другом: о традиции произношения, отличной от правил написания, о том, что названия букв изменялись в нашей истории, мы называли и называем их (не все, но многие) в соответствии уже не со славянской, но с греческой или латинской традицией. Давайте вернёмся к славянской – вот красота-то будет!

И без того у нас с грамотностью неладно. И уже давно. Вспоминается пассаж из фельетона Власа Дорошевича о «развитой гимназии» его дней:

«Половину курса они посвящают главнейшим образом на то, чтоб изучить, где надо ставить и где не надо ставить букву, которая совсем не произносится...

И в результате...

Три четверти образованной России не в состоянии мало-мальски литературно писать по-русски. Привычка к шаблону в области мысли. И спросите у когонибудь, что такое русский язык:

– Скучный предмет.

А ведь язык народа – это половина “отчизноведения”, это “душа народа”.

Позвольте этим шаблоном закончить сочинение о преподавании русского языка».

А мы закончим поздравлением известного шута газете «Книжное обозрение», которое было опубликовано в фотокопии:

«Жилаю книжнаму абазренью большой култури и исчо щястья в новам гаду. Важ хозаноф.»

Всё как бы шиворот-навыворот, буквы и звуки поменялись местами, на 11 слов 22 ошибки. Смешно?

Но в этом также заметна разница между русским с его любовью к живому слову (и, значит, звуку) и чужаком, который норму видит только в букве. Между прочим, то же и в известном расхождении между Пастернаком и Шаламовым. Пастернак в романе «Доктор Живаго» уничижительно говорит о словаре Даля как примере грубости и дилетантства, Варлам Шаламов о самом романе отозвался так: «Недержание речи письменной – вот порок Пастернака (“Доктор Живаго” – это именно мёртвый роман, мёртвый жанр)».

Несводимость призваний и вкусов: литературщина письменной речи – и звучащая речь.

Запятая

«Когда и зачем были канонизированы правила употребления запятых? – спрашивает читатель. – Ведь если запятая – для автора инструмент, с помощью которого он может фрагментировать текст, то с какой стати грамматика навязывает ему свои указания? Иногда я не хочу её ставить, а надо, иногда хочу ставить запятую – ан нет, нельзя. К чему так?»

Да, запятая.

Знаки препинания постепенно входили в наше письмо, последовательно обогащая и усложняя смысл и звучание записанной речи: точка и двоеточие в XI веке, запятая в XIV, точка с запятой в XV, вопросительный знак в XVI, восклицательный знак и тире в XVII, многоточие в XVIII веке. Каждая эпоха откладывала в общих принципах письма своё отношение к эстетической и смысловой стороне текста. Это факты культуры, а не только языка.

Постепенно складывалась современная пунктуация, в древности была она сложной и запутанной. С XVII по XX век получала силу новая идея пунктуации: отмечать не звучащие отрезки речи, которые произносили как бы на одном дыхании (чтобы чтец мог верно произнести этот текст вслух), а смысловые связки

слов, важные для понимания текста. Теперь уже не грамматика и не ритмика фразы, а логика руководит выбором нужного пунктуационного знака. Число запятых и прочих знаков всё сокращается и сокращается, по сравнению с временем Пушкина их уже вдвое меньше. Всё это связано с общим процессом осмысления и стандартизации написанного текста, который было бы удобно «схватить налету» и сразу осознать его смысл. Судите сами, легко ли было читать в начале XX века такой вот текст: «В Москве, зачастую, можно видеть, не без изумления, как целые толпы нищих, получают, около домов богатых людей, пищу, или иную какую-нибудь милостыню... Такой образ жизни, пожа́луй, освобождает их, как они, довольно заманчиво выражаются, от душевных скорбей и расстройств, но на деле, они, потопляя заботы, тонут и сами...» Воистину, как сказано в древней азбуке, «запятая совершенную речь делает», и «иногда одна запятая нарушает всю музыку» (это слова Ивана Бунина).

Вместе с тем изменялось и представление о норме. В средние века действовал принцип *нельзя-можно*; скажем, *нельзя* поставить запятую между подлежащим и сказуемым (*дом, стоит*), но *можно* ставить или не ставить запятую между однородными членами предложения. Сегодня норма действует круче: либо *нельзя*, либо *нужно*: запятая обязательна там, где она требуется правилами пунктуации. Может быть, поэтому нетвёрдый в пунктуации человек предпочитает поставить лишнюю запятую, чем пропустить по неведению хотя бы одну, необходимую согласно правилам.

Традиции письма обязывают нас ставить запятые. Это принцип рациональный, он подавляет личные желания пишущего, его чувства и настроения, и чем древнее по происхождению знак, тем меньше он допускает исключений. Современный писатель может дать волю своим чувствам в использовании многих знаков препинания, даже точки, но никогда – запятой. Это самый строгий и чёткий по своему назначению знак, потому что, имея смысл, сам он не является символом

чего-то иного; вот как многоточие – «следы на цыпочках ушедших слов» (по тонкому замечанию Владимира Набокова) или тире – «знак отчаяния» (по словам грамматиста Пешковского). Где запятая – там нужно запнуться вниманием и ритмом фразы. В поэме Твардовского «Василий Тёркин» есть слова: «Но, однако, жив вояка!» – вводное слово выделяется запятыми и, соответственно, произносится с паузой, потому что введение лишнего слова эмоционально необходимо тут, требует напряжённой остановки в произнесении. Стоит убрать союз *но* в начале предложения – и слово *однако* сразу же заменяет его в значении противительного союза *но*: «Однако жив вояка!» В таком случае запятая не нужна. Кстати сказать, употребление запятой после *однако* в начале предложения – массовая ошибка многих людей, пишущих в наше время. Бывает, читаешь книгу, а там на каждой странице: «однако, он не пришел...» и подобное.

Правила пунктуации очень просты, для запятой их не более дюжины. Однако сложен язык, и в отношении запятой можно установить иерархию важности правил. Запятая совершенно необходима (там, где она разъединяет предложения, то есть разные части мысли в составе общего целого), она желательна (при однородных определениях) или она факультативна (выделения при уточнениях и сравнениях). Вот как со словом *однако*, которое может быть союзом (и тогда не выделяется запятой), может быть вводным словом (и тогда обязательно выделяется запятыми), но может быть и междометием (и тогда на ваше усмотрение ставить запятую или нет).

У писателей есть свои предпочтения знаков. Карамзин уважает многоточие (которое и ввёл в письмо), Горький и Цветаева любят тире, а Константин Паустовский пишет о точке. Молодым писателем написал он плохой рассказ и дал для поправок опытному редактору. И вот... «Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Всё стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не

осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова...

– Это чудо! – сказал я. – Как вы это сделали?

– Да просто расставил все знаки препинания... Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание. Знаки препинания – это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться...

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и вовремя».

Ставим точку.

Ударение и грамматика

В правильной и красивой речи ударение слов занимает особое место. Как мелодия в песне, ударение, ритм и пауза определяют собою возвышенность или иронию, строгость или банальность сказанного. У нас что ни слово – особенность в ударении; трудный язык. Сложный, – говорят иностранцы. И это при том, что упрекают нас в психологии рабской, стадном чувстве и прочих вещах, «непонятных свободному человеку». Оказывается, наоборот. Речевой стандарт европейских языков делает каждого заложником языка: говори вот так, не иначе. Русский язык и гибок, и красочен. Он даёт возможность выразить всякие чувства – подчас одним ударением в слове.

И понять человека с таким ударением тоже просто. Скажет: *углу́бить*, *на́чать*, *прине́сены*, *новое мы́шление* и прочее – и ясно, с кем дело имеешь.

Ударение слов – самое гибкое средство, позволяющее тут же приноровиться к грамматическому изменению в языке, когда оно совершается. По этой причине и ударение постоянно меняется. За два века словесное

ударение изменилось или стало колебаться примерно в пяти тысячах слов и форм, но при этом литературным признаётся только какое-то одно ударение.

Сто лет назад, например, причастие *заслу́женный (выговор)* и прилагательное *заслужённый (врач)* различались ударением, как ещё сегодня различаются *то́пленный дом* и *топлёное молоко*. Постепенно разные формы сошлись в одной, причём в словаре 1934 года *заслу́женный* считалось ещё новым ударением, а сразу после войны, в словаре 1949 года *заслужённый* уже признавалось устаревшим. Современная норма – только *заслу́женный*. Иногда от того, с каким ударением произносишь слово, зависит смысл сказанного. В названии романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» важно первое слово; именно оно изменяет ударение в зависимости от того, какой частью речи предстанет. Эти люди – с достоинством и понятием чести, не все они чувствуют себя униженными в своём унижении, следовательно – *унижённые и оскорблённые* другими.

То же правило касается и сложносоставных слов, например таких: не *новоро́жденный, новоизобре́тенный, новоиспе́ченный*, а *новорождённый, новоизобретённый, новоиспечённый*...

Форма *разви́тый* также причастная (*разви́тая верёвка*), а *развито́й* – прилагательное ('достигший высокой степени развития, духовно зрелый'). Здесь две части речи ещё различаются ударением, потому что необходимо различать в речи признак и процесс. Исторически *развито́й* является исконным ударением в этой форме, ударение на корне явилось под влиянием слов *разви́ть, разви́тие*. Однако часто употребляемая форма *ра́звитый* – всегда ошибка: *разви́тый ребенок* несомненно *разви́т*.

Книжные слова на *-ение* почти все имели ударение на суффиксе, но исключения определяются ударением смежных форм. Форма *обеспе́чение* является литературной (потому что *обеспе́чить)*, но сегодня мало кто так говорит, обычно произношение по аналогии с дру-

гими словами на *-ние*: *обеспече́ние*. Такое ударение словари либо запрещают («не рекомендуется»), либо допускают как разговорное. Та же история со словом *наме́рение* (*наме́рен*): оно то и дело заменяется формой *намере́ние*, как гораздо раньше изменило своё ударение и слово *увере́ние* (при старом *уве́рение*). И книжное по происхождению слово *мышле́ние* всё чаще слышишь с ударением *мы́шление* (ибо *мы́слить*). Кто-то из грамматистов говаривал гимназистам: «*Мышле́ние*, господа, говорят те, у кого *мозги́*, *мы́шление* – у кого лишь *мо́зги*». Легко запомнить. Сергей Аксаков писал об *у́женье рыбы*, ибо такова была старая московская норма при глаголе *у́дить*; сегодня победило петербургское ударение в слове *уди́ть*, которое в XIX веке почиталось вульгарным, но сразу же, с 1930-х годов, в качестве нормативного явилось и ударение *уже́нье рыбы*.

Во всех этих случаях изменение ударения следует за развитием языка. Отглагольные формы двузначны: они обозначают действие – и его результат. Идея действия сосредоточена в суффиксе, поэтому, оттеняя смысл действия, мы и говорим: *уже́нье*, *мышле́ние*, *обеспече́ние*... Идея результата содержится в корне, поэтому результат самого действия, уже вне протекания его, мы и выразим ударением на корне: *у́женье*, *мы́шление*, *обеспе́чение*... Трудность в том, что на пути от грамматики, от системы языка, к речи стоит литературная норма, которая требует только одной формы как правильной.

Но двойных ударений много. Они возникают при необходимости разграничить значения слов. Исконные ударения слов *домово́й* и *язы́ковый* сегодня различают разные слова: *домо́вый комитет* и *сказочный домово́й*, *в языково́м вузе* изучают языки, тогда как *языко́вой* может быть только колбаса, изготовленная из языков. Делались попытки разграничить и значения слов типа *кварта́л* (городской район) и *ква́ртал* (в году), но в действительности и тут всего лишь одно литературное ударение: *кварта́л*.

Исконное ударение *творóг, творогá* сначала сменилось деликатной формой родительного падежа *твóрогу* с одновременным изменением окончания (это «родительный части»: дайте мне часть творога), приведшим и к изменению ударения, а затем дало варварское ударение *твóрог*, – может быть потому, что в разговорной речи многосложные корни стараются перенести ударение на первый слог (*твóрог, квáртал*). Словари постоянно изменяли помету на произношение формы *твóрог*: признавали за диалектное (1940), допускали как дополнительное (1959) и согласились считать его разговорным (1981). Однако никогда такое произношение не было литературным, нормативным.

Связь ударения с грамматикой заметна на многих примерах, особенно в глагольных формах. Наиболее распространённая ошибка в ударении глагола *звонить*: *звóнит* или *звонúт*, *звóнят* или *звонят*?

Литературным является ударение на окончании, но и ударение на корне настолько распространилось, что некоторые словари склонны признать его разговорным.

Причиной изменения ударения стало подражание тем глаголам, которые уже давно изменили своё ударение, перенеся его с окончания. Теперь мы все говорим *кýрит, ýчит, тáщит, дýшит*, а не *курúт, учúт, тащúт, душúт*, как в пушкинские времена или ещё раньше. Другая причина заключается в системе языка, которая требует разграничивать глагольные формы, выражающие разные степени действия. Мы ведь можем сказать *несёт* или *нóсит*, два глагола различают действие определённое и действие длительное. В устной речи это важно, сразу можем различить смысл сказанного: *Куда тебя несёт? Где тебя нóсит?* В нашем же случае такого удвоения форм нет (*звенеть* слово другого значения). Язык избирает другой путь для различения способов действия, тут ударение и нужно. *По ком звонúт колокол* – это одно, а вот Маша по телефону долго и несмолкаемо *звóнит*. Стиль высокий (архаическое ударение) и стиль бытовой, разговорный,

который всегда норовит от высокого отмежеваться. Собственно говоря, сам телефон *звенит*, но человек, этот *звон* вызвавший, – *звóнит*. В этом скрытом противопоставлении между деятелем и орудием как раз и содержится причина возникновения нового варианта ударения: *звени́т* и *звóнит*, как *несёт* и *нóсит*.

Вот ещё один вопрос: «У Пушкина: *Шли годы...*, у Рождественского: *мои года – моё богатство...* Так как же писать и говорить: *годы* или *года*, *волосы* или *волоса*, *цехи* или *цеха?* Как грамотно?»

Вполне можно сказать, что оба поэта правы в употреблении слов в данной форме. Развитие русского литературного языка шло таким образом, что в пушкинские времена употребление формы множественного числа на *-а* от имён мужского рода допускалось в немногих случаях, сам Пушкин использовал такое окончание только у 18 существительных, а сегодня почти восемьсот слов могут получать такое окончание. Со временем варианты формы стали приметой стиля. У Пушкина и *как наши годы-то летят...*, и *придите вновь, года моей весны!* В поэме «Руслан и Людмила», добравшись до бороды Черномора, герой то *щиплет волосы порой*, то *на шлем высокий седые вяжет волоса*. Годы и волосы – форма падежа выражает расчленённую множественность, – каждый год, каждый волос в цене (девушка расчёсывает *волосы*, а не *волоса* колтуном), а вот *года* и *волоса* – это уже совокупная множественность, собирательно все, какие были, прошли, испарились...

Можно ли считать, что употребление разных форм – ошибочно? Нет, это тонкое владение формой русского слова. Да и наши современники, для себя незаметно, употребляют эти формы правильно. Разница здесь не только стилистическая, но и смысловая. Окончание *-а* придаёт форме множественного числа мужского рода (а в мужском роде обычно слова конкретно вещного значения) идею собирательности, всеобщности, неразъединённости тех многих предметов, которые обозначаются с помощью этой формы. Слова *цеха*, *года*, *города*,

учителя и прочие в этом виде обращают наше внимание на множественность однородного качества. Наоборот, говоря *цехи, учители*, мы как бы выделяем каждое из множества ему подобных. Ещё в XIX веке почтительность обращения препятствовала распространению новых окончаний. Только *профессоры, инженеры, лагери, блюды*, даже *беги* на ипподроме, а не *бега*. В 1890 году один зануда писал, что «*поезда* вместо *поезды*, находящееся ныне во всеобщем употреблении, совершенно неправильно и неизвестно, на каком основании», а «*корпуса́* вместо *ко́рпусы* есть выражение казарменное». И верно, именно в военной среде новые окончания развивались с особой лихостью.

По словарям разных лет можно проследить развитие нового окончания, например, на слове *род*: только *ро́ды* (1911), *роды́* и старое *ро́ды* (1939), только *роды́* (1959), допускаются *роды́* и *рода́* (1973), но в 1982 году поправка: «только *рода́ войск*» (в речи военных). За семьдесят лет норма изменилась, перейдя от формы *ро́ды* к форме *роды́*, но именно потому, что в разговорной речи появилась вульгарная форма *рода́*. Эти варианты стилистически закреплены. Исконная форма как архаизм сохраняется в старых сочетаниях: у роженицы *ро́ды*, у философа *роды́ и виды*; у военных всегда всё с иголочки новое, и окончания слов тоже: *катера́, компаса́, обшлага́, рода́*... Все остальные пользуются обычным проверенным словом *роды́*.

Начиная урок, учитель сказал: «Сегодня мы будем изучать грамматические *рода́*» – ошибка. Но ошибка в другом роде. Существует термин «грамматический род», а термин никогда не имеет формы множественного числа.

Маленькое словечко – а сколько проблем, связанных с тем же подспудным давлением грамматической системы языка!

Некоторые писатели (например, Корней Чуковский) полагали, что в формах на *-а* есть «что-то залихватское, бесшабашное, забубенное, ухарское». Однако и они согласны с тем, что с течением времени такие формы

могут стать единственно возможными для большинства слов мужского рода. Особое же им предпочтение в словах заимствованных указывает лишь на то, что такие слова – новые, в русском языке никогда не употреблялись со старыми окончаниями и потому сразу же были охвачены активными на момент заимствования флексиями.

При сомнении, можно ли употребить окончание *-а*, нужно помнить, что такое окончание получают только те слова мужского рода, которые имеют подвижное ударение: *нет гóрода – будем строить городá.*

Подобных, глубинных, противоположностей в языке скрывается много, и на первый взгляд не всегда понятно, зачем и как появляются вдруг варианты ударения. Да не просто появляются, а быстро распространяются, становятся своего рода нормой – на первых порах в границах просторечия. Поначалу такие ударения режут слух, и всегда оказывается возможным определить социальный и образовательный статус человека, произносящего слова не в нормативном варианте.

Как правильнее: *он красúвее* или *он красивéе?* Вопрос актуальный, судя по письмам школьниц. Хорошо бы использовать старое русское слово, придуманное как раз для такого случая: *он всех краше*. Это и есть самая древняя форма сравнительной степени для прилагательного *красúвый*; в некоторых местностях её скрестили с литературной, и получилось *красивше*. Ни она, ни тем более *покрасивше* не рекомендуются. Ударение *красивéе* просторечное, эта форма возникла по аналогии с ударением слов *быстрée*, *сильнée*, *скорée*, но у многосложных прилагательных такое ударение нормой ещё не стало, до сих пор нормативным является вариант *красúвее*. Кстати сказать, есть слова, которые в своей речи предпочитают мужчины, а это слово – типично женское. По статистике женщины (и дети) употребляют его почти в сто раз чаще мужчин. Поэтому все изменения формы, ударения, смысла слова *красúвее* и в будущем зависят от женщин. Им беречь это нужное

и красивое русское слово. Вот слово *краше* мы уже потеряли...

Вообще относительно ударений вопросы задают главным образом женщины. Музыкальность речи для них важна, оттенки ценят, смысл постичь хочется? – всё равно приятно.

Из других вопросов по письмам: *мéльком* или *мелькóм*? – рекомендуется первое (*мелькóм* признаётся дополнительным ударением). *Баловáть(ся)* или *бáловать(ся)*? – ударение на корне не рекомендуется. *Казáки* или *казакú*? – допускаются оба ударения (есть различия в стиле). Только ударение *начался́*; *начáлся* иногда признают за разговорную форму, а вот ударение *нáчался* недопустимо. Всех случаев не учтёшь – заглядывайте в словари. Но и собственное чувство ритма может подсказать вам точное место ударения. Ведь все приведённые примеры наталкивают на мысль о закономерности: есть ударение обязательное – есть возможное – есть разрешённое. А в этих трёх вариантах проявляет себя человек: каким говорит стилем, что имеет в виду, скажет серьёзно или шутит...

Устная речь на письме

Записанное здесь выражение риторика называет о к с ю м о р о н о м, т. е. несоединимым по смыслу высказыванием, нечто вроде *горячего снега* или *квадратного круга*. На самом деле устная речь и речь писаная – *письменная речь* – это два различных, во многом противоположных поля мыслительной деятельности человека. В бинарных противоположностях развивается мир, и язык тут не исключение. Когда человечество изобрело письменность, оно тем самым создало для себя динамическое напряжение мыслимого биполярного мира, способствующее развитию мысли, чувства и воли. Поразному можно говорить об этой противоположности речи и письма. Либо в библейских образах – дух и плоть разошлись. Либо в научных понятиях – функ-

ции левого полушария мозга «схлестнулись» с функциями правого: понятие и образ, сойдясь, высекли искру **культурного** символа. Так наряду с природой разрастается Культура, и современный человек существует уже в трёхмерном пространстве Бытия, сам для себя создав **ноосферу** – «третий мир» сущего.

Устная речь порождает дискурс в линейной последовательности слов, высказываний и мыслей. Это обиходная речь (*узус*), основное предназначение которой – передавать сообщение, чаще всего в диалоге (основная забота современных философов). Коммуникативный аспект языка тут на первом месте, основная форма его существования – время. На первый план выходят интонация, пауза, ритм, даже жест, которым мы подчеркиваем мысль; даже если этой мысли и нет, сам жест становится намеком на её возможность. Философская проблема *я* и *ты* оказывается в центре внимания, но связью между ними, между *я* и *ты*, остаётся лишь язык, данный в процессе коммуникации. Часто мы не понимаем друг друга оттого, что идеальная форма общения – диалог – сегодня на самом деле исчезла, она заменилась хором.

Подобно чеховским героям в печальных его пьесах, мы все говорим одновременно, не вслушиваясь в мнения остальных. У каждого своя интонация, свой ритм и своя речь. Собственный **образ** мысли и жизни, образ мышления. Всякий раз, говоря о чём-то, мы не соотносим личные свои представления с образными представлениями других; нам кажется, например, что, говоря о «демократии», о «народе» или «свободе», мы понимаем эти абстракции-символы одинаково, и потому не стремимся **понять другого**. Так личный образ, воспринятый через конкретный термин культуры, не рождает истинного понятия, **понятного всем**.

Это устная речь, это то, что мы слышим, а слышим мы что-то около пятой части того, что сказано. Мы отбираем лишь те слова («звукообразы»), которые нам понятны, близки или заинтересовали нас чем-то. Всё остальное пропускаем. Мы вынуждены так поступать,

поскольку в потоке речи слова текут друг за другом, и всякий образ рождается по принципу метонимии, по смежности, чисто логическим схватыванием соседнего и подверстыванием его под общую схему.

В устной речи возникают ошибки, оговорки, сознательная игра словами. «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю», – сказал Поэт, и был прав. Ни в чём не проявляются так достоверно точно характер человека и все особенности его личности, как в устной речи.

Письменная речь в корне иная. Она не связана с дискурсом – письменная речь порождает т е к с т. А латинское слово *textus* значит ’сплетенье’, даже ’ткань’, в конце концов ’с в я з н о е изложение’. Это не линейная последовательность расположенных слов и мыслей, а двумерное переплетение текстовых формул, лишь совместно порождающих смысл высказывания. Не передача готовой информации важна тут – но зарождение новой мысли, и «речемыслительная» (когнитивная) функция языка выходит здесь на первый план. Это уже не обычная речь, которая звучит везде, но специально обработанная, «литературный язык», как говорят, эту форму речи возвышая до ранга самостоятельного языка. Литературный – по смыслу латинского слова *littera*, т. е. буква. Литературная речь записана, строится не по образцам, как устная речь, но по правилам, т. е. п р а в и л ь н о. Ещё мудрец Алкуин при дворе Карла Великого порол розгами всякого школяра, не умевшего различать звук и букву, но сегодня сплошь и рядом слышишь: «*эта буква звучит так...*», «*он произносил букву “р” как-то по-особенному...*» Жалостно видеть наших поэтов, которые п и ш у т стихи, н е ч и т а я их. Попробуйте прочесть эти строчки из Евтушенко: «*Вы торчите, как фиги из ада...*» Здесь смешались стили, смыслы и звучания – и нужен весьма широкий контекст, чтобы понять, о чём говорит поэт.

Условие письменной речи, при котором она живёт, – монолог. Но и тут у нас изменения. На самом

деле это скорее диалог творца с самим собой. Основная форма существования – не текучее время, а просторы пространства (листа, текста, «места»), и чем шире пространство, тем глубже третье измерение смысла, стоящего в подтексте. В обобщённом явлении каждого слова, представленного на письме, находится созданный культурой символ, проясняющий понятие. В отличие от речи устной, здесь автор ставит другую задачу: не понять он хочет, но – понять и внушить. Перед глазами может и не быть того, о чём пишут (нет непосредственно «вещи»), и потому возникает необходимость в семантическом углублении и в синтаксическом расширении самого слова. Письменный текст мы видим, а видим мы многое (около 90 процентов всякого знания мы получаем от того, что «видим»), и тут каждая запятая на особом учёте, всё исключительно важно, и школьный учитель следит за тем, чтобы над каждым *ё* обязательно стояли две точки. Это уже не узус речи, но норма, которая требует правил и образцов.

Но самое главное, что разделяет устную речь и письменную в отношении к родовому признаку – к языку в целом: устная речь по преимуществу – форма, тогда как письменная нацелена на смысл. Парадоксально, но так. В устной речи за формой мы пытаемся углядеть содержание; в письменной всё наоборот – для содержания мы подбираем соответствующую форму.

Этими различиями определяются все особенности передачи устной речи на письме, как они сложились уже в средневековой русской традиции, восходя, в известном смысле, к далёким временам Кирилла и Мефодия. А именно: на письме передаются значимые элементы слова, т. е. непосредственно смысл высказывания, а не означенные его формы. Морфемы в слове, а не конкретные словоформы даны в тексте как представители слова (этот принцип нашей орфографии и называется «морфологическим»). Мы поразному произносим следующие формы слова «голова»: *головá*, *гóлову*, *нá голову* или производные типа *голóвка*,

но самую важную по смыслу морфему – корень – всюду пишем и считываем с текста одинаково: *голов-*. Мы «схватываем» мысленно с м ы с л написанного, не обращая внимания на тонкости ф о р м ы.

Таково одно из расхождений, издавна разделяющих московских и петербургских филологов. Москвичи по преимуществу «формалисты» – мы же идем «от смысла» (содержания высказывания). Поскольку, например, в русском произношении «звук», обозначавшийся старой буквой «ять» (ѣ), сблизился на слуху со «звуком» *е* (в словах типа «хлеб», «лес», «сено»), для москвичей оказалось достаточным, чтобы убрать и самую букву «ять» – гордость изобретательской техники Кирилла и Мефодия. Московские лингвисты начала века (Чернышёв, Шахматов, Фортунатов) в Орфографической комиссии настояли на устранении этой буквы, что и было декретировано Временным правительством в 1917 году. Указ подтвердило и Советское правительство осенью того же года. Это знаменитое в начале XX века восклицание «Форма исчезла!» – печально сказалось на судьбе буквы «ять». Между тем этот звук не совсем исчез – француз или швед, которые различают в собственной речи два звука – открытое *е* и закрытое *ê*, – вполне ещё «слышат» наши «е» и «ять», свободно их различая. По этой причине петербургские филологи (прежде всего Я. Грот) и составили списки слов, в которых обязательно следует различать две с и м в о л и ч е с к и д л я з р е н и я важные буквы русского алфавита. Приводят множество примеров неразличения смыслов в классических текстах русской литературы, если не учитывать эти две буквы; так противопоставились формы мужского и женского рода в словах типа *они* и *онѣ*.

Оказались затронутыми многие важные особенности русской письменной речи. Буква «ять» – это форма высокого стиля. Уничтожение высокого стиля в литературном нашем языке – основная примета нынешнего века, и начиналось это уничтожение с подобных, на первый взгляд невинных, вещей. К чему привело –

известно: на роль высокого стиля у нас сейчас претендует английское слово. Только за годы перестройки в активное употребление таких слов вошло несколько тысяч.

Важность смысла в быстрочтении не ограничивается одним стилистическим признаком. Например, наличие буквы «ять» в слове (в корне слова) доказывает его русскость (нет заимствованных слов с этой буквой). Это как бы сигнал особой важности слова, поскольку каждое русское слово многогранно по смыслу, содержит не только понятие, но и символ.

Наконец, устранение буквы «ять» разрушило всю нашу систему графики. Сравните две формы:

сѣлъ (прошедшее время от «сидеть»),
сёлъ (родит. множ. числа от «село»).

Теперь они читаются одинаково: *сел*. Чтобы различить омофоны, на письме следует писать букву *ё* (иностранцев учат писать её обязательно). У нас же не привилось, мы пишем обычно *е* без точек. Последствия ужасны, хотя возникают незаметно. В устной речи это приводит к гиперизмам (сверхстарательному стремлению произнести слово «правильно») типа услышанных от наших депутатов, начитавшихся «бумаг», но не владеющих устным словом: «*Это был такой блёф*!» — «*Он выдал такой пёрл!*» — «*Разрушена осёдлость населения!*», или формы типа «*современный период*» вместо положенного *современный*.

Нарушения возникают и при передаче согласных звуков. Новая Орфографическая комиссия грозит нам свежими правилами, особенно с написанием гласных после согласных, которые не различают за собою *о* или *е*. Предлагают идти ещё дальше навстречу форме звучания и писать слова типа *чёрт*, *жёны*, *шёл* через *о*: *чорт*, *жоны*, *шол*. Конечно, можно было бы различать разные формы (словоформы) одного слова, например вот так:

жены (родит. падеж)
жоны (именит. множ. числа),

то есть как бы показывая место ударения в слове. Но исчезает единство морфемы, столь важное при чтении писаного текста. Для москвича ещё и сегодня форма важнее смысла, словоформа и есть слово.

Оговорка-примечание. Я не за возвращение буквы «ять», хотя ничего криминального в таком возвращении не вижу. Я чисто академически показываю, что случилось в результате отмены буквы, когда буквальность смысла заменилась буквализмом формы. Всего лишь один пример, взывающий к осмотрительности. Зарубки на память, напоминание о будущем.

Итак, рокочущее приближение грозы – раскаты грома в медленном накоплении времени – слышим, или же искра молнии, мгновенно освещающей всё пространство текста – видим, – что предпочтем в этом вечном колебании между формой и содержанием, между верой и знанием?

Кому как, а мне по сердцу слова поэта: так, «чтоб писалось и смотрелось во мгновенье ока»!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛОГИКА РУССКОГО ГЛАГОЛА

Глагол и речь

Глагол – это цельная мысль, а не отдельное понятие, как имя существительное; это сообщение о чём-то, а не эмоция выражения, как имя прилагательное. Когда-то *глаголом* и называли всякое слово (так и у Пушкина – в архаичном высоком значении: «глаголом жги сердца людей»), ещё раньше – речь вообще. В течение сотен лет сохранялась лаконичная речь предков в ёмком слове, в важнейшей части речи – глаголе. Новое – вот что важно в глаголе. Не багаж памяти, а свежесть новости скрыта в глаголе, когда его произносят.

Оттого и любят его писатели. Глагол – действие, которое повторяет в описании жизнь, тем самым снова, как живую, представляет её перед нашими глазами. Не готовое определение, а ускользающий признак сказуемого, сказанного, выявленного; не *белый*, *беленький*, *беловатый*, не *белость*, *белизна* или *бель*, а *белеть*, *белеться*, *белить*, *белеющий*, *белея*. Навсегда очарованы мы прозой Пушкина, а у него каждое третье слово – глагол; чёткость слога у Чехова – тайна в том же; динамизм рассказов Алексея Толстого – пружина всё тот же глагол. Самая необходимая часть речи. Именно среди глаголов мало заимствований; обычно заимствуется имя – понятие, а действием и эмоцией оно наполняется уже в нашем родном языке.

Потому что каждый глагол – свёрнутая в слово целая речь.

В глаголе, как в капсуле, заключена взрывчатая сила целого выражения, предложения, фразы, и стоит

задуматься – как в нужный момент развернётся он сочетанием слов. *Думать – думу, делать – дело*, а потом и десятки других, даже «делать жизнь с кого»; *ходить* – в *поход*, а там и сотни других.

Много оттенков в колебаниях форм. 150 лет назад друг Н. Г. Чернышевского, учёный корректор А. Студенский, с мнением которого считались многие писатели, полагал, что «*оспоривать* гораздо конкретнее (чуть не в драке), а *оспаривать* абстрактней; *борются* телесно, физически, например, борцы, а *борятся* отвлечённо, например, с предрассудками». Позднее нашли, что и одним различием в ударении можно передать такое же противопоставление конкретного отвлечённому, *звони́т* конкретно («по ком *звони́т* колокол»), а *зво́нит* отвлечённо, как действие вообще, когда бывает, и вовсе уже не *звоня́т* (говоря по телефону, вы не бьёте в колокола).

Этот пример покажется странным, поскольку не каждый из нас сознательно избирает то ударение, которое можно назвать «правильным».

Чем-то чрезвычайно важно для нашей мысли разграничение действия и его результата, и пока нет в языке других средств выделить этот тонкий смысл, мы пользуемся ударением.

То же и у отглагольных имён. Скажем, в милицию сделан *приво́д*, но у механизмов имеется *при́вод; прику́с* как действие, но положение зубов при сомкнутых челюстях называют *при́кус*, и т. д. В словах с предметным значением ударение на приставке (*до́говор, за́говор, при́говор*), но если речь заходит о действии – ударение обязательно должно совпадать с глагольным, т. е. находится на корне (*догово́р, загово́р, пригово́р*). *До́говор* – акт, документ, *догово́р* – действие, в котором акт создаётся, и т. д. Пока такие различия существуют в разговорной речи, не все подобные формы признаются литературными. Это неудивительно, потому что литературная речь по традиции – письменная, а на письме ударения мы не обозначаем. Обозначали бы – живая закономерность языка скорее пробилась бы в норму.

Но что тенденция есть – доказывается общим правилом: глагол сохраняет ударение на корне всюду, где это возможно. Глагол, который в различных видах постоянно порождает всё новые слова, сам остаётся неизменным.

Вот насколько важно внимательно наблюдать за тем, сдвинуто ли ударение с глагольного корня, пошатнулись ли «глагольные» свойства его.

Глагол, выражая действие, бьётся в усилиях найти какое-то средство различить тот ускользающий смысл, который заключён в отдельном слове, когда им пользуются для выражения именно этой мысли. Что важно для современного человека? Различать конкретное, частное, э т о – от отвлечённого, общего, в с я к о г о. Это самое важное, и язык подбирает формы, чтобы такое различие передать. Уберите глагольные варианты как ненужный хлам – заглохнет дорога поисков смысла.

Чтобы создать отвлечённое по смыслу слово, можно, конечно, воспользоваться словом иностранным, сразу же заимствуя с ним и представление о новом, отвлечённом и общем. Пожалуйста! Однако этот путь заводит в тупик. Вот мнение языковеда академика Грота: «Не говорю уже о целом легионе глаголов, подобных следующим: *импонировать*, *импровизировать*, *изолировать*, *игнорировать*, *бравировать*, *формулировать*, *вотировать*, *конкурировать*, *резюмировать*, *третировать*. Последний разряд слов особенно неудачен, так как тут мы видим иногда двойное искажение: французское слово видоизменено сперва немецкою формою его окончания (*iren*). Чтобы уменьшить безобразие, некоторые стали отбрасывать слог *-ир-* и говорить, например, *формуловать*, *цитовать*, по образцу более старых глаголов: *атаковать*, *арестовать*, *командовать*, *пробовать*. К сожалению, это лишь в редких случаях возможно, да и от такой переделки мало прибыли, когда слово всё-таки остаётся иностранным».

Вот какие трудности испытывали в XIX веке, когда многие иностранные глаголы не могли приспособиться к русскому произношению, воспринимались как вар-

варизмы. Хуже всего приходилось писателям. «*Кристаллизировать* – по-немецки, *кристаллизовать* – французское и английское, *кристаловать* – слишком русский», – пишет А. Студенский.

Вот как выстраивается череда слов, которые сменяют друг друга, даже в домашнем обиходе. Началась телефонная эра в Петербурге словом *телефонировать* (по типу *импонировать* и др.), но в годы революции и сразу же после нее в ход пошло «более русское» *телефонить*. В начале века так говорили в Москве, но шло это слово с юга – из Одессы, из Киева. Однако не задержалось и оно, сменившись почти повсеместно словом *звонить*. Чем шире развивалась телефонная связь, тем проще становились выражения, с нею связанные. Сегодня даже и произносят не *звонишь*, как положено, а совершенно по-домашнему: *звóнишь*, *звóнит*. Бытовая речь туда же идёт, куда зашла и научная, – в отвлечённость общего. Да и можно ли говорить о ком-то, что он *звонит*, если разговор его по телефону длится часами? Тут и глагол нужен – длительного действия, *звóнит*.

Вот он, русский глагол. В нашем языке, как в любом другом, глагол ближе других корней к народному образу, точней и быстрей отражает потребности разговора и мысли. Заветное, скажем так, слово. «В глаголе, – заметил писатель Алексей Югов, – струится самая алая, самая свежая, артериальная кровь языка. Да ведь и назначение глагола – выражать само действие!»

Сказать и подсказать

Прохожий обращается к нам с вопросом: «Не подскажете ли, как проехать?..» – и вы отвечаете на бегу, не задумываясь над тем, надо ли, хорошо ли подсказывать...

Я подошлю, *я подскажу*, *я заскочу* и прочие – творения того же рода, что и канцелярские или раз-

говорные по происхождению *зачитаю вам*, *заслушать*, *предпринять меры*, *ему подвезло*, *не отпускайте монету в кассу* и др. Большинство их возникло в первые послереволюционные годы, когда огромная масса людей, прежде лишённая многих каналов общения, вдруг получила их и таким образом вошла в соприкосновение с богатствами русского литературного языка. Возникли некоторые «накладки» в образовании слов и их употреблении, поскольку в разных местностях России одни и те же приставки использовались подчас в несовпадающих значениях. Люди как бы «переводили» широко известные выражения литературного языка на доступную им речь – язык родной деревни. Так и в данном случае лучше было бы сказать *пришлю*, *приеду*, *прочитаю*, *прослушать*, *принять*, *опускать*, *повезло*. В современном обществе употребление подобных приведённым в начале главы варварским сочетаниям уже ничем не оправдано и только частично сохранилось в манерной речи некоторых лиц, в том числе и официальных. С точки зрения литературной нормы такие сочетания недопустимы.

Подсказать – сказать исподтишка (согласно определению В. И. Даля – 'проговорить снизу'); *подскочить* – подбежать быстро, вприпрыжку, на полусогнутых; *подъехать* в числе своих значений имеет и такое: 'добиваться чего-то, обращаться льстиво, но назойливо с просьбой'.

Вообще большинство значений приставки *под* связано с обозначением действий, направленных вниз или (исподтишка) снизу вверх; каждому глаголу они придают значение (отчасти) тайного действия (*подслушать*, *подговорить*) и всегда носят фамильярно-разговорный характер (*подбросить* – особенно). Продуктивность неодобрительного смысла настолько велика, что исходное значение приставки попросту утрачено; когда-то эта приставка имела значение 'очистить нечто; подобрать'; например, *подклевать* или *подмести*.

Все прочие примеры, приведённые выше, просто неграмотны. *Отпустить* значит 'освободить', может

быть также ’продать’, или ’отпустить (волосы)’; выражение *отпустить монету* – неверно; как будто говорящий жалеет о расставании с нею.

Всем упомянутым приставкам присуще только одно, общее для них значение – ’довести начатое до результата’, т. е. как и в глаголах *подмести*, *приласкать*, *посеять*, *застоговать*, *обеспокоить*, *отрегулировать* и др. Одни из них указывают такое значение с временны́м действием, в незначительной степени (*привстать*, *поотстать*, *подкопать*), тогда как другие подобного ограничения не имеют (особенно с приставками *за-* и *от-*). И вот это-то различие между полной и неполной законченностью действия оказывается важным при передаче некоторых мыслей, пока ещё, может быть, не совсем литературно оформленных. Вот и заменяют одни приставки другими, не разобравшись в собственном их значении, хоть и скромном, однако важном. Неверно употреблённая приставка как будто чуть-чуть «подправляет», на деле же разрушает смысл речи. Поскольку такое употребление не является литературной нормой, следовательно, оно и ненормально.

Припозднилась и приболела

Вот два примера, с которых начнём. Примеры типичные, встречаются часто.

Раскрываем газету: «Зима в наших краях припозднилась». По радио частенько услышишь: *приболел* – не *заболел*, *болел*, *проболел*. Не во всяком словаре эти слова можно и найти: *припоздниться*, *приболеть*. Что же за слова такие, верно ли употреблены?

В русском языке существует много глаголов, которые, может быть, ещё не употреблялись ни разу, но в любой момент, в случае необходимости, могут возникнуть в речи. Тем речь (употребление) и отличается от языка (системы), что стоит лишь прибавить приставку к глагольному корню – вот и новое слово. Прав-

да, не всегда оно оказывается удачным, а часто и просто нужным.

Глаголы с приставкой *при-* обычны в произведениях устного народного творчества, особенно в былинах и в лирических песнях. Согласимся, что некоторые нынешние образования такого рода являются удачными и потому могли попасть на страницы книг. Они часты в языке признанных мастеров слова, писателей; например, *припозднилась* встречается у М. Шолохова в «Тихом Доне». Поэтому слово *припозднилась* можно взять под защиту. Писатель А. Югов, выписывая такие слова, восторгался поэтичностью бажовских сказочных слов вроде *припозднилась* или *пристанывала*. В народной речи их немало, там они служат определённым эмоционально-поэтическим целям и, как правило, присущи речи женщин. Вполне возможно, что и *приболела* также впервые сказано женщиной.

И в отношении к этому слову можно было бы высказать сомнение: так ли уж оно плохо? Обычно этот глагол (в языке персонажей и в романах и рассказах из современной жизни) употребляется в сочетании с наречиями *малость*, *немного*, *чуть-чуть*, а это значит, что *приболел* – не то же самое, что *болел* – некоторое время, чуть-чуть, не беря больничного листа.

В 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» *припоздниться* и *приболеть* указаны как просторечные, а не литературные слова. Это справедливая, верная их квалификация, поэтому в толковых словарях, к которым чаще всего обращаются, данных слов либо нет, либо они даны с запретительными пометами; так, в словаре Ожегова (1982) первого из названных слов нет, а второе дано как просторечное, соответствующее разговорному (тоже не литературному!) *прихворнуть*, т. е. 'заболеть несильно, ненадолго'.

Из сопоставления этих слов ясно, что *хворать* – слово разговорное, которое в речи может заменить литературное слово *болеть*. Но так как приставка *при-*

в сочетании *прихворнуть* имеет значение неполной, слабой степени действия, то по аналогии с ним образуется и новое слово *приболеть*, которое лишь внешне кажется литературным, как и *болеть*. Каждое усложнение глагола приставкой либо создаёт слово с новым смыслом (*болеть – приболе́ть*), либо меняет вид глагола (*болеть – заболеть, проболеть*).

Слова, которые постоянно создаются в разговорной речи, со временем могут стать и литературными, но это происходит не так скоро. Поэтому и *приболела*, и *припозднилась* пока ещё находятся за пределами нормы. Слишком они выразительны, образны.

За пределами нормы остались ведь многие слова того же рода, которые в образной речи литераторов появлялись и раньше. «*Прискучить* – слово неупотребительное в хорошем слоге», – говорит «Москвитянин» в 1853 году; Л. Пантелеев, описывая Сибирь, употребляет выражение: *Морозы приотошли*. Можно, конечно, и так сказать, но это – не норма!

Внимательный читатель заметил, наверное, как со временем изменялись пристрастия к различным глагольным приставкам. Что казалось выразительным бабушкам, то внуки почитали банальным и плоским.

В XIX веке в ходу была приставка *при-*, выражала она некую близость к народной речи, с определённой эмоцией, заложенной в смысле речения: приближение, неопределённость, чуть-чуть и нечто. *Пристанывала... приотстала... приобвыкли*. Многие такие слова сегодня и в литературу проникли, и кажется нам, что всегда в ней были...

В начале XX столетия возникло пристрастие к приставке *про-*. Вот и у А. Белого эта уточняющая приставка, которая – по смыслу речи – отражает качество новой силы: нечто должно *проявиться*, а пока сокрыто, не видно, не ясно. «Протуманилась невская даль...», «протемнится там издали рыба...», «прожелтилась особа...», «просинел, прожелтел, просверкал...» П р о я в и л с я.

В наше время (и с неким оттенком иронии) широко распространилась приставка *под-*; не просто *сказать*, а – *подсказать*. Вежливо вроде, но с долей и унизительности, и высокомерия вместе. И рядом с ним россыпь словечек той же цены: *подзалежать*, *подзалететь*, *подзапастись*, *подлетнуть*, *поднадеяться*, *подсюсюкнуть* и прочие... Снизу, но настырно, незаметно, но цепко сделать что-то, что на первый взгляд не кажется возможным, во всяком случае, не является честным. Много лет назад С. И. Ожегов, специалист по культуре речи, говорил, что переносные значения старых слов вроде *подойти*, *подъехать*, *подослать*, возникшие в русской речи с конца 1930-х годов, противоречат нормам литературного языка, ибо нарушают смысл: каждый предлог имеет своё значение, а все указанные слова возникли на основе смешения с *под-* в значении 'не в полной мере' (как и *подсушить*, *подутюжить*, *подгладить* – не в полной мере, отчасти). В разговорном языке предлог *под-* «развил голую экспрессию, стремление показать неполноценность обозначаемого действия, смягчить его в глазах собеседника, некая вежливость в отношении к собеседнику: *подзабыть*, *подзаработать*, *подкинуть ребенка...*» Сегодня таких словечек всё больше, и смысл их – грубее. Они двойственны по эмоции, как и люди, которые пользуются ими.

Оказывается, эмоция, чувства, скрывая от нас содержание слова-понятия, от современников заслоняют ход совершающихся в самом смысле слов изменений. А ведь смысл (в отличие от значения) изменяется не в отдельном слове – сразу в десятках, в сотнях, вбирающих в себя то общее, что принадлежит не одному глаголу, а целой их группе, объединённых общей приставкой. Уходят из лексикона заношенные речью, стершиеся от частого употребления приставки, их место занимают другие, новые, достоинство которых и в том, что они по своему значению шире, важнее по смыслу, годятся не только для поэта или учёного, но и для всех в обычной речи.

Поначалу их ищут, примериваются, приглядываются... «Всю душу засветлело...», «много вылито слез» у В. Соллогуба; «Мы притаили дыхание», «пытками добивались сознания» вместо *признания* у Шелгунова; «а сколько ещё выработки предстоит!» – говорит Гончаров о необходимой *доработке* законченного романа; «щи простыли», – пишет Помяловский (в наше время можно сказать, что *простыли дети*); С. Аксаков «выдал книгу», как будто он библиотекарь, а не писатель, который только что *издал* новую книгу; «мы завлекались оба», – пишет Достоевский, хотя на самом деле никто их не завлекал, они *увлекались*. Всё это случайно выбранные примеры подобных оборотов в литературе XX века. Только теперь, сотню лет спустя, можем мы видеть, что особенно предпочитались тогда приставки книжного языка, высокого стиля, возвышенные *вы-* вместо *из-*, характерные *при-* и прочие, которые, как бы заменяя друг друга в потоке разговорной речи, делали описание либо слишком картинным и возвышенным, либо весьма конкретным и частным. Прочтите любой роман Достоевского, подобных – иногда выразительных – примеров взаимной замены приставок при глаголе у него много; неопределённость и даже таинственность его повествований отчасти определяется неким изломом значений у обычных русских глаголов; заменил приставку или суффикс – чуть-чуть искривил перспективу действия, сделал его необычным и уже поэтому – спорным с точки зрения нормы.

Вот парадокс речевого усилия, как проявляется он в истории: уточнение смысла слов и их обобщение идут через эмоцию, заложенную в каждом новом и непривычном сочетании с приставкой, через личный вкус, через образ, вступающий в противоречие с необходимой для понятия ясностью. Впечатление, будто такая игра приставками – вещь несерьёзная, проделывается легко, и каждый, так поступая, как бы подсмеивается и сам над собою, и над собеседниками, вполне отдавая себе отчёт в том, что строгость термина обедняет значение слова, сужает его. Всплеск эмоции

3 Зак. 207

противоположен терминологической строгости, точности и однозначности, к которой неустанно стремимся сегодня; разговорное слово отстаивает своё право перед языком науки, посягнувшим на эмоциональные оттенки обыденных слов.

Задействовать

Сегодня многие решительно осуждают, как нерусское, слово *задействовать*, считая его сорняком и уродом.

Слово это никогда не было литературным. Оно разговорное, хотя, к сожалению, с недавних пор весьма употребительно. Иногда полагают, что популярность слова возникла после выхода в свет романа В. Богомолова «Момент истины», который получил большую известность. Однако в газетных заметках, посвящённых военным действиям, этот глагол встречается часто: «В операции задействованы...» Это не обычное значение (и самого по себе не очень удачного) глагола *задействовать* – 'начать действовать'. *Задействовать* в военном языке – глагол переходный: *задействовать* что? – войска, материалы, ресурсы, резервы..., т. е. ввести в действие, в дело. В современных словарях эти два глагола – в разных значениях – даны как самостоятельные слова. И совсем не обязательно в бытовой речи для пущей красы пользоваться словом военных.

Впрочем, подобных образований множество, глаголы с приставкой *за-* плодятся неимоверно, уже лет двести. «Однако ж пора собираться, – говорил герой романа А. Вельтмана полтора века тому назад. – Одевайся, мон шер: впрочем, запоздать – ничего не значит, неприлично заранить». Случилось пошутить – и пожалуйста, слово готово, всегда понятен его смысл. За несколько лет, прошедших между 1968 годом (написан роман Ю. Семёнова «Семнадцать мгновений весны») и 1983 годом (появился роман «Приказано выжить»),

язык известного всем Штирлица изменился неузнаваемо. Словно прожил он целую жизнь за те несколько мгновений весны, апреля 1945 года, на которые мы с ним расстались между двумя книгами. В новом романе встретим и *замотивировать* (болезнь), и *залегендировать* (контакт), и «самое опасное *заиграться*», а то и с другим, столь же излюбленным *на-* – «нарабатывают руку», «нарабатывают престиж» и т. д. Пример небрежности в речи и неуважения к читателю, но вместе с тем и – чуткая реакция писателя на современный нам расхожий язык якобы интеллигентной публики (которая поставляет подобные продукты своего речетворчества).

Примерно после 1965 года в нашу речь всё активнее стали поступать слова *закодировать, загрипповать, зашкаливать* (стрелку, прибор и т. д.). По общему своему смыслу все они обозначают начало действия, причём начало активное, целеустремлённое, настойчивое. По-видимому, свой эмоциональный тонус новые слова заимствовали от более привычных, таких как *заколодить*, *забодать*, *забастовать*, в которых, надо сказать, смысл, прямо противоположный современному значению глаголов с приставкой *за-*.

Глаголы этого значения – вступления в действие – с приставкой *за-* все относительно новые, ещё и в XVII веке их было немного. Современные и привычные нам *заплакать*, *засмеяться*, *зацвести*, *заговорить* и др. – недавние слова, может быть, потому они и столь продуктивны сегодня: не вся ещё лексика «простёгнута» этим оттенком значения *за-*. Приставка *за-* заменила здесь другие приставки, и вот в какой последовательности: в древности было *восхочет* (так в Судебнике 1497 года), затем появилось *похочет* (так в Судебниках 1550 и 1589 годов), и только с начала XVII века в оборот вошло привычное нам *захочет*. Изменялось отношение к воле, пожеланию, всякой модальности речи. Понижался и стиль высказывания: от самого высокого с *вос-* до разговорного *за-*. Сегодня развитие глаголов с приставкой *за-* продолжается, и нет

ничего удивительного, что даже глагол *действоеать* оказался охваченным ею.

Внутреннее противоречие между смыслом и эмоциональным содержанием слова настораживает всякого читателя, когда он сталкивается с очередным образованием вроде *задействовать*: что в нём важнее — корень-смысл или приставка-настроение? Однако в разговорной речи подобные слова оказались живучими, потому что для них эмоция подчас важнее смысла. Потому и увеличивается ряд слов, которыми одаривают нас словари новых слов с 1960-х годов: *заизвиняться, задублировать, заволокитить, заводить.*

Тут же ещё и другой вопрос — тоже о приставке *за-*. Как правильно: *закончить школу* или *окончить школу*?

Всякая вообще приставка имеет своё особое значение и, присоединяясь к глагольной основе, изменяет не только глагольный вид (совершенный-несовершенный), но и смысл выражения. Во времена Даля та или иная приставка при глаголе попросту управляла только определённым, очень ограниченным, этому глаголу присущим, конкретным рядом имён: *до-кончить вещь*, *за-кончить вечер*, *о-кончить работу*, *по-кончить дело* и т. д. В наше время глаголы с приставкой *за-* имеют два основных значения: 'довести до нежелательного состояния' (*он заучился*) или 'начать какое-то действие' (*мотор заработал*). Вот почему сочетание «закончить школу» кажется странным, оно выражает не совсем приятное значение (*закончил* как *заучился*) и является неправильным. Смысл же приставки *о-* — 'довести до результата', поэтому все словари рекомендуют говорить *окончить школу* (или *кончить школу*).

Однако стоит лишь вернуться за два поколения вспять, окажется, что и это считалось неправильным. В 1890 году анонимный автор НГ писал: «*Окончить* школу, гимназию, университет — по-русски составляет неправильное выражение, которое, однако, в большом употреблении; вместо того следует говорить и писать *окончить учение в школе* и пр.». Новое, свойственное

нам выражение – перенос по сходству: вместо *окончить учение* стали говорить *окончить школу*; смысл сохранился, а это позволило использовать и глагол с приставкой.

Так незаметно глагол *задействовть* вывел нас на широкий простор однородных с ним образований: настолько велико число слов с приставкой *за-*, которые ещё коробят наших современников. С одними свыклись (*закончить школу*), другие справедливо встречают в штыки. Среди последних такие, как *заорганизовать* или *заиметь*. Даже столичные газеты не брезгуют ими: «Почему именно Выре выпало счастье заиметь такой редчайший музей?» Почему же *заиметь*? Непонятно. Слово из воровского жаргона. Разве *выдрали* этот музей, *отодрали*, *слямзили*, *сбондили*, *стибрили*, как говорят бурсаки у Помяловского? Нехороший тон.

Наступление подобных вульгарных форм на русскую речь замечено было в XIX веке; тогда появились первые из них. Все они вышли из канцелярии, в том числе и *завиняли* 'обвиняли', и *заарестовать*, и иные. Упорный свидетель из XIX века, АБ в 1889 году записал нам для памяти: «А вот ещё перл из недр той же специализированной литературы: *заслушать*. Какой-нибудь отчёт, доклад был *заслушан*. Идя далее от этого глагола, имеющего отношение к одному из пяти чувств, можно варьировать и глаголы, относящиеся к другим чувствам: можно поэтому сказать (а может, со временем и будут говорить), что представленные, например, для рассмотрения чертежи, планы и т. п. предметы *были засмотрены*; далее – *было* что-нибудь *занюхано*, *защупано*, *завкушено (зализано)*. Право, стоит только освоиться с заслушанным, тогда и прочее не будет казаться диким».

Журнал «Журналист» в 1928 году перечислял множество форм, которые, по счастью, также у нас не утвердились: *засъёмки*, *зачитки*. Тогда же появилось и *зачитать*, о котором с особым волнением писал К. Чуковский: «И новое значение словечка *зачитал*.

Прежде *зачитал* значило: замошенничал книжку, взял почитать да не отдал. И ещё: ужасно надоел своим чтением: "он зачитал меня до смерти". А теперь: "прочитал вслух на официальном собрании какой-нибудь официальный документ"... Я пробую спорить с собою, пробую подавить в себе свои привычные субъективные вкусы и, сделав над собою усилие, пытаюсь хоть отчасти примириться даже с коробящим меня словечком *зачитать*».

В нэповские годы ходило выражение «заслушание зачитки протокола», затем этот монстр разложился на отточенные формулы: *зачитать* и *заслушать*.

Как относиться к ним? Запретить? Увы, они уже есть, такие слова, кто-то их даже любит, видит в них некий смысл, «обогащающий» речь. Именно в таких вот случаях и можно спорить о вкусах. Некрасивые и нелитературные, эти слова – паразиты на той животворной силе разговорной русской речи, которая и впредь создавать будет всё новые слова с выражением энергично законченного действия.

Протестовать против

Часто возникает вопрос: правильно ли сочетание *протестовать против*? В классической литературе его не найдёшь, а современные политические обозреватели употребляют его часто. Кое-кто избегает этого сочетания: ведь *протестовать* уже и есть – *против*... А теперь обсудим проблему, но по возможности всесторонне, потому что истинные проблемы неоднозначны.

Слово *протестовать* заимствовано из польского языка в начале XVIII века, но сам глагол – французский, он восходит к латинскому *protestari*, что значит 'возражать', и *про-* здесь действительно значит 'против', а *-тест-* – 'доказательство, подтверждение' (ср. современное заимствование *тест*). Первоначально это был юридический термин, связанный с коммерческим правом: 'торжественно, публично заявлять,

удостоверять'. В течение XVIII века русскую публику приучили к этому слову, и с 1782 года оно известно уже в словарях; тем временем из немецкого языка заимствовали и слово *протест* – 'публичное и резкое заявление' (с тем же латинским корнем). Некоторое время это слово было термином, за которым революционные демократы скрывали весьма сложные понятия. Отчасти это видно и на шутках добролюбовского «Свистка»: «Написал я к одному приятелю в Петербург, прося объяснить, что такое *протест*, почему – *протест*, зачем – *протест*». Вся публицистика «Современника» объясняла значение слова в его политическом смысле.

Так начались изменения в значении наших слов уже в соответствии с нуждами русского общества и языка. На протяжении XIX века *протест* получил широкое значение решительного возражения против какой-то несправедливости, возражение, которое носит коллективный, массовый характер и обычно выражается хотя и в легальных, но в очень резких действиях. В 1867 году академик Я. Грот признал это значение слова русским. Появились и сочетания с русскими глаголами: *заявлять протест*, *выражать протест* и др., всегда с предлогом *против*. Новое сочетание с иностранным словом накладывалось на старинные русские сочетания с тем же значением. *Возражать – против*, значит, и *протестовать – против* (чего-то). Сочетаний таких множество, в том числе и древних: *против рожна прати* – 'действовать против'... Из таких сочетаний предлог перенесён и в сочетание с новым глаголом: *протестовать против*. В столичных газетах новое выражение известно с 1838 года, и в «Современнике» М. Е. Салтыков-Щедрин писал иронично: «Какой-нибудь мудрец московского Зарядья засел в свою мурью и протестует оттуда против непреодолимого хода человеческой мысли». Как и во многих других случаях, поначалу выражение носило неодобрительный характер, вот и сатирик не очень одобряет «протестанта». Это оттого, что немецкое слово *протест*

не носило никаких добавочных смыслов – просто возражение. В смысле 'возражение' в середине XIX века это слово и употреблялось только в отношении к петербургским немцам.

Иное дело – *протестовать против*. Новый смысл выражения сформировался в демократической среде. Уже в «Свистке» 1858 года встречаем только – «протестовать против злоупотреблений». Тот же журнал (1853) впервые осмелился высказаться так: «оппозиция против всего» – что немедленно было поправлено критиком «Москвитянина»: не «оппозиция против всего», а «оппозиция всему»!

Сегодня нас устраивает вариант «Современника». В публицистике революционных демократов во многих сочетаниях с иностранными глаголами присутствовало это *против*, в том числе – и *протест против застоя... протест против общественного строя*... Очень важное словечко – *против*! В нём-то всё дело, оно и создало новый смысл всего выражения: *протестовать против*.

Когда мы делаем что-то – предлог редко употребляется: *протестовать вексель* – и все. Но как только мы начинаем излагать наше мнение, вообще говорить, тут без предлога не обойтись; оказывается необходимым связать нашу речь с предметом высказывания, чтобы слушающему (читающему) было ясно, о чём и ради чего речь. Вот почему – *протестовать против* чего-то.

В 1890-е годы возникли и устойчивые сочетания с новым выражением: *протестовать против войны*, *митинг протеста* и др. Да, им уже более ста лет.

Выделение предлога после заимствованного слова показывает, что глагол стал уже полностью русским. *Про-* в нём никак не выделяется современным сознанием, как и корень *-тест-*, составляет единство с корнем.

Одновременно развивались и значения слов. Психологические романы XX века породили представление и об индивидуальном, личном протесте («внутренний

протест», «вся душа его протестовала» и т. д.), так что исходное значение глагола ('торжественно публично заявлять') забылось полностью. И если прежде можно было только «протестовать вексель», то новые значения глагола потребовали и усиления предлогом, на значение которого как бы опирался переход к следующему за ним существительному: «протестовать против войны».

Со временем сочетание *протестовать против* настолько распространилось, что стало истинным бичом литературы. К. Чуковский относил его к числу неизбывных «канцеляритов», которым ещё в школе «заряжаются» на всю жизнь ученики, «проходящие» русскую литературу: «Главное, чтобы было побольше протестов. Я так и напишу непременно: "Гончаров в своих романах *протестовал против*". Уж я придумаю, против *чего*!»

Свой вклад в чрезмерность употребления глагола вносит и язык прессы, которая иногда забывает, что кроме высокого слова *протестовать* имеется множество русских, иногда и более точных, но, главное, стилистически нейтральных синонимов, например – *возражать*. Вот почему и приходится в о з р а ж а т ь п р о т и в злоупотребления отточенной в публицистике русской формой *протестовать против*; само выражение вполне литературно, что подтверждается и практикой русской литературы.

Повтор

Спортивные комментаторы часто употребляют слово *повтор*, когда хотят ещё раз показать момент игры: «Посмотрите повтор». Правомерно ли употребление этого слова?

Отвлечённые существительные с суффиксом *-ение* имеют значение действующего признака, который выражен глагольным корнем. Пословица в записи Даля: «Повторенье – мать ученья» – и отражает русское

произношение книжного слова, и передаёт смысл неоднократного действия.

У имён, образованных от глагола без помощи суффикса, значение действия утрачивается, оно как бы застывает, облекаясь в простое представление о действии: *затор*, *пробег*, *отход* и т. д., хотя можно было бы сказать *отхождение*, *пробегание* и др. Выбор слова определяется мыслью, которая становится основным содержанием речи и притом передаёт настроение говорящего.

Название действия, как бы вынутого из процесса и поданного в речи подобно моментальному снимку-понятию, является очень продуктивным с древнейших времён. *Пуск*, *запуск*, *занос*, *принос* и многие другие слова образованы таким образом. Новые слова типа *недосып*, *наклёв* возникают буквально каждый день. Это слова разговорной речи, а не книжные неповоротливые *пускание*, *донесение*.

Разговорная интонация спортивного комментатора могла породить и новое значение слова *повтор*. Оно обозначает здесь действие безотносительно к его длительности и характеру протекания. Повторяется ведь не сама игра, развернутая в реальном времени, а только демонстрация какого-то её этапа. Само слово *повторный*, связанное с *повтором*, обозначает повторяющиеся кадры, а не возобновление самого действия. Слово *повтор* в таком значении предпочтительнее, чем *повто-рение*; у поэтов очень давно тоже есть термин *повтор* – повторение одинаковых звуков в определённой последовательности. Утрата суффикса *-ние* – книжного и высокого – делает слово разговорным, снижает его стиль, но вместе с тем ещё больше отрывает от глагольной основы, делая существительным-термином.

В словах не только различие между признаками (*повтор*) и действием (*повторение*). Сосредоточенность внимания на признаке действия постепенно вызывает представление и о его качестве, которое ненавязчиво всегда связано со значением такого слова. *Разрыв*,

недосып, *разброд* и подобные несут с собою дополнительное значение чего-то плохого.

Существует тенденция к сокращению слов в разговорной речи (*повтор* вместо *повторение*), и это также приходится принимать во внимание, объясняя появление слов типа *повтор*. Пока разговорная речь столь же авторитетна в обществе, как и литературный язык, богатые возможности русского языка порождать новые сочетания слов и новые типы слов будут постоянно использоваться. Но главное здесь – не пересолить. Если в первую очередь нужно обозначить словом д е й с т в и е, усечённая форма не годится: так, в XIX веке говорили не *расстрел*, а *расстреляние*, выделяя не результат, а само действие. Ошибки такого рода могут быть и намеренными. Царский министр С. Ю. Витте говорил о революционных «выступах» рабочих, в революционной публицистике предпочитали «книжную» форму *выступления*, подчеркивая тем действенность, неслучайность и непреходящий характер нового социального действия.

Шитьё и пошив

«...Нам сапоги пошили...» Так сказал современный поэт Виктор Боков, владеющий русским словом.

Появилось и укоренилось *пошить* вместо *шить* – и сразу же на место *шитьё* всюду вторглись «пошив платья», «пошив обуви», а отсюда – почти закономерно – известная ныне всем «пошивочная мастерская», потом (откуда ни возьмись) *пошивщик* да *пошивщица*, а теперь так даже и *пошивальщики*, которые заняты тем, что «пошивают обувь»! Кошмар! Стоит допустить еле заметный срыв в сторону вульгаризма – тут же на нас обрушиваются десятки его порождений, как бы накликанных нашим равнодушием к тонкостям русской речи. Зачем *пошивают* – вторичное слово несовершенного вида, если несовершенного вида и исходный русский глагол *шить*?! А тут уж подпирают новые,

и возникает вопрос: если в бане теперь производят *помыв граждан*, почему бы и в парикмахерских не ввести *побрив*?

Древние образования от причастий, слова *бритьё*, *мытьё*, *нытьё*, *рытьё*, *шитьё* и др. с самого начала называли признак действия, обозначенного в корне. Важен ведь сам процесс, и ничего больше. Но процесс этот, действие по корню, был бытовым, домашним, обычным и отличался тем самым от действий других, высокого смысла, которые также могли выражаться подобными же словами, но только в книжном их произношении. Так, *быт* и *житьё* в сознании русского всегда отличаются от *бытия* и *жития*. Для их обозначения и существуют в языке разные слова.

Но каждое действие имеет определённый результат, а мы уже видели на многих примерах, что современное сознание и в языке стремится их разграничить, назвать разными словами.

Так, сегодня мало кто догадывается, что *порыв* и *рытьё* не только слова одно корня, но некогда и обозначали одно и то же действие. В древнерусском, да и в диалектном языке сегодня *рыть* значит просто 'бросать'. *Порыв* – столь же конкретно по смыслу, как и *рытьё*, вот только обозначало слово чуть-чуть иное, прежде всего место, где порвано. Затем, путем обычных для языка переносов в значении, отталкиваясь от равнозначного *рытьё*, стало обозначать оно сначала 'сильное, резкое движение' (которое делают при рытье), а затем и в самом высоком смысле – 'подъём душевной энергии, внезапно возникшее стремление к чему-то': *душевный порыв, порыв героический*. Все другие слова, образованные таким способом, в принципе тоже со временем могут стать высокими, получив значение отвлечённое, связанное уже не с бытом, а с бытием. Только вряд ли это случится со словами *помыв* да *побрив*.

Иное дело – *пошив*, хотя это слово ничем от *порыва* не отличается, разве что смысловые связи со словом *шитьё* ещё не совсем разорваны, как взаимно у слов

порыв и *рытьё*. Оттого и кажется, что не нужно нам слово *пошив* при *шитьё*. Почему же тогда возникло это неуклюжее слово?

Пошив и *шитьё* не всегда совпадают в значениях: *шитьём* ведь можно назвать и результат шитья, скажем – «золотое шитьё мундира». Говоря: *пошив* – сосредоточиваем внимание на процессе, а не на результате действия. Добавление приставки усиливает глагольность слова. Иногда одним ударением можно различить действие и его результат, и в таком случае новых слов придумывать и не нужно: *договóр* и *отзы́в* как действие, *дóговор* и *óтзыв* как его результат. Перенос ударения на предлог – всё шире распространяется, особенно в профессиональной речи; говорят частенько *при́зыв* (вместо *весенний призы́в*), а врачи вместо *прику́с* говорят *при́кус* (положение зубов при сомкнутых челюстях). Ничего дурного в этом нет, но следует знать меру.

Пошив несомненно образовалось от глагола *пошить* – специальное слово портновского языка, оно появилось не раньше XVIII века у людей этой профессии, да ещё не всегда и русских по национальности. Для них что *порыв*, что *пошив* – всё едино. Образование это искусственно и вторично, и это легко доказать на самом языке. Было в древности два вида страдательных причастий от подобных глаголов. *Мыт*, *шит*, *брит* – русские, а *мовен*, *швен*, *бриен* – церковные, книжные. *Мытьё*, *шитьё* и *бритьё* – от первых, это по происхождению русские слова, разговорные слова. *Порыв* и прочие высокого слога пришли из книжной речи и в переносных своих значениях стали словами высокого смысла. Положение слова *пошив* в этой строгой системе двойственно. Корень – русский, а по форме тянется к высокому стилю, подражает ему. Прав А. Югов, возражавший тем, кто считает слово *пошив* «неграмотным», грамматически оно верно; но писатель заблуждается, полагая, что можно им пользоваться как исконно «русским», всё-таки образовано оно по книжной модели. Слово это не литературное, между

прочим и потому, что не встречается в классических текстах.

Можно понять и затруднения, связанные со словом *мытьё*. Нынешние банщики, как правило, уже не моют своих клиентов, но в банях по-прежнему *моются*. Как поступит каждый из нас, если ему нужно написать объявление? *Мытьё* – не подходит, *помойка* – не годится: совсем другое значение у этого слова. Выручает то глубинное различие в языке, которое в нужный момент как бы всплывает в сознании и порождает невероятное слово *помыв*. Непривычно, однако выражает суть дела: в указанном учреждении можно помыться (это не результат), и мыться вы будете сами. Чувствуя грубоватость слова, начинают смягчать его привычными русскими суффиксами, облагораживая: «Помывка не более 45 минут» – уже благообразнее. *Побрив* или *поныв* (зуба), хотя и встречаются, пока не приняты, поскольку в парикмахерских всё-таки бреют (*бритьё*), а не бреются; зубная же боль возникает сама по себе, независимо от больного.

Разговорная речь гибка. Превратить глагольное слово в существительное ей очень просто. Вместо *помыва* – *помывка*, и русское слово готово. Правда, при этом оно чуть-чуть понижается по стилю – становится разговорным, с ехидцей, а иные слова и вовсе не подходят по смыслу корня: «людские отброски» (часто у Н. Шелгунова) не привились – *отбросы*; «мои пережитки за последние годы» (у П. Боборыкина) – тоже (*переживания*, потому что *пережитки* – совсем другое!).

Многие современные имена когда-то были такими же, а теперь изменили свой стиль речи. Например, в 1860-е годы говорили не *причёска*, а *куафюра*, по-французски (*причёска* – действие причёсывания, от *причесать*). Известная литераторша Е. Н. Водовозова писала: «Мне некогда, крестная, тратить время на куафюры! Таня употребляет на свою причёску по часу и более...» Только непосредственная в своих высказываниях, принадлежавшая к демократическому кругу женщина могла так сказать в XIX веке. Сегодня

и мы привыкли к простонародному слову *причёска*, которому в разговоре предшествовал *причёс* (ср. *начёс*, *зачёс*).

В начале XX века Римский-Корсаков писал о «разучке пьесы» и «ночной разводке мостов» – оба выражения разговорные, но *разучка* стала для нас *разучиванием*, а *разводка мостов* осталась, и даже словари указывают это слово, не забыв отметить: разговорное. Официально это действие именуется *разведением мостов*.

После Октябрьской революции многие такие разговорные и просторечные выражения – из языка рабочих – вошли в литературную речь и даже обогатились переносными значениями, т. е. укоренились в нормативном языке, как будто всегда в нём и были: *перекличка*, *связка*, *спайка*, *смычка*, *прослойка*, *увязка*, *посылка* и многое другое, но всегда с суффиксом имени, переводящим слово из глагола в существительное. Иные стали и философскими терминами, как, например, *надстройка* – слово, которое употребил Ленин в своих переводах текстов Маркса. *Перестройка* из той же серии.

Правда, поначалу близость подобных слов к просторечию вынуждала их ютиться где-то в стороне от литературной речи, в сатирических куплетах, как вот у В. Лебедева-Кумача: *усушка... утруска... провес...* Но неприятие отдельного слова такого рода вовсе не порочит все остальные, те, которые достигли признания и известности. В этом движении новых слов, обусловленном старинным русским способом их создания, – утверждение в своих правах застенчивой Золушки, которая помаленьку оттесняет кичливых своих сестер – книжного происхождения слишком высокие слова.

Настрой и разлад

Из многих писем меня поразило одно, автор которого пишет: «В моду вошли слова: *настрой*, *накал*... Что они должны значить?» Да как что?! обычные вроде

слова... Но мало-помалу стал и я думать: что-то тут не в порядке, не русские вроде слова. *Настой* – понятно, *настрой* – вычурно, *предел* – понятно, *накал* – не то. А тут пошли потоком и другие, каких много в словарях новых слов: *посмотр* и прочее.

Особенно любят такие слова спортивные комментаторы и газетчики. «Накал спортивной борьбы» мы уже выучили, знаем, что это вроде «лампы накаливания», но гораздо моднее. А вот заголовок передовой статьи «Настрой на дела» – повелительная форма глагола? нет, тоже существительное. «Неужели дела делают по настроению?» – спрашивает читатель, приславший вырезку из газеты. Он прав, слишком свеж ещё образ глагольного корня, чтоб отважиться на такую лихую метафору.

Справедливости ради скажу, что официальная и особенно чиновная речь всегда отличалась пристрастием к подобным образованиям. Есть в них налет высокого слога и вместе с тем – приближённость к глаголу. Очень любил их в своей публицистике Салтыков-Щедрин: «Попал в передел к директору». Так это звучало в середине XIX века, а вот как теперь: «в переделку». Приблизилось слово к разговорному стилю, стало понятнее. Народник Л. Пантелеев в 1862 г. о сотруднике, много взявшем авансом из редакции: «был уже в большом *заборе* по конторе "Современника"», или у Короленко: «Компания не платила подолгу за эти *заборы* рабочих» (из лавки брали товар в кредит). Слово вроде понятное: *забор* – но другой *забор*, от глагола *забрать*.

А вот у князя Кропоткина: «Но в этом году закуп хлеба меньше прошлогоднего». Совершенно знакомое слово! но форма у него иная: теперь мы говорим *закупки*, *разборки* – с суффиксом, который как бы опредмечивает действие, делает его результатом – овеществляет. В 1889 г. пишет АБ: «молодой канцелярист затруднился, как надписать: Дело – об утоплении... об утопе... об утоне... об утопии... Нет, всё не ладно. Спрашивает товарищей, те тоже недоумевают... Да спа-

сибо, начальник-корнеслов выручил из затруднения, удачно подсказав: об утонутии!» Так сто лет назад, сегодня канцелярский язык предпочитает словечки вроде «утоп».

Глагол – это действие, живое и натуральное; канцелярит, как язык искусственный, омертвляя глагольное действие в таких отглагольных формах, накалывает, как усохшую бабочку, на свою бумажку усечённое слово – не глагол, а похоже.

И так на каждом шагу. Мало новых – берем и давно известные. Вопрос: «Почему в столовых и в хозяйственных магазинах *поднос* серебряный, а *разнос* – пластикатовый? По материалу?» Вряд ли; думаю, это слово возникло стихийно. От *разносить* – ведь *разносят* «блюда», а не *подносят* «пищу». Однако не замечают горе-новаторы, что там, где еду подают на подносах, от посетителей меньше разносов. Неудача авторов в том, что не учли они сходства с существующим словом *разнос* – головомойка. Двусмысленность его порождает неодобрение. Желание хорошее, а вот исполнение...

В специальном языке много старинных русских слов, как бы нарочно придуманных для дела. Только что развернул я местную газету, а тут заметка о паводках на Неве. Нева замерзает снизу вверх против течения, и при сильном морозе к схваченной уже кромке прикипают идущие с верховьев льдины. «А слаб мороз – они не успевают смёрзнуться, большую часть их уносит течение под ледяной покров. И тогда в этом месте образуется плотное скопление льда, рыхлой шуги, иными словами – появляется *зажор*. Как бы сужается русло, здесь воды реки задерживаются, поднимается её уровень. Почти ежегодны зажоры на Неве». Хорошее слово – *зажор*, не просто точное, но ещё и образное. И в текстах встречается, хотя и не совсем в том значении: «Разъезжая по делам службы, я однажды всю ночь простоял в зажоре...» (Быков). Никаких столкновений с другими словами, никакого сомнения в том, что – русское слово.

Не случайно показал я эти слова рядом с глаголами. Удачные или не очень, такие имена неизбежны в разговорной речи. Они возникают постоянно, всегда готовые помочь нам в выражении вдруг промелькнувшей мысли.

Вы не согласны? Вы – против таких слов? Что ж, хорошо, и я говорю, что многих лучше бы не было вовсе! Однако – читатель! виноват ли язык в безвкусице авторов и в безграмотности сочинителей объявлений? Наверное, нет, не виноват. Умей выбирать и подумай. Сам.

А чтобы было понятней, почему языку нужны эти формы, вернусь на сто лет назад, в Петербург 1889 года. Известный нам АБ рассуждает о том, что вот, дескать, в русском языке имена, образованные от глаголов, неравноправны. От глаголов несовершенного вида обычно есть: *вставать* и *вставание*, *сидеть* и *сидение*, – тогда как у глаголов совершенного вида их нет. *Встать* и *сесть* не имеют имён, особенно первый из них; а когда встают, почитая умершего, «видится в этом *вставании* что-то вялое, даже неохотное», но подобающего слова для выражения этого действия нет. Для *сесть* – старинное русское *присест*. Было слово *нагревание* от *нагревать*, но техники придумали удачное слово *нагрев* – от совершенного вида *нагреть* – «и отлично!» Вообще АБ доволен техническим языком; много удачных терминов такого же рода: не только *обжигание*, но и *обжиг*, и т. д. Удачно придумали и ветеринары: «падеж скота». Ведь болезнь налетает сразу, стремительно, и человек заболевает не постепенно, а вдруг; слово *заболевание* тут не годится. *Заболев*?

Их постоянно создают или, позабытые, воссоздают заново. У Андрея Белого отглагольных имён такого рода – множество (как у всякого символиста, чуткого к слову). Задача заключалась в том, чтобы избавиться от церковно-славянского суффикса и одновременно энергически показать движение: *пробуд* вместо *пробуждение*; *опухи глазных мешков*; *я любил его шарк, его щёлк, – каблучками*; *посиды в гостях*; *с потером*

дворянской мебели; *была уютность в привире*; *подгляды*; *с оглядами собственных пяток*; *без тряса жал мою руку*; *от растера хозяев*, *старцы горазды в искусстве замина* (заминают неловкость молчанием); *розовый цвет лица – не напудр* и прочие. Обычно это делается при описании человека, его действий или внешности: *с добрым нахмуром*, *осклабом лица*, *выпук глаз*, *всосы щек*, *вспыхи бумаги*, *затрёпан в спехах*, *душевных растерзов*, *на лице розоватый обветр*... Особый смысл в жестах: *покуры*, *покивы*, *качанья носка*...

Каждый русский глагол получает два вида: несовершенный и совершенный. Всё, что действие, обязательно укладывается в эти два вида: завершено или длится. И чувствуем мы незаметно для себя, что чего-то нам не хватает... обделены такими словами. Потому что старая речь, в далёком прошлом, в них не нуждалась, да и виды глагольные не были ещё в той силе, что теперь. Сегодня они нужны.

Это уж наше дело, создать для потомков такие слова, но дело следует править умело и тонко. А то рассмеются потомки, встретив *разнос* при *подносе* или *побрив* при *бритье*!

Насколько важно значение суффикса в русском глагольном слове, можно судить по простым примерам. Мы говорим, например, об удовлетворении *потребностей*, то есть самых необходимых для жизни человека условий быта. Но как только потребности выходят за черту необходимости, они тут же становятся *потреблением*, то есть отчасти избыточным удовлетворением потребностей. Ещё выше степень безнравственного в *потребительстве*, поскольку в него автоматически включается всякий, кто по своей бездарности или лени ни на какое потребление прав не имеет. В чём разница между тремя словами? Слово *потребность* образовано по признаку *потребное* для жизнеобеспечения, слово *потребление* – по действию *потреблять*, а это уже дальше отстоит от сущностного признака, ввергает нас в сферу случайных и потому чрезмерных действий. Слово же *потребительство* вообще связано напрямую

с субъектом действия, с потребителем, и никакого отношения к существенности *потребного* не имеет.

Вот, казалось бы, пустяк: разные суффиксы при одном корне. Оказывается, нет. Существует, не прерываясь, также внутренняя связь с корнем, с основой, которая и образует каждое новое слово. Чем дальше оно от исходного корня через промежуточные суффиксы и другие слова, тем больше накапливается в нём дополнительных значений социального умысла, и в конце концов способно оно зарядиться такой убийственной силой, что именованному им явлению или лицу спасения нет.

Народность чистого глагольного корня – в его обнажённости и откровенности. *Настрой, набег, разбой...* Овеществление с суффиксом *-к-* – некоторое прикрытие уменьшительностью, уже являет нам желание отдалить результат от деяния, «спрятать концы».

Современные исследователи языка показывают, что в русской речи происходит бурный процесс «оглаголивания» имён по образцу образований с нулевой суффиксацией (*нагрев* вместо *нагревание* и другие многие) – и это закон языковой системы, отражающий живейшую потребность современного человека мыслить качество как действие или – действие как вещь.

Раскомплектовать

В 1948 году известная лингвистка Е. С. Истрина писала: «Вот, например, возник вопрос: как надо образовать слово – *разукомплектовать* или *раскомплектовать*? Слово новое, в словарях его нет; но явилась потребность в его образовании и употреблении для выражения соответствующего явления. Ответ должен быть: *раскомплектовать*, потому что есть слово *комплектовать*. «Комплектовать – набирать полное число...» (В. И. Даль), и оно может получить разные приставки для выражения разных значений, *укомплектовать* и *раскомплектовать*, как, например, в словах

утрясти и *растрясти*, *уложить* и *разложить*. И только в случаях, где образование с приставкой *у-* получило своё особое значение, оторвавшееся от бесприставочного слова, или в случаях, где бесприставочное слово вообще утрачено, неупотребительно, там приставка *рас-* присоединяется уже к приставочному слову: *уверить* – *разуверить*, *убедить* – *разубедить*, потому что *уверить* – оторвалось уже от *верить*, а *убедить* не расчленяется в нашем сознании на *у-бедить*».

Вот что сказано было тогда. Но посмотрим современные словари, которые составлены на основе новых текстов.

В многотомном академическом, который составлялся ещё при Истриной (1961 г.), нет слова *разукомплектовать*, но есть *раскомплектование*, *раскомплектовывать* и *раскомплектовать*. Никаких стилистических помет слова не имеют, но нет и примеров из каких-нибудь авторитетных источников; это примеры, придуманные самими авторами словаря: «раскомплектовать машину» – и все. Ни в словаре Ушакова, ни в первых изданиях словаря Ожегова нет ещё ни одного из этих слов – они слишком специальные, в литературный язык не попали. А вот в словаре Ожегова 1982 года издания вдруг находим: *разукомплектовать*, *разукомплектование* как слова специальной речи, но никакого *раскомплектовать* и в помине нет. Не пошло в обыденной речи то, что рекомендовал академик, и это при всём при том, что в 1973 году вышел академический словарь «Трудностей русского языка», в котором специально сказано: «Не следует вместо глагола *раскомплектовать* употреблять неправильный по образованию глагол *разукомплектовать*» – и именно тут приводится единственный пока что известный пример из печатного текста: газета «Известия» 3 февраля 1954 г. использовала форму «разукомплектовали».

Выходит, и сами лингвисты не знают, что правильно, а что – нет?

Нет, лингвисты, встретив «свежее» слово, пытаются его истолковать, исходя из фактов языка, из тенденций,

которые в нём действуют. Это и сделала Е. С. Истрина, дав своеобразный прогноз на будущее. Она, между прочим, указала и обе возможности развития слова в русской речи, но сама предпочла не вторую, какая теперь и проявилась, а первую, которая почему-то не состоялась.

Каждое отдельное слово не всегда поддаётся действиям отмеченных тенденций, потому что неожиданно может подвергнуться другим, не учтенным в прогнозе закономерностям. «Словарь трудностей» опирался на лексикографическую традицию, учитывал всё, что сказано в большом академическом словаре, «Словарь» Ожегова в его переработках – на языковую практику, на уже возникшие тексты, в которых отражается разговорная речь. Кто из них больше прав – покажет время. Сейчас же можно сказать только вот что.

Глагол с приставкой *раз-* образуется не от заимствованного глагола *комплектовать*, а от русского – *укомплектовать*; того же самого глагольного вида, что и *разукомплектовать*. Грамматическая характеристика слова почему-то оказывается очень важной при образовании нового слова, она важнее даже собственного значения глагола, потому что подчиняет себе вообще любой русский глагол: совершенный вид или вид несовершенный. Обязательно один из них! *У-комплектовать* – завершить комплектование; *раз-у-комплектовать* – закончить противоположный процесс, раскомплектовать. Движением слова в речи руководит не только лексика, т. е. значение, но и грамматика – слово. *Комплектовать* – глагол несовершенного вида, образуем от него форму *раскомплектовать*, и получится: различаются оба не по смыслу действия, а только по глагольному виду. Как *делать* и *сделать*, *бить* и *разбить*... А это нехорошо, ведь смысл глагола в том состоит, чтобы з а в е р ш и т ь комплектование или, напротив, з а к о н ч и т ь раскомплектование. В обоих случаях д о л ж е н б ы т ь глагол совершенного вида, и в этом всё дело; новая форма образуется не от заимствованного *комплектовать*, а от русского

укомплектовать, в силу вступает вторая возможность из учтенных Е. С. Истриной. Да и по логике вещей понятнее, ведь сначала *укомплектуют*, а потом уж и *разукомплектуют*.

Важны и стилистические ограничения, которые мешают тому, чтобы все мы, вместе, употребляя слово в обычной речи, «обработали» его до необходимой ясности. Тут важнее точно передать значение слова, чтобы потом не путаться и в самих операциях. Что такое раскомплектовать? Разрушить или устранить комплектность чего-то. А что такое разукомплектовать? — устранить укомплектованность того же самого «чего-то». Мысль движется в поисках средств для выражения последовательности операций, охватываемых общим действием. Нет равноценности между процессами комплектации или раскомплектации: разукомплектация должна быть показана как следствие или результат предшествующей укомплектации, следовательно, – как разукомплектация. Этого и требует специальный язык, из которого и приходит новое слово.

Таковы поправки, которые каждое слово получает по мере своего внедрения в живую ткань литературного русского языка. Если, конечно, оно туда войдёт.

Преумножить и приуменьшить

Помню, учителем в школе донимал я этими глаголами школьников пятого класса. Да и сейчас считаю, что нет удачней примеров для решения логических задач в языке. Язык ведь – логика обыденной мысли, никуда от этого не денешься. Многие ли изучали логику? А логически мыслить начинают с момента, как освоили первые образцы русского предложения.

Но слово словом, а в чём дело?

«И в “Толковом словаре” Даля, – пишет читатель мне, – и в четырёхтомном “Словаре русского языка”, и в многотомном ”Словаре русского литературного языка” совершенно однозначно объяснена разница между

значениями глаголов *пре*уменьшать и *при*уменьшать. *Преуменьшать* – представлять что-то меньшим, чем оно есть на самом деле; *приуменьшать* – делать что-то меньшим. Казалось бы, ясно до предела! Но вот существует ещё и новый "Справочник по орфографии для работников печати, радио и телевидения", составленный и изданный Московским государственным университетом, где всё объяснено совершенно иначе! *Преуменьшать* – уменьшать сильно, *приуменьшать* – уменьшать слегка. Как можно одновременно верить двум различным толкованиям?» Верить можно, если они дополняют друг друга, как здесь.

Но сначала небольшая справка, которая покажет, что история слов и тут оказалась связанной с развитием человеческого познания.

Верно, в словаре Даля ещё нет этих слов, поминается только «преуменьшить» – в точном соответствии с тем, что и было на Руси с древнейших времён. «Преумножить» – сильно, весьма умножить. Важно было обозначить сильное, невероятное, переходящее грань постепенного увеличения действия. Приставка *пре-* (а не русская *пере-*) указывает на книжное происхождение слова, которое в давности обозначало '*преуменьшить* – представить в меньших размерах, чем на самом деле', тогда как *приуменьшить* – просто немного уменьшить, причём необязательно в действии, но и в представлении действия также. *При-* и в народном, и в книжном языке звучало одинаково и значило одно и то же. Стилистической разницы тут не образовалось. То же относится и к глаголам *преувеличить* и *приувеличить* – такое же различение факта и понятия об этом факте.

В XVIII веке развитие точных наук привело к необходимости точно обозначить разные степени увеличения или уменьшения качества, свойства или действия. Кроме приставки *пре-* стали пользоваться ещё и общей для книжного и разговорного языка приставкой *при-*, которая по своему смыслу обозначает добавление степени действия. *Прибавить.* Наряду с *преумножить*

появилось и слово *приумножить*, а вслед за ними также и *преуменьшить*, т. е. представлять меньшим по сравнению с действительностью, и *приуменьшить*, т. е. уменьшать несколько, в какой-то мере. Что эта последняя пара слов возникла недавно, показывает и колебание в ударении, ещё не устоявшемся в устной речи: совсем недавно говорили *преуменьши́ть*, а мы предпочитаем другое ударение – *преуме́ньшить*.

Это старое противопоставление самого маленького (*при-*) к самому большому (*пре-* в высоком стиле и *пере-* в разговорной речи). Действительно, одно дело *приделать* что-то, другое – *переделать* или («в новых реалиях») *пристройка* и *перестройка*. Первое – результат действия, происходившего в некоем пространстве, размещённое в этом пространстве место, второе – само действие, растянутое во времени. Необходимость разграничить пространственно-временные границы всякого действия – исключительная особенность русской мысли сегодня – не была учтена в старинных выражениях (в древности такие границы воспринимались синкретично слитно), вот и приходится языку изловчиться. Но в приведённых примерах нет никакой сложности, они закономерны и понятны. Никто ведь не напишет *престройка* или как-нибудь ещё.

Многие пеняют на сложности русского языка, не всегда ясные его тонкости. Такие тонкости, как в данном случае, обычно связаны с книжной речью, встречаются в письменном тексте, своим происхождением связаны с искусственным языком. Вот и это противопоставление глаголов с разными приставками отражает современный уровень нашего сознания, для которого реальный факт и представление о нём – несовпадающие понятия. Человек должен бы разграничивать уровни бытия и в речи своей, в термине, в слове. В простом бытовом разговоре такое различие используется, потому что всегда и в контексте ясно, о чём речь: о факте или о том, «что говорят». Да это и трудно было бы сделать, поскольку в речи мы смешиваем безударные

гласные *и* и *е*, так что оба слова в произношении сливаются в привычном русскому слуху «приуменьшать», «приумножать». Вот в чём и состоит действительная единственная причина всех сложностей употребления этих глаголов на письме. Смысл самих слов соотнесён непосредственно с письмом, минуя звучание, обходя устную речь и не распространяясь на простой разговор.

А удачность таких примеров как образцов для изучения школьной грамматики заключается в их трудности: как правильно написать? – Да только поняв само слово! Как правильно слово понять? – Да только вникнув в историю его и в смысл составных частей! А как, наконец, в них вникнуть? – Читать и думать...

Делать

Среди русских слов глаголы – вообще уникальное явление. С древности повелось так, что переходный глагол, раз попав в какую-нибудь формулу речи, становился образцом для сотворения всё новых и новых выражений. В известном смысле это книжный способ обогащения выразительных средств языка. Старинные заимствования (переводы) с греческого языка снабдили нас подобными формулами во множестве. В греческом – один глагол, а славянский переводчик передавал его сочетанием с именем: *сотворити скорбь*, *дати совет*, *исполнити дело*, *нанести удар*, *положити предел*, *преступити закон*, *держати место* и многие иные, которыми мы с успехом пользуемся до сих пор.

Совмещение глагола действия с именем, распространяющим и уточняющим смысл всего выражения, само по себе не просто отражает взаимоотношение частей и свойств окружающего нас мира. Оно становится всеобщей и очень гибкой моделью, образцом умственного действия для всех, кто говорит на этом языке. Оно не просто хранит сведения о прошлом в виде различных типов сочетаний, старых и новых, удачных

и скромных по своим возможностям. Все примеры старых конструкций, которые мы встретим в этом рассказе, для XVI века и были ведь всего лишь остатками прежней, очень древней системы. В языке XVI века управление было уже вполне развитой, хотя и не столь богатой, как теперь, синтаксической связью. Но она постоянно, от поколения к поколению, обогащалась всё новыми оттенками.

Особенно бурно новые сочетания слов возникали в XVIII веке. Самые неожиданные, самые удивительные. Похоже на то, что многовековые запреты сняли с языка, открыли плотину, и на страницы и листы ринулись из разговорной речи потоки словосочетаний.

В известной мере так и было, плотину действительно открыли. Долгое время существовали запреты на новые мысли, на новое дело, на новые фразы. Церковнославянский язык, считавшийся литературным, задерживал развитие русского языка. Преобразование Руси в Россию потребовало и нового языка. Некоторые слова стали вступать в сочетания с сотнями, тысячами других слов, разного происхождения, разного стиля, разного значения. Например, глагол *делать*, до того устойчивый и простой, вдруг вызвал к жизни не менее трёхсот сочетаний. Многих из них мы и слыхом не слыхали, жили они недолго и теперь ушли из языка: *делать суд*, *делать впечатление* – проще ведь сказать *судить* и *впечатлять*. *Делать диктант* или *делать задачи* – тоже не точно, лучше сказать *писать диктант* и *решать задачи*. На том и сошлись, но уже в XX веке.

А вот *делать вид* или *делать замечание* – иначе и не скажешь; такие сочетания сохранились, обогатив наш язык. *Делать честь* или *делать хорошую мину при плохой игре* – тоже остались, став идиомами. Так из трёхсот, перебрав их одно за другим в опыте речи, язык и оставил не более двадцати сочетаний. Бурное море вошло в берега, но тем временем все возможности сочетания глагола *делать* были раз и навсегда испробованы, всё проверено, и теперь не вернутся в отточенный наш литературный язык, чтобы ещё раз

п о п р о б о в а т ь. Разве что решится поэт на смелое новшество и скажет: «*...решающему делать жизнь с кого...*» *Делать жизнь*, как и *делать деньги*, *делать дело*, – всё это уже было. И осталось в запасах языковой памяти.

Мы сами частенько пользуемся этой особенностью нашей речи, поскольку язык допускает лёгкое самовольство в таких уточнениях мысли. Однако при этом возможны нарушения стилистической точности выражения, если сочетаются стилистически разные слова. «Слово *произвёл* вводит меня в содрогание, – пишет пожилая женщина. – Это бюрократизм, в нашей речи их быть не должно». *Произвёл работы... произвёл посадку...* та же формула, но звучит не по-русски. Действительно, это заимствование из французского. У Пушкина «произвёл впечатление», а отсюда множество столь же неопределённых, отвлечённых, туманных *произвёл – сенсацию*, *фурор* и прочее, обязательно в сочетании с заимствованными словами. В нашем употреблении этот глагол – вульгарная копия с глагола *сделал*, он используется как вспомогательный отвлечённого значения в сочетаниях типа «*произвёл ремонт*, *раскопки*, *посадки...*» Это действительно бюрократизм, равноценный с такими порождениями канцелярии, как *предпринял...*

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

ЭТИКА РУССКОГО ГЛАГОЛА

Стать и встать

Встать – подняться с места, становясь на ноги, вообще это слово обозначает устремление вверх, потому что и приставка *в-* имеет это значение. Можно *встать* на защиту природы или *встать* перед женщиной или стариком в трамвае, на рабочее место лучше *стать*. Дело в том, что *стать* уже в древности значило не только 'подняться на ноги', но и 'приступить к делу' (или, наоборот, прекратить его), расположиться для работы или просто изменить состояние, в котором находишься. Поэтому правильно *стать к станку*, *стать на учёт*, *стать на вахту*, *стать рядом*; точно так же и *река стала* (а не *встала*), *стал* (а не *встал*) какой-то *вопрос* и т. д.

В конце XIX века ещё редко смешивали употребление этих двух слов, настолько очевидным казалось их различие. Но уже словарь Ушакова (1935) советует их не смешивать (*стали рядом*, а не *встали рядом*); значит, уже в то время они казались чем-то похожими друг на друга? Чем же?

Только значением корня. Если забыть о приставке, оба глагола действительно совпадают по смыслу, а современный человек значение слова связывает с корнем его. И это способствовало смешению двух слов в сознании многих людей. «Я становлюсь на колени» (Ф. Достоевский) – так употреблялось это слово в XIX веке. «Я встаю на колени» (Ф. Гладков) – новое, современное употребление этих слов. «Встаю», хотя на самом деле «опускаюсь», – полное забвение исконного значения и старой нормы. «Станьте в оче-

редь», а не «встаньте»: *встают* ведь из сидячего или лежачего положения, *стать* же можно и просто подойдя к очереди.

Ещё одна особенность в развитии современной мысли способствует совпадению слов. Глагол *встать* отражает конкретное физическое действие, тогда как *стать* по смыслу близко к отвлечённым значениям слова *становиться*, т. е. 'делаться, возникать'. Необходимость разграничить конкретное и абстрактное действие привела к противопоставлению слов по новому признаку, и особенно активно в разговорной речи. «Стал на рабочее место» можно понять и отвлечённо, как 'приступил к работе', «встал на рабочее место» – в конкретном и образном смысле, 'заступил на пост', решительно и бесповоротно стал что-то делать; *стал* – несколько пассивно, *встал* – активно, поэтому последнее и употребляется чаще всего. Примерно так сегодня каждый из нас и понимает различие между *стать* и *встать*.

Писатель А. Югов разбирал известное место из повести Пушкина: «Лошади стали». «Так в литературном языке, а для ямщика это слишком общо, расплывчато. Отчего они стали: дёрнул сразу, но не взяли – осеклись; дёрнули, но затоптались – замялись, если хомут душит – затянулись, если от долгого и быстрого бега – задохлись». В те поры, когда столь важными казались подобные частности, различие между *встать* и *стать* осознавалось резко; но со временем, когда соединились все эти конкретности в отвлечённом *стали*, неожиданно маловажным показалось и различие между *стали* и *встали*. Не говорим – *взойти*, не будем говорить и *встали*! Такое вот рассуждение...

Однако живы ещё в сознании и прежние значения слов, согласно которым *стать* – 'остановиться' (*машина стала*), а *встать* – 'подняться' (*встал с постели*). Происходит смешение смыслов, старых и новых, возникает множество переходных случаев, которые закрепляются в устойчивых оборотах речи и, уже как авторитетный пример, разрушают старые нормы.

Сегодня толковые словари не возражают против замены глагола *стать* глаголом *встать*, хотя в официальных документах и в литературном языке смешение их недопустимо. И особенно в традиционных сочетаниях лучше сохранять старые слова: *стать на вахту, стать на рабочее место.*

Одеть или надеть

«Давай глядеть: *кого* одеть и *что* надеть?» (Новелла Матвеева).

В этой поэтической строке ответ: кого-то – *одевают*, на себя же – *надевают*. Надевают шляпу – одевают ребенка. Глаголы эти, да ещё и двух глагольных видов (*одеть* и *одевать*, *надеть* и *надевать*), – общего корня и обозначают одно и то же, но грамматические правила их употребления всегда были разными. Однако всё смешалось, как только утратилась древняя связь приставки со свойственным только ей предлогом: *на-деть* на голову, *на-деть* на что-то, но – *о-деть о-дежду, о-деть* во что-то... Возник соблазн свести всё дело к одному лишь *одеть*, как самой простой форме: попытки этого в разговорном русском языке известны уже с начала XIX века, в языке литературы – с XX века. В ремарках Чехова к пьесе «Три сестры» «Маша, напевая, одевает шляпу», а чуть позже: «Маша снимает шляпу». *Одеть* и *снять*. После 1917 года дело зашло так далеко, что уже в 1925 году «Журналист» вынужден был признать: «Совершенно исчезло из употребления слово *надевать*. Во всех случаях жизни его заменило *одевать*».

Неудивительно, что и составители справочников колебались. С 1889 по 1912 год было высказано множество пожеланий избавиться от упрощённой устной речи, не обобщать *одеть* как единственную форму глагола. Особенно северяне (в Петербурге и в Москве) стали охотно смешивать оба глагола в употреблении; южане их различали.

С 50-х годов двадцатого столетия снова проявилось стремление различать эти глаголы, появились люди, дорожившие смыслом оттенков. Но разговорная речь тем временем делала своё. *Одеть* да *одеть*... Как бы отчаявшись в том, что удастся отстоять различение, новейший справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» в 1973 году впервые разрешает употреблять в разговорной речи оба глагола безразлично: *одеть* или *надеть* – и на́ себя, и на кого-то другого, сверху (шляпу на голову, очки на нос) и «вокруг себя» (одеть на себя одежду).

Слово *одеть* связано и со словом *одежда*, а *надеть* – нет. Наконец, только глагол *одеть* выступает в переносных значениях, обогащённых метафорами, а *надеть* – никогда: *небо оделось звёздами, зима одела поля снегом*... Есть и другие причины, которыми можно было бы оправдать, почему слово *одеть*, несмотря на все запреты, постепенно вытесняет слово *надеть*. Некоторые языковеды полагают, что *одеть* в конце концов станет и общей нормой, однако сегодня ещё обязательно следует помнить, что *надеть* можно что-то (неодушевлённое), а *одеть* кого-то (лицо одушевлённое). Всё-таки русская речь желает ещё различать «кого» от «что», хотя «категория одушевлённости» в наше время стала уже грамматической, проявляет себя в склонении (*вижу стол – вижу отца*) или в синтаксисе. Разница между ними, сохранённая формой глагола, – редкость, но редкость важная. Должны же быть в языке идиомы!

Положить или класть

Употребление глагола *ложить* вместо *класть* считается грубейшей ошибкой литературной речи, однако *ло́жить, ложи́* широко употребляются в разговорном просторечии. В чём же дело?

Случилось так, что некоторые глаголы образовали противопоставление по совершенному виду не с помо-

щью приставок (как *делать* – *сделать*), а самостоятельными словами: *брать* – *взять*, *говорить* – *сказать*, *класть* – *положить*. Уже В. И. Даль отмечал, что *ложить* без приставки не употребляется, корень обязательно должен сопровождаться либо приставкой (*заложить*, *предложить*, *положить* и др.), либо возвратной частицей (*ложиться*); наоборот, *класть* с приставкой никогда не употребляется. *Класть* – несовершенного вида, *положить* – совершенного, и оба значат 'поместить в лежачем положении на какой-то поверхности'. Так в современных словарях. Однако значение древних корней иное: *укладывать* (*клад*, *уклад* и *кладка*) – нечто прочное, глубинное, коренное, а *положить* действительно можно и на поверхности. Общим значением обоих слов как будто признаётся значение второго глагола. И не в этом ли секрет особого пристрастия к *ложить* сегодня?

Однако ясно, что правильно – *положить книгу на стол*. Добавим, что имена, образованные от этих глагольных основ, ведут себя прямо противоположным образом: могут быть *склад*, *приклад*, *заклад* и прочее, что кладётся, тогда как приставочные от *ложить* осознаются как самостоятельные слова с особым корнем: *перелог*, *предлог*, *залог*. Это значит, что основным глаголом для выражения данной мысли является всё-таки *класть*, а не *ложить*.

Положить – приставочный глагол, а такие глаголы теперь воспринимаются как глаголы совершенного вида, от которых очень просто убрать приставку. Именно такое движение мысли мы и наблюдаем в просторечии: не только положить – ложить, но и класть – покласть, явное преимущество которых в том, что у каждой пары один общий корень. Это удобно, а в разговорной речи удобство – первое дело. «Просьба пищевые отходы *ложить* в ведро» может означать, что складывать отходы будут долго, постепенно и притом разные люди.

Своё значение имеет и ударение слова. *Ложи́ть* – форма более приемлемая, чем вульгарное *ло́жить*; ведь

таково же ударение и в исходной литературной форме *положи́ть*.

Это тенденция в развитии живого русского языка, но никак не его литературная норма. Последняя всегда отстаёт от жизни на три-четыре поколения, а о необходимости признать слово *ложить* «правильным» говорят пока не более полувека. Сразу же после Октябрьской революции его хотели ввести в качестве возможного литературного варианта, ссылаясь, между прочим, на язык поэзии. У Маяковского: «Нежные! Вы любовь на скрипки ло́жите, любовь на литавры ло́жит грубый», – но у поэта это яростная антимещанская гипербола. С каким поэтическим заданием употребляют иногда эту форму современные поэты – неясно. Писатель А. Югов выступал в защиту слова *ложить*, ссылаясь на авторитет лингвистов. Однако лингвист может лишь объяснить тенденцию; узаконить новую форму он не вправе. Вдобавок лингвистическим авторитетом для А. Югова служит третье издание словаря Даля – его подготовил известный языковед И. А. Бодуэн де Куртене в начале XX века. На самом деле это издание не является авторитетным, у нас оно не переиздаётся. Да словарь Даля и вообще не диктует нормы, это толковый словарь живого разговорного языка.

Сюда же, наконец, отнесём и ответ на частый вопрос: как произносить повелительную форму глагола? Не *ложи*, не *едь* и не *ляжь*? Об этом много сказано и написано, не хочется повторяться. В одном «этом *ляжь* отпечаток такой тёмной среды, что человек, претендующий на причастность к культуре, сразу обнаружит своё самозванство, едва только произнесёт это слово», – так оценил его К. Чуковский. За прошедшие годы ничего не изменилось, лучше забыть о том, что такие формы встречаются. Пусть даже поэты и пользуются ими в экстазе – им иной раз для стихотворного размера нужно; и не то бывает...

Можно ли сказанное признать за абсолютный закон, мешающий нам использовать форму *ложить*? Абсо-

лютных законов в языке нет. Вполне возможна ситуация, когда эта форма станет литературной, то есть нормативной. В Сибири и на Дальнем Востоке только так и говорят, а когда требуешь объяснений, выкладывают: «Я с детства пользуюсь только словом *ложить*, а *класть* считается неприличным, оно ассоциируется с парой *наклал кал*». Вот поди ж ты! И требования благозвучия играют роль в распространении формы. И как не уважить? Ведь красота выражения – тоже свойство культурной речи.

Занимать и одолжить

Вот разговор, свидетелем или даже участником которого может стать каждый из нас:

«Займи денег». – «У кого?» – «А у кого я прошу? Займёшь мне?» – «Почему я должен занимать – тебе? Займу, так себе!» –«А что, у тебя нет?» – «Да есть». – «Так займи!» – «Зачем, когда у меня есть?!» – «Ай, да ну тебя. Пойду попрошу у других, может, кто и одолжит...» – «Одолжить и я могу». – «Так одолжи!» – «Так бы и говорил». – «А я как говорил?»

Слово *взаймы* содержит в себе значение взаимообразности, поэтому можно сказать и «взять взаймы», и «дать взаймы» – в первом случае необходимо вернуть, во втором – востребовать. Есть ещё и вариант *взаём*, просторечный и устаревший, в деловых переговорах его лучше избегать. Но также вполне допустимы и другие описательные обороты: «дать в долг» и «взять в долг». Взаймы давали или просили, в долг давали и брали; примеров множество в художественной и мемуарной литературе. Однако слово *взаймы* в этом случае стали употреблять раньше, а затем и слово *долг* вошло в описательные обороты, появилось внутреннее противоречие между тем, что дают (*одалживают*, т. е. ставят в положение должника), и тем, что занимают, т. е. *берут*. Ещё раньше, скажем в XVII веке, можно было сказать только так: «я у тебя займу».

Однако как только от наречия мы переходим к глаголу с тем же значением, сразу же совершается типичная ошибка: *занимать* – всегда значило и значит только 'взять в долг', потому что исторически корень у слов *взять, занимать, взаймы* один и тот же и одного общего значения. Можно ли давать в долг, беря в долг?

«Дать в долг» – одолжить кому-то во временное пользование. Нельзя употребить глагол *одолжить* в значении 'брать в долг', хотя и такую ошибку допускают. В некоторых современных романах, в том числе и у хороших писателей, в речи героев это случается частенько, да и классическая литература может представить большой список примеров. Например, в «Мёртвых душах» Гоголя это происходит неоднократно, в том числе и в обратном смысле («и всё оттого, что не занимаю им денег» – вместо «не одалживаю»). Таково просторечное и разговорное смешение двух важных слов, которому много лет и с которым трудно бороться, поскольку оно весьма устойчиво; никакие запреты, следовавшие во многих руководствах в последние сто пятьдесят лет, ничего не дали, так что и В. Даль в своём «Толковом словаре живого великорусского языка» к подобному смешению значений относился терпимо. В. Долопчев в 1909 году, приводя возможные нарушения речи, уже осуждал: «*Занять, занимать* – дать взаймы, одолжить, ссужать. *Займи книгу. Напрасно занимаешь ему* – неверные фразы; также и *одолжить* – взять на время у кого-нибудь – не совсем хороший оборот». Тем не менее слова *взаймы, займи, занимать* стали распространяться, постепенно заменяя все другие возможные варианты.

Всё дело в том, что *заём* – дело обоюдное, взаимные отношения здесь как бы дублируются прямо противоположным образом, и потому использование разных глаголов для передачи одной и той же мысли кажется излишним. Разговорная речь вообще экономна, старается избегать дублирующих средств выражения, за которые она принимает и *занимать–одолжить*. Однако

литературная норма всё ещё их различает, и если в значении 'взять в долг' оба глагола как будто совпадают, всё-таки *одолжить* в этом случае – форма разговорная. Точность же литературного языка не допускает смешений в обозначении операций: *занимать* и *одолжить* относятся друг к другу по принципу противопоставления (брать у кого-то и давать кому-то).

«Сейчас выходите?»

«Вы сейчас выходите?» И в ответ: «*Сейчас* трамвай идёт!»

Знакомая ситуация, когда и возразить-то нечего. Действительно, идёт. А подъезжаешь к остановке, водитель говорит: «Следующая такая-то». Со следующей всё ясно, а вот с е й ч а с – какая?..

Старое русское слово *сейчас* буквально значит 'тотчас, сей момент', т. е. ближайший по времени, который ещё длится или вот-вот наступит. В словаре современного литературного языка *сейчас* – и 'теперь' (*сейчас занят*), и 'очень скоро' (*сейчас приду*), и 'только что' (*сейчас ушел*), и 'сразу' (*сейчас видно, каков!*). Все оттенки прошедшего, настоящего, будущего и желательного времени связаны с этим словом; в частности, для пассажира оно обозначает ближайшее событие – выход из трамвая или автобуса. Сказать о ближайшей остановке *сейчас* ещё и во время движения вполне правильно, ведь рядом употреблена и соответствующая форма глагола, которая уточняет значение слова. *Сейчас* – значит сразу, как только станет возможным выйти.

Следующая остановка идёт с л е д о м за этой, она может быть и сейчас, и потом, но обязательно ближайшею за другой; *сейчас* и *следующая* – две соседние точки времени-пространства, объединённые общностью события, они относительны друг другу в движении мысли. Однако важно помнить, что слово *следующий* также многозначно; его употребление зависит от пози-

ции говорящего. Водитель называет следующей остановку, которая наступит после этой, тогда как для пассажира *сейчас* растягивается от остановки до остановки. Сами слова *сейчас* и *следующий* конкретны и относительны и потому всегда связаны с данным моментом, с поворотом события. Чтобы верно оценить сказанное и правильно на него отозваться, нужно стать на точку зрения говорящего.

Выходят из чего-то, в данном случае – из трамвая. Предлогом определяется и выбор глагола: *из* вагона, *из* автобуса, *из* электрички *выходят*, а *с* поезда, *с парохода, с* лестницы, *с* площадки *сходят*. Поскольку *в* самолёт взошли, а *в* вагон вошли, с них *сходят*. Да и надпись над дверью *выход* рекомендует выходить, а не сходить.

Однако вмешивается в дело многозначность приставки *с-*; *сойти* – не только спуститься вниз, но и вообще 'уйти с места, освободив его; удалиться'. Когда пассажир, стоящий за вами, спрашивает: «Сходите сейчас?» – он, может быть, деликатно просит вас посторониться.

Сходить в отличие от *выйти* имеет и ещё одно значение: 'прекратить движение, достигнув цели'. Если вы приехали, почему бы вам и не с о й т и, хотя для этого действительно и следует в ы й т и?

Всё будто верно, однако должна же быть и причина, почему все мы, даже зная, что *выходите* правильно, иногда нет-нет да и скажем: *сходите?*

Сохраняется всё-таки внутренний образ слова, связанный с действием. «*Сходить* – идти сверху вниз, спуститься, слезть», – так говорят нам со времён Даля. Прежде легко было, всё понятно: если взойдёшь, то и сойдёшь, а коли войдёшь, то и выйдешь. Так и толковали беспонятным писателям: «Пишут нынче *взойти в дверь* и *войти на лестницу*. Предлог *во* означает вмещение, а потому, так как входя в дверь, я в нее вмещаюсь, то и должно писать: *войти в дверь*. А предлог *воз* означает возвышение, то должно писать: *взойти на лестницу*; ибо это именно *воз-ходить*, вперёд

и выше», – говорит критик журнала «Москвитянин» в 1853 году. Войдите же в наше положение, нет у нас *взойти*, но осталось *сходить*, и при этом *войти* и *выйти* также остались. А тут подножка, та же лестница, на которую по русскому обычаю требуется в о с х о д и т ь. Ясно, что после всего захочется ведь и с о й т и... не *слезть* же? «На следующей не слезаете?» Нет, не слезаем!

Стоило исчезнуть одной из форм, высокой и книжной, и вот без нее мы тоскуем, ищем замены, путаемся в определениях, огорчаем друг друга, сердимся. А скажешь словно бы в шутку: «Не взойдёте сейчас?» – перед остановившимся автобусом, смотрят как на помешанного... Лучше *лезьте*, это понятнее. А жаль. У всех русских классиков, если писали они о лестницах, – *взойти*, а не *залезть*. Лезут на четвереньках...

Есть люди упрямые, не без того. «Ни Успенский, ни Чуковский не будут меня учить языку, – говорил Варлам Шаламов. – Нужно говорить именно *схожу*, а не *выхожу*, ибо в автобусах, трамваях и в троллейбусах выход устроен таким образом, что человек делает последнее движение ногой вниз, ступени вниз, сходит вниз по трём ступеням». Справедливая мысль, лишний раз подчеркивающая важность для нашей ментальности ориентировок в пространстве. Одновременно наружу и вниз – синкретично и слитно, а слова такого нет. Вот и путаемся: *схожу*, *выхожу*... Получается, как с известной надписью в автобусе, о которой также немало написано: «*Осторожно, вовнутрь открывается*». Наречие *внутрь* уже само по себе значит *в нутро*, *в середину*, и добавлять вторую приставку не нужно. Но ведь это не только *внутрь*, дверцы автобуса (последуем логике Шаламова) захлопываются извне на нас, на пассажиров, сдвоенным ударом перекрывая выход. Может быть, и верно: *вовнутрь*?

Всё это может показаться тонкостью, однако и русский язык – очень тонкий инструмент. С его помощью даже в вагоне трамвая можно выразить и своё отно-

шение к действию и к человеку, и себя показать, кто ты таков. Кажется мне, что подобные тонкости чувствует каждый – иначе и не было бы никаких вопросов.

А чтобы сказать правильно, никого не обидев, лучше всего войти в положение собеседника и взглянуть на дело его глазами. Но только без «лезь!»

«Курить запрещается!»

Есть ли разница между словами *воспрещается* и *запрещается*? В трамвае написано: «Воспрещается разговаривать с водителем во время движения», а в парке: «Строго запрещается выводить собак». А вот художественный текст: «*Воспрещается, вменяется в обязанность* – вот выражения, с которыми он совершенно неожиданно вынужден был познакомиться» (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Какое слово правильнее, или, может быть, иначе поставить вопрос: какое удобнее, лучше? Разница между *запрещается* и *воспрещается* проста: первое – обычное, в том числе и разговорное, слово и значит 'не позволяется, не допускается' (строгий приказ), а *воспрещается* – высокое слово официального языка и имеет дополнительный оттенок – 'не принято, не рекомендуется, не советуют' поступать таким-то образом. В известном смысле это вежливее по отношению к тому, кто читает объявление: не приказ, а пожелание, но пожелание настойчивое, основанное на власти или на праве. Разговорное слово резче, чем книжное, передаёт смысл корня: именно поэтому официальная вежливость всегда опирается на книжный стиль. Ясно, что рвать цветы и ходить по газонам (и особенно собакам) запрещается, а вот шуметь или курить в помещениях воспрещается (*просят не курить, просят не шуметь* – ещё более деликатное обращение для непонятливых или беспечных в отношении к русскому языку).

Возможны и разные объявления как будто бы в сходных ситуациях. *Вход запрещён* и *вход воспрещён*: в первом случае категорический запрет без объяснения причин, во втором – просят не заходить, потому что люди работают. В русском языке есть имя существительное *запрет, запрещение*, но неизвестно существительное «воспрет», а *воспрещение* – такое же книжное от *воспрещать*; сегодня это также повышает «вежливость» книжной формы, поскольку значение глагола не поддерживается категоричностью понятия о запрете. Да и употребление безличной формы глагола повышает степень вежливости (*вход воспрещается*, а не *вход запрещаю!*). Без приставок же ни эти глаголы, ни образованные от них имена вообще не употребляются. Попробуйте сказать: «прещается» – ничего не получится.

В восприятии разных вариантов, в отношении к ним оказывается важным всё: и сочетание с другими словами, и выбор глагола с противоположным значением. «Я *положительно воспрещаю* их когда-либо перепечатывать», – пишет М. Е. Салтыков-Щедрин о своих рукописях, сам выделяя нужное нам выражение. Положительно, т. е. решительно, но всё же не столь категорически. В те же годы (по воспоминаниям А. Скабичевского) «курение в университете строго запрещено», строго, т. е. категорически. С этим наречием слово *запрещено* употребляется и до сих пор. *Воспрещается* решительно, *запрещается* категорически. *Положительно запрещается* теперь не скажешь.

Однако в XIX веке поначалу именно *воспрещение* связано было с категоричностью закона, тогда как *запрет* (и разговорное *запрещать*) скорее встречалось при выражении личного пожелания.

В 1857 году В. Бенедиктов написал известное стихотворное послание «Вход воспрещается», в котором это выражение сопровождается многими синонимами: «Нету свободного пути!», «Впуска нет!», «Нельзя», «Для вас тут места нет» и др. как равноценными слову «воспрещается». А вот свидетельство мемуариста

1870-х годов. Вместе с приглашением в театр «была разослана повестка с *запрещением* аплодировать. Публика приняла это за *воспрещение* всякого изъявления чувства и холодно молчала – к удивлению актёров». Запрещение понимается ещё как простое пожелание, рекомендация, совет, но так как возможно было смешение двух слов, похожих по корню, то публика истолковала это иначе – как воспрещение.

В 1880-е годы о том же писал и Н. Шелгунов: «*Никому не запрещено* не то же самое, что *закон не воспрещает*». Из дневника А. Суворина за 1897 год: «Сначала запрещено было печатать о студенческих беспорядках, а потом дозволено», – это слова самого издателя; ему отвечает министр: «Писать позволено, но никому не позволено печатать прокламаций, направленных против правительства». Разная точка зрения. *Запрещено* и – *дозволено*, но *позволено* – мягче, ему соответствует слово *воспрещено*. Раздражённый издатель говорит, что «дозволено», министр поправляет: «позволено».

Были в XIX веке и свои предпочтения: чаще встречалось слово *воспретить*. Сегодня чаще употребляют *запрещено*.

Внимательный наблюдатель русской речи конца XIX века, писавший под буквами АБ, заметил тот самый момент, когда перешли на слово *запретить*: в 1889 году. «*Запрещение* и *воспретить*. Когда надо употребить имя существительное – ставят *запрещение*; когда же требуется соответственный ему глагол – является почему-то *воспретить*, а от него – *воспрещено*». Незаметно происходило выравнивание: *запрещено* и *запрещение*.

Сегодня в стилистической своей окраске глаголы как бы поменялись местами. Все так пригляделись к *запрещено*, что и связанное с твёрдостью закона *воспретить* кажется мягким и вежливым. *Воспрещается* содержит в себе как бы постоянно возникающую, бесконечную в своих повторениях просьбу – не беспокоить, не тревожить, не отрывать от дела.

«Гасите свет!»

Потушить свет или *затушить свет*? Смысл как будто тот же самый, что и в выражении *гасить свет*. Новая загадка. Разберемся вместе.

В древности свет и огонь воспринимались как нечто единое – свет без огня не бывает. Огонь же можно *потушить*, т. е. в старинном смысле буквально 'успокоить'. Затем появились другие источники света – свеча, лампа, в которых огонь можно было и успокоить, и просто убрать, т. е. *погасить* (буквально, в исходном смысле, 'подавить силой'). Старый смысл этих глаголов образно оживает и сегодня, например в выражениях *тушить овощи* или *гасить известь*. *Вулкан потух* – успокоился, *домна погасла* – её остановили.

Внутренний смысл глаголов всё-таки осознавался, их различали. Источник света, прерывая его действие, предпочитали *гасить*, а огонь – *тушить*. До сих пор пожар просто *тушат*, тогда как свечу – *гасят* (здесь и свет, и огонь одинаково важны). Всё, что *зажигают*, – следует *погасить*. В XIX веке зажигали огонь, фонари, лампы, камины и другое, не очень, правда, многое, включая сюда и лучину, но при этом всегда имели в виду огонь. Огонь гасили. В переносном смысле *гасят* задолженность, просвещение, даже почтовую марку (штемпелем) – то, что в столь же переносном смысле «горит». У Пушкина «огни погасли», «погасить лампаду», но и переносно, об утратившем внутренний огонь: «погасли юные желанья», «любовь погасла навсегда», «огонь поэзии погас».

Однако в разговорной речи уже тогда всё чаще смешивали эти два глагола, ведь смысловое различие между ними забывалось. В дневнике молодой Е. А. Штакеншнейдер, дочери известного архитектора XIX века, часто встречаем разговорные: *потушили лампы*, *потух огонь* и даже «тот свет, который сиял мне в нём и освещал его душу и согревал мою, потух». И освещал, и согревал, но всё же *потух*, не *погас*. Что свет, что огонь – всё равно: только *потух*, *потушить*.

Некоторые словари подхватили это совпадение слов в разговорной речи; в толковом словаре Ушакова основное значение слова *гасить* объяснено так: 'тушить огонь'. На долгое время *гасить свет* и *тушить свет* стали синонимами. Разговорная речь проникла в литературный язык.

Когда появились газ и электрический свет, на них распространились оба слова: *гасить газ* или *тушить газ*. Однако со временем стали *выключать газ* (также и *ток*), а потом и *электричество*. Электросвет – свет без огня, чистый свет, так что его лучше всего *погасить*, если речь идёт об источнике света, или *выключить*, если говорится о самом электротоке; он ведь не всегда употребляется только для освещения. *Выключить* – прервать действие системы, прекратить подачу тока. Выражение совсем не поэтичное, далеко ему до старых *погасить* или *потушить*, но ведь оно и возникло исключительно для точности выражения мысли. Этой точности пытались добиться и другими путями, да не пошло дело. До того, как стали *включать-выключать*, нашли и другое выражение. В сочинениях В. Вересаева о быте начала века обычно *пустить свет* – а потом *убрать свет*. *Пустить* и *убрать* по образной форме глаголов близки ещё к старым *зажечь* да *погасить*, но всё-таки и значение 'выключить' тут налицо.

Обычными для современного употребления являются противопоставления *зажечь – погасить* и *включить – выключить*; подобные сопоставления можно встретить в одном и том же тексте, вот как в недавнем переводе современного детективного романа:

«– И всё-таки я могу включить свет? – спросил Киров.

– Зажги. Я впишу в протокол, что свет был погашен».

Так говорят люди разного возраста, с различным отношением к точности или к красоте слова.

А теперь взглянем на дело с другой стороны, широко, без красот.

Смотрите: *зажечь – пустить – включить... потушить – погасить – убрать – выключить...* Каждый раз язык отмечает образным словом только одну какую-то сторону дела, и притом всегда говорит не об источнике света или тепла; наше внимание как бы перемещается с одного признака на другой, и мысль в расхожем слове отмечает что-то одно, особенно важное в данный момент: *зажечь – погасить... пустить – убрать.* Создаётся, накапливаясь в словах, образный ряд с переносным значением слов, использованных не по назначению. Метафора делает речь нашу красочной, но при этом слишком дробит в сознании сущность самого явления. Оттенки, образы, переносы по сходству. *Ёлка потухла...* Красиво, но ведь неточно, неправильно? Погасли зажжённые на ней свечи. Как и всегда в языке, приходится предпочесть одно из двух – или красоту образа, или точность термина. Кажется, всего лучше здесь был бы иностранный термин, за которым тотчас исчезают всякие образы. Но в разговорной речи термины не возникают, живая речь цветёт образами.

«Позвольте!» – «Разрешите!»

Человеку трудно в конфликтных ситуациях. В своём настроении он зависит от настроения окружающих. И особенно там, где таких «окружающих» много – в транспорте. Встречи здесь мимолётны, случайны, увиделись – расстались. Можно, как говорится, и *себя показать* во всей неприглядности и «красоте»: встретились – разбежались, не поминайте лихом.

Опасное это дело. Остается на душе нехорошее что-то...

«Общение в городском транспорте» – тема научная. Не только психологи и лингвисты занимаются ею, но и юристы (явление «зайца» как социальный фактор), и многие иные люди.

Поговорим о словах, которые возникают в мимолетном разговоре в трамвае или автобусе, помогая нам

оценить обстановку и безошибочно вписаться во временное сообщество пассажиров.

Никто из них не виноват, что едут они с вами. Сдержитесь – это скоро кончится...

Целые диссертации описывают наше поведение в общественном транспорте. Это как бы особый срез на живой плоти языка, со своими стилями и, в общем, глубоким смыслом. Иностранцу трудно войти в этот мир – а мы в нём как дома, и хотя бы это роднит нас всех, вынужденных общаться помимо всякого на то желания.

Как называем мы друг друга?

инвалиды, престарелые люди, женщина с ребенком, дама... – стиль почти высокий, холодно официальный;

земляк, друг, шеф... – что-то среднее, но заискивающее;

нахалка, корова, лапоть, козел... – а вот это уже стиль низкий.

Зависит от того, к кому обращаемся и по какому случаю, в какой позиции и каков адресат. По единственному слову можно судить о том, что ты за человек и на что годишься. Ну, например, «речь»:

– *Ах ты, корова! По ногам как по бульвару... Ты ещё по головам пройдись... И не делай мне замечаний: не доросла!*

Давайте высадим её, а?

Но ничего официального в подобном обращении друг с другом нет. В тесноте автобусного салона мы как бы притираемся друг к другу и словесно. Когда обратятся вдруг: «Товарищ!» – удивлён, «Гражданин!» – страшишься, «Мужчина!» – ну, и это нам тоже знакомо.

С точки зрения языка наблюдаются три особенности такого общения.

Первая связана с синтаксисом общения. Он уклончив, лишён определённости повеления, характер и личность словно размыты в описательном выражении:

– *Не забываем расплачиваться!.. Плату за проезд передаем кондуктору... Посадочку заканчиваем... Хо-*

дят тут всякие! Запор тут сделали, людям же выходить нужно... Ххосподи! бабушка, вы бы отошли хоть... Могли бы и ножками одну остановочку-то... Ногу вот совсем отдавили! (сказано тому, кто отдавил).

Всякое требование оборачивается косвенной просьбой, что возвращает нас к тем давним временам, когда повелительное наклонение славян ещё только-только образовывалось из пожелательного (настоящего императива, как в западноевропейских языках, у нас никогда не было; был оптатив – пожелательное наклонение).

Да и в словах «извинительно-просительных» высокий стиль неуместен, подробности ни к чему, и только слышишь в петербургском метро: «Пустяки!» – «Да ничего, что там...» – «Пожалуйста...» Другие формы «прощения» были бы неуместны в тесноте и давке.

Вторая особенность связана с образованием слов. Слова все мягкие, успокоительные, говорим как с ребенком. Много «женских» слов с уменьшительным суффиксом: *середка*, *серединка*, *серединочка*, *тролик*, *трамвашка*, *маршрутка*, *талончик*, *билетик*, *кнопочка*, *дверочки*, *площадочка...*

Третья особенность «трамвайной» речи связана с употреблением глаголов. Глагол обозначает производимое действие, и, казалось бы, чего тут мудрить? *Войти – пройти – компостировать – выйти* и всё! Нет, и здесь возникают эмоционально-экспрессивные формы, каждый раз являющие нас в индивидуальности: *входить – залазить – вталкиваться – впихиваться... двигаться – продвигаться – протискиваться – пролезать – пробиваться... закомпостировать – пробить – продырявить – прокусить...* Особенно впечатляет *прокусить...*

Все эти, на первый взгляд незаметные, особенности речи помогают создать и постоянно поддерживать особую тональность взаимного общения. Мы-то с вами выйдем на следующей остановке, но другие останутся, а атмосфера общения с вашим выходом не испарится,

не исчезнет – сохранится, она постоянна в этом месте, пока хоть один пассажир остается.

А вот и наша остановка.

«Осторожно! Двери закрываются...»

«Осторожно, двери закрываются!»

«Ее поразил перевод одной французской пословицы, утверждавшей, что двери всегда должны быть либо заперты, либо открыты» (Г. Джеймс). Вчитаемся в эту фразу из переводного романа. Сразу обращает на себя внимание необычное сочетание слов – *запереть* и *открыть двери*. Здесь нет согласования по общему корню, как было бы естественно для русского языка: например, *открыты – закрыты, запереть – отпереть*. Скорее всего, сделано это по соображениям стиля, а слово *открыты* употреблено тут просто потому, что оно может заменить глагол *отпереть*.

Более полувека назад в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова соотношение *отворить – затворить* в применении к дверям было в полной силе: *отворить* – 'открыть, распахнуть створки'; но также и *открыть* – 'сделать доступным, сняв крышку, раскрыв створки, убрав преграду'; 'освободить, делать доступным, видным, ввести в действие, сообщить'... Много значений у второго из глаголов. А в словаре Ожегова, который составлен на основе словаря Ушакова, всё проще, всё сводится к общему слову *открыть*, тогда как *отворить* считается всего лишь устаревающей формой того же глагола *открыть*.

Если бы мы пожелали углубиться дальше, в XIX век, число вариантов слова *открыть* ещё увеличилось бы. Некоторые из слов известны и нам, да редко мы ими пользуемся. И в 1889 году их уже смешивали друг с другом, так что известный нам АБ вынужден поучать: «*Закрыть* – там, где следует наложить крышку, покров; *запереть* – существительное *запор* – посредством замка; *затворить* – ворота, двери, ставни,

ящик стола и проч., т. е. ввести в створ плотно», а «*закрыть*, когда в театре закрывается занавес, окно – шторою, кровать – ширмами, камин – экраном».

В начале XX века неразбериха достигла пределов, и частные значения всех перечисленных глаголов стали пересекаться друг с другом в своих оттенках. Двери *замыкали* – *запирали* – *затворяли*, но никогда не *закрывали*, хотя самою дверью действительно что-то могли и закрыть; их *отмыкали* – *отпирали* – *отворяли*, но никогда не *открывали*. *Открывать*, *закрывать* – слишком общие слова, за ними теряются подробности действия, мелкие черты бытия. *Замкнул на замок*, *запер на запор* или просто *притворил*, т. е., по смыслу слова, 'заделал', – ведь всё это вместе и есть «закрыл».

Между тем слово *закрыть* в XIX веке не было ещё столь всеобъемлющим по значению. «Саломея, закрытая воалем» в романе Вельтмана – это «закрытая» употреблено правомерно: что покрыто, имеет покров. Как можно было закрыть то, что имеет створки «вертикального действия»? Пока жив словесный образ, ни одно слово в ряду родственных по смыслу не имеет шансов стать словом общего значения. Со временем же, когда древний образ, связывающий глагол со множеством родственных слов, утратился, стало возможным развитие переносных значений у слов *открыть* – *закрыть*, и их употребление распространилось также на двери: 'сделать недоступным, закрыв створки, создав преграду'. И если прежде говорили мы о самой двери, которая запирается, замыкается или затворяется, теперь нас двери, собственно, не интересуют, мы говорим, обращая внимание на то, что дверями мы что-то закрываем от посторонних взглядов или действий.

Важными оказались не образные детали последовательной смены действий (операций с дверями), а «универсальный термин», который перекрывает все эти частности, и, таким образом, внимание переносится с действия на его следствие; то, что закрывается, отсекается от нас, – тем самым удаляется (особенно, если

это движущийся вагон трамвая, электрички или метро). Лучше не скажешь. Не запирают, не заключают, не замыкают тут двери; ни ключа, ни замка нет. Затворяют, – пожалуй; но мы ведь не видим, как это делают, нам кажется, будто сами двери при нас *закрывают(ся)*, скрывая от нас всё, что снаружи.

«Оплачивайте проезд!»

Едва ли не ежедневно слышишь в городском транспорте: «Граждане, оплачивайте за проезд!» Сказано не по-русски. Такое же неприятное впечатление остается и от слов *плата* или *оплата*. Частенько, и даже в печатных объявлениях, можно встретить: «Оплата за билет, за услугу». Выражения совершенно неправильные, лучше сказать (и написать): «оплата билета, услуг и т. д.». И в этом случае, как во многих других, история слова запрещает нам искажать стилевую сферу его употреблений.

Слово *оплата* образовалось от глагола *оплатить*, который известен с конца XV века и всегда значил 'выплатить всю сумму полностью', т. е. не держать за собой долга. По известному закону русского языка: какова приставка при глаголе, таков и предлог после него – возможным было только сочетание *заплатить за* что-то, т. е. рассчитаться. И от него образовалось уже отглагольное существительное – *заплата*, ещё в XVIII веке оно было в полном ходу; так назывался и карточный долг. Со временем это слово ушло из языка, ибо в звучании совпадало с другим, образованным иным способом, – *зарплата*.

Зато в XIX веке часто пользуются ещё одним: *уплата* – от *уплатить*. Значение то же, но форма другая. А вот и наше слово: *оплата* – от *оплатить*; оплатить что-то. *Заплатить* – слишком резко, категорично – карточный долг, например; *уплатить* – проще и спокойнее – за квартиру; *оплатить* – совершенно мягко,

деликатно и даже с некоторой просьбой. Новое время – новый глагол. Все слова чем-то близки, может быть тем, что в каждом случае, утратив зависимость от приставки глагола, присутствует один и тот же предлог: *заплатить за... уплатить за... отплатить за...* По аналогии, по сходству, быть – как все другие глаголы.

Поскольку со временем в русском языке появились два слова со сходным значением: *плата* и *оплата* – второе из них получило более отвлечённое значение, его стали употреблять в самых различных сочетаниях, но сочетание *оплата за* что-нибудь всегда почиталось неприемлемым. *Плата за билет – оплата билета*, как и следует при чётком разграничении слов с конкретным и отвлечённым значениями. При всём том и *оплата* всегда была связана с чем-то основательным: *оплата трудов, оплата расходов*. Именно так и поясняется значение этого слова в словаре Ушакова ещё в 1938 году.

Подобное противопоставление стало нарушаться совсем недавно, и вот почему.

Незаметно как-то утратилось разграничение между значениями слов *плата* и *оплата*, снизилась социальная наполненность последнего слова, *оплатой* стали попросту называть плату за свет, за газ, за билет, за всё, что угодно. Официальный язык любит употреблять слова высокого стиля, поэтому постепенно исчезает и смысловое различие между ними. Утрачено различие в смысле – утрачиваются и грамматические свойства слов. *Плата за* по аналогии порождает и *оплату за*. Когда слышишь: «Граждане, оплачивайте за проезд!» (вариант: «за билет») – становится дурно, потому что совсем не хочется отдавать всю наличность за один проездной билет.

Кроме грамматической безграмотности выражение несёт ещё и смысловую неясность. Правильное *заплатить за билет*, видимо, не кажется очень выразительным, тем более что никто и не берёт билета, не заплатив за него. Самое верное в данном случае

сочетание *заплатите за проезд*, в крайнем случае – *оплатите проезд*, потому что о билетах все пассажиры и без того знают.

Такие ситуации бытового общения и языковые аналоги привели к тому, что и недавний «Словарь трудностей русского языка» (1981) колеблется: «В значении 'уплачиваемые за что-либо деньги' допустима конструкция *оплата за что:* 'дополнительная оплата за сверхурочный труд'». Тут же со ссылкой на газету «Правда» того времени: *высокую оплату за свой труд*. Обратим внимание на то, что в обоих примерах речь идёт о новых сочетаниях с прилагательными: дополнительная оплата, высокая оплата, а это уже, согласитесь, несколько меняет и всю конструкцию; впрочем, употребить слово *плата* вместо *оплата* и тут было бы правильнее.

Причина предпочтения *оплаты плате* всё в том же: *плата* ведь от *платить* – действие длительное, повторяемое, несовершенного вида глагол. *Оплата* кажется лучше по точности выражения моментальности действия. Всё та же потребность в слове-имени, которое могло бы передать завершённость глагольного действия.

Продлить

«В транспортной хронике всё чаще сообщения о том, что номера трамваев, автобусов "продлеваются" до такой-то остановки. Но ведь слова такого нет: в словарях только "удлиняется путь" или "будет продлён", никак не "продлевается" – даже слух режет и глазу страшно». Тоже строки из письма.

Слово «длить» известно из старославянского языка, обозначало оно пространственное изменение (*длина* чего-то), но уже в XIX веке В. Даль связывал его со словом «долее» и указывал, что «продлить» – продолжить, протянуть в пространстве, а более во времени: дело, время, разговор, спор. «Длить» – глагол несо-

вершенного вида, и в пару к нему с XVII века появился глагол «продлить», который ещё в 1940 году считался книжным, потому и употреблялся только со словом отвлечённого значения: *продлить* занятия, отпуск, удовольствие и т. д. Современное сознание старается разграничить слова, обозначающие временные границы от слов со значением пространственных пределов. «И дольше века длится день» только время, «продлить» ещё и время и пространство вместе; эти глаголы стали как бы самостоятельными словами. Поэтому в пару к «продлить» уже в середине XX века появляется глагол несовершенного вида «продлевать», который считается разговорным; действительно, в литературных текстах он как будто не попадается. В языке обычно подобное столкновение книжного (*продлить*) и разговорного (*продлевать*), таким стилистическим контрастом устная речь как бы откликается на потребности мысли, которой вдруг понадобилось новое средство выражения.

Следовательно, в нашем случае мы встречаем сложное смешение сразу нескольких непривычных явлений: «продлеваются» – не литературная, а разговорная форма; она пересекается по значению с глаголами «удлиняется» или «продолжается», т. е. растягивается в пространстве – следовательно, противопоставлена глаголу «длится», который означает время; грамматически эта форма – несовершенного вида и потому образует форму настоящего, а не будущего времени (*продлится – продлевается*). Столкновение сразу нескольких непривычных характеристик слова создаёт ему дурную репутацию, хотя с точки зрения законов языка ничего криминального в нём нет. Да, писать следует с *е*, а не с *и* (*длиться*, но *продлеваться* – суффикс *-ева-*), и другим глаголом тут не обойдёшься, если хочешь сказать, что не просто «удлиняется путь», но и время движения – продлевается. Кстати, все эти синонимы хоть чем-то да отличаются друг от друга и по смыслу: основное слово «продлить», самое редкое из них «продолжить» (в прошлом они одного корня),

т. е. вести далее уже начатое дело, не прекращая его, а вот «удлинить» – увеличить (с одного конца) то, что было сначала рассчитано на короткий срок, «растянуть» – продлить с обоих концов, и т. д.

Видимо, работники транспорта выбрали приемлемую формулировку, хотя она и не является вполне литературной.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУТИ

Важным средством выделения сущностной характеристики является прилагательное. Не случайно же его в составе предложения называют определением: оно определяет признак понятия, заключённого в имени существительном. В старинном выражении *белого света не взвидел* определение *белый* уточняет главный признак понятия «свет»: слепящий и яркий.

Попробуем на нескольких примерах показать важность точного употребления имён прилагательных, которые не просто прилагаются к имени, но ещё и определяют его ценность в качестве определения.

«Мой кудрявый, кучерявый...»

Нынче вновь обращают особое внимание на причёски, волосы, на внешний вид, приписывая ему мистическую силу привлекательности или значительности. И конечно, кудрявые в особом почёте.

Кудрявый, курчавый, кучерявый друг на друга похожи, а два последних слова даже родственники. У них общий корень, правда, со временем его стали смешивать с близкозвучными, например с глаголом *корчить* (*курчаветь – корчить*). *Кудрявый* и *кудлатый* (*кудель*) тоже родственники. Все эти слова некогда обозначали заросшего волосом, лохматого, косматого человека. Такими бывают волосы, если их долго не мыть и не расчёсывать: трудно. Свалялись прядями – клоки шерсти и больше ничего.

Если клок выразительно один и хорошо заметен – это уже *кучерявый*. Старинное слово *кучери* (не смешивать с *кучером*) сохранилось в некоторых родственных русскому языках; *кучери* – чуб, локон. Между прочим, слово родственно слову *кука* (завиток, крюк), откуда и слово кукиш – символ чёрта, которым пугали, складывая три пальца в известную всем фигуру. В древности выразительной чертой физиономии мог быть воинственный чубчик или легкомысленный локон, по которым узнавали человека. Византийский летописец с изумлением описывал русского князя Святослава, который приехал на встречу с императором в 971 году: голова князя обрита, а с макушки на лоб свисает одинокий чуб. Не только современная молодёжь безволосой причёской отстаивает свою самобытность... Все вообще люди в зависимости от своего социального положения, от достатка, родовой принадлежности различались видом головы: ходили по свету кучерявые, курчавые, кудрявые – с чубом, локоном или колтуном на голове. Например, *курчавый* – с вихрами, с завитками волос.

Время шло, и уже не приметой, общей для данной группы людей, становился внешний вид головы, которая, что там ни говори, всегда заметна... в первую голову. Каждый человек самоценен, а смешанных браков не счесть... и явилось великое разнообразие при одновременном сходстве, которое следует всё же различать:

кудрявый – с кудрями по плечам,

курчавый – в более мелких и тугих завитках (у Даля *завитой*),

кучерявый – то же, но без завивки, слово просторечное местное,

вьющийся волос – на голове кудрявого от природы.

Все четыре слова толкуют о волосах, но в переносном смысле можно так сказать о человеке с такими волосами (только первые три слова), о деревьях или кустах (только первые два): *курчавая гора* у Гоголя, *кудрявые кусты* у Лермонтова. И только первое слово

как самое основное в данном ряду используется для описания неуместно украшенных и совершенно уж не природных вещей: *кудрявая речь, кудрявый слог, кудрявое письмо.*

Литературное слово *кудрявый* в разговорной речи заменяется часто словом *курчавый*, а в диалектной и просторечной – даже словом *кучерявый*. Всё, конечно, зависит от того, с кем, по какому поводу и зачем говорите вы сами.

Сытый и сытный

Досужий читатель узнал из газеты, что нынче «зимовка скота будет *сытой*», и удивился: «Понятно, что скотина будет сытой, но относится ли это прилагательное к зимовке?»

Во всех словарях слово *сытый* противопоставлено слову *сытный*: *сытый* – утоливший свой голод, *сытный* – питательный, насыщающий. Это чёткое различие входит в ряд противоположностей типа *занятый* – *занятный*, *скрытый* – *скрытный*, *понятый* – *понятный* и пр. Как только слово получает суффикс *-н-*, в его значении выражение действия как бы отстраняется от действующего лица, отчуждается, отвлекается от его «я», и теперь это уже не субъект, а объект действия, не «я», а «тот», другой. Я – *сытый*, но обед – *сытный*, также и корова, о которой идёт речь, *сыта*, и только говядина может стать *сытной*. «*Сытный* рынок» – место, где торгуют съестным, но само по себе оно вовсе не «сытое»; в данном случае *сытное* м е с т о – наживное, а вовсе не «утолящее свой голод». Я – *занятый*, ибо *занят*, но он для меня – *занятный* человек; о себе такого не скажешь. Также и *любопытный* – всегда объект любопытства, и говорить, что «я любопытен» самому себе, ошибочно: *любознателен*. Следовательно, и зимовка скота в отношении к скотине может быть только отвлечённо *сытной*, хотя сами животные при этом будут конкретно *сыты*.

Но именно тут возникает недоумение.

Дело в том, что все приведённые пары слов возникали и распространялись только с петровских времён, когда в связи с развитием научного мышления потребовалось во всех случаях строго отличать субъекта действия от объекта такого действия. До того в русском языке существовали только первые слова наших пар: *сытый, скрытый* и др. Тогда, в то время, они и содержали в себе все те значения, которые сегодня мы привыкли видеть в парных им прилагательных с прибавленным суффиксом *-н-*. До сих пор в русских народных говорах слово *сытый* сохраняет широкое значение 'удовлетворённый до излишества', не обязательно только едой и питьём, вообще 'обильный, полный, довольный'. История слов так часто заключается в том, что с них постепенно как бы снимается исходная нерасчленённость смысла путем подключения к ним в пары всё новых слов, «отнимающих» у них одно за другим конкретные значения. Сравните, например, прилагательные, образованные (в течение нескольких столетий) от имени «земля»: *земной – земской – земляной...* Каждый раз при этом в имени существительном (в понятии о земле) высвечивался и выделялся какой-то один, самый важный признак, существенный именно для данного времени. Словесный знак – это символ, он содержит в себе много возможных значений, и определение выделяет их.

Но следы прежней многозначительности остаются. «Родимые пятна» прошлого сохранились, например, в пословицах («Чужой бедой *сыт* не будешь», «*Сыта* тёща, коли гущи не ест» – довольна) или в устойчивых сочетаниях слов («Слишком *сыто* тебе будет!»). Ещё недавно, когда свежи были воспоминания о *сладкой сыте* (мёды сычёные), подобные сочетания могли восприниматься и в переносном значении, и тогда *сытное* место – место сладкое, чем-то выгодное. Столкновение в общей речи старых и новых слов с их несовпадающими значениями, отношение их к другим словам сходного смысла и могли вызвать появление

ошибок. Сколько лет уж прошло, как Владимир Даль специально предупреждал, что сказать «сытная скотина» вместо «сытая» – грубая ошибка, однако пожалуйста: пенсионер раскрывает утром газету... и пишет мне письмо в назидание всем...

Ледяной и ледовый

Вот ещё письмо:

«Мне кажется, что на подписи к снимку альпиниста в спортивной газете следовало бы написать не "на *ледовой* стене", а "на *ледяной* стене"».

Два старинных русских суффикса чем-то похожи друг на друга, но лишь потому, что суффикс *-ан-* в наши дни непродуктивен, используется всё реже, и часть своих исконных значений вынужден передавать активному теперь суффиксу *-ов-*. Смысловая близость обоих состоит в том, что они имеют значение 'состоящий из чего-то', из того, что указано в корне слова, в нашем случае – из льда, как *вощаной* состоит из *воска*, *водяной* – из *воды* и т. д. Вот только ни *водяной*, ни *огневой*, ни *вощаной*, ни им подобные не имеют парного слова с другим суффиксом, и потому никаких вопросов о «правильности» самого слова не возникает.

Ледяной – слово старое, у него имеются и переносные значения 'очень холодный' (*как лед*): *ледяная сырость*, *ледяной взгляд*. Горький писал о женщине, которая «сидит как *ледяная*». Это метафорическое сравнение – женщина будто ледяная, но не является льдом и даже не покрыта льдом.

Слово *ледовый* постепенно заменяет старое, это ясно по форме последнего. Прежнее *льдяный* заменилось на *ледяный* (как *ледовый*), а с XIX века стало колебаться в отношении ударения: теперь говорят *ледянóй*, чтобы в устной речи отличать от *ледóвый* (кстати, в начале XX века начали было говорить *ледовóй*, но такое ударение не привилось).

Ледяной – относящийся ко льду, состоящий из льда: *ледяная кора, ледяная сосулька, ледяная горка.*

Ледовый – покрытый льдом, свойственный льду как материалу (покрытию). Можно сказать *ледовый покров, ледовое побоище, ледовое плавание:* и битва Александра Невского, и плавание в Арктике происходили во льдах – но сами льдом не являются.

Активность прилагательных с суффиксом *-ов-* вообще велика, и объясняется это тем, что русскому языку с начала XIX века потребовалось грамматическое средство для выражения всё усложнявшихся степеней качества. В XVIII веке говорили «*гра́довая* туча», то есть указывали на принадлежность града к проходящей туче; в XIX веке говорили «*градо́вая* туча», выражая простое отношение града к туче; сегодня говорят «*градова́я* туча» и тем самым подчеркивают обычное качество такой тучи, её отличие, скажем, от дождевой. Теперь это термин. Изменением ударения удалось передать результат полного переосмысления сущностных признаков важного явления: принадлежность (ударение на корне) – отношение (ударение на суффиксе притяжательного прилагательного) – свойство (ударение на окончании в определении). В случае, который мы разбираем, необходимости в изменении словесного ударения нет, поскольку различие в ударении сопровождается наличием разных суффиксов: *ледяной – ледовый.* Второе слово полнее передаёт значение качества, не зависимого от сути явления. *Ледовым*, в сущности, может быть всё, что угодно, тогда как *ледяным* – только то, что относится ко льду.

Отсюда ясен и ответ на вопрос, который мы отложили вплоть до рассмотрения связанных с этим обстоятельств дела. В подписи под снимком правильно сказано «на *ледовой* стене», поскольку стена эта обладает свойством льдистости, покрыта льдом, а не является собственно глыбой замёрзшего навеки льда, нам ведь нужно указать на свойство стены, а не на её состав.

Лебяжий и лебединый

Одна из читательниц спрашивала меня о том, почему всем известный канал у Летнего сада в Петербурге называется Лебяжьей канавкой: ведь есть красивое русское слово *лебединая*...

Но эти два прилагательных образовались у нас в разное время.

Более древним является слово *лебяжий*, значительно позже возникло прилагательное с другим суффиксом – *лебединый*. В современном языке мы встречаем сочетания: *лебединая шея, лебединая песня, лебединая верность, лебединая стать* – то есть *как* у лебедя, похоже на лебедя, хотя и не обязательно только у лебедя. Лебединая шея, лебединая песня могут быть не только у птицы, эта метафора довольно распространена. Сочетания же с другим прилагательным встречаются много реже, поскольку и надобности в них нет, они конкретны и переносных значений не развивают. *Лебяжий пух* – этот пух принадлежит лебедю, является его частью, и прилагательное употреблено с древним суффиксом принадлежности (это был согласный «йот», который изменил произношение *лебяд-* на *лебяж-*). Тут даже гласный сохранился исконный, *я*, а не *е*.

Название небольшого канала, на котором издавна селились лебеди, видимо, и возникло в связи с тем, что протока была как бы домом этих красивых и царственных птиц. В названии нет никакого сравнения канала с лебедями, и потому единственной возможной формой наименования и стало название *Лебяжья канавка*. Разумеется, с точки зрения современного языка слово *лебяжий* воспринимается как устаревшее, и виной тому не только уменьшение числа лебедей или редкость употребления самого слова, но и то, что древний суффикс перестал осознаваться, как бы растаял среди соседних частей слова. Только в косвенных формах ещё слышится этот «йот»: *лебяж-ь-его, лебяж-ь-ему*...

Всё чаще вместо слова *лебяжий* стали говорить *лебединый*, и теперь возникает желание говорить *Лебединый канал*. Это было бы неверно и потому, что старые названия давались нашими предками, закрепились в языке и представляют собою устойчивые наименования. *Лебяжья канавка*.

Туристский и туристический

Особенно затруднительны в определении заимствованные прилагательные, даже если это и наши собственные прилагательные, образованные от научных терминов. Чего стоит, например, постоянное смешение определений *феноменологический* и *феноменальный* и им подобных. Невольно возникает вопрос: а зачем нам нужны дублеты типа *туристический* и *туристский*?

По тем же причинам, по каким нам не обойтись без других, столь же похожих внешне определений.

Слово *туристский* относится к туристам: *туристский лагерь*, *туристская база*, *туристский сезон* и пр.; *туристический* относится к туризму: *туристическое бюро*, *туристический справочник*, *туристический поход*. Если кто-то смешивает значения этих слов, он совершает ошибку, хотя, конечно, это и легко сделать. Ведь туризмом занимаются туристы, так что, например, путевка или поход могут быть и туристскими, и туристическими. Путевку получает турист (*туристская путевка*) для похода (*туристическая путевка*), а поход совершают туристы в рамках своего туризма. Подобные тонкости ускользают из внимания исключительно по нашей лени и суете, но ведь какой-нибудь сыщик на таких разночтениях вполне может вычислить преступника, который в туристском походе совершил недозволенное деяние...

Такое же различение и в прочих случаях. *Океанские* – корабли, например, а *океанические* – исследования: работа ведётся не в океане, а «над самим» океаном, это исследование океана. В одном случае вы-

деляем признак вещи, в другом – отношение к тому, что выражено корнем слова. Очень важная забота современного литературного языка и состоит в том, чтобы показать не просто свойство или признак вещи, но и отношение к нему. Наш мир относителен до того, что и «закон относительности» открыли...

Подобных парных слов много накопилось: *практичный – практический*, *циничный – цинический*, *комичный – комический*, *патриотичный – патриотический*, *политичный – политический*, *экономичный – экономический*, *энергичный – энергический* и пр. Загляните в словари, и вы заметите разницу между ними. Ясно, что в различии суффиксов представлено разное отношение к определению, а это, как ни странно, уже типично русская особенность в употреблении заимствованных слов. Суффикс *-н-* указывает н а к а ч е с т в о, и слово с таким суффиксом обычно используется в узком значении, довольно часто и как разговорное слово. Суффикс *-ск-* выражает о т н о ш е н и е к тому, о чём речь; у прилагательных с таким суффиксом накапливается довольно много переносных значений, но все они – литературные, отвлечённого смысла, слова. В XIX веке, кстати сказать, именно они и преобладали, а формы с *-н-* поновее. Раздвоение корня с помощью суффиксов показывает, что и заимствованные слова (варваризмы научной речи) понемногу входят в русский язык, становятся вполне «своими» словами.

А стали своими – нужно знать их, всегда по возможности точно употреблять их в своей речи.

Выходной день

В числе новых выражений, появившихся после революций XX века, было и *день отдыха* наряду с устаревшим, как тогда казалось, словом *праздник*. Но и новое сочетание не осталось одиноким, образовалось ещё одно: *выходной день*. Оно пришло в лите-

ратурный язык из речи рабочих в 1930-е годы. Ещё словарь Ушакова, указывая старое значение слова *выходной* – 'праздничный, торжественный, парадный' (*выходной костюм, выходное платье*), отмечает и «новое разговорное»: *выходной* – 'не рабочий, свободный от работы', и столь же новое, но в переносном значении – *выходной день. Выходной день* – 'день, свободный от работы'. Заметим странную вещь: *выходной* на самом деле день «невыхода на работу», а значит – наоборот – день «выхода с работы» (с завода, из организации и т. д.). В XIX веке такой день называли по-разному: как у чиновников – *табельный* или как у рабочих – *прогульный*. Л. Толстой употребил обычное слово, которое и находилось в обращении: «выпустили народ на свободный день» (с фабрик). Но, строго говоря, и это не точно: ведь свободным становится человек, а не день.

Смысл самого прилагательного в сочетании *выходной день*, рождённом новыми отношениями, остается очень древним. Он связан со словом *выход* – торжественное, праздничное шествие людей, свободных в этот момент от каждодневного труда. Тогда и ударение в слове было другим, располагалось на первом слоге: *вы́ходный*. Даль говорил о *выходном* как о дне выхода, о *выходном жалованье* и всяком ином, но *выходного дня* он, как и рабочий XIX века, не знал: ведь *выход* – добровольный отказ от работы, чего не было.

Вообще следует заметить, что на Руси издавна не бывало выходных дней – только праздничные, к которым относились и еженедельные праздники воскресения; на Руси этот день всегда назывался *неделей* – то есть днем, когда ничего не делают. В праздники человек празден, его руки – праздные. Слово по форме своей – церковное, потому что в средние века и праздники были только церковными: в быту слова *праздник* избегали. Ещё в конце XIX века праздничные дни свободно могли назвать воскресными, хотя и это слово тоже не русское. Но не скажешь же *дни недельные!*

Слово *выход* в средние века означало срок выплат: за работу наёмному работнику, а ещё раньше – налогов ханской казне. *Выход* – полный расчёт и свобода на время. Выход и есть *выходной*. Отдых и отпуск.

Таким образом, современный нам *выходной день* стоит в исторически чёткой цепочке понятий, сменявших друг друга: «расплата» – «свобода» – «отдых». При этом, конечно, и близкие по смыслу сочетания слов оказали своё влияние. Слово *отпуск*, например, сродни слову *выход*, и в древности образованное от него прилагательное также имело ударение на первом слоге: *óтпускный*. *Выходной* и *отпускной* в представлении нашего современника стоят рядом, выражая разные отрезки времени, полученные им для отдыха за работу. Но отличие: в отпуск – отпускают, в выходные не ходишь на работу сам. В истории связаны они с политической борьбой рабочего класса за свои права, в частности – за право отпуска и выходного дня. Рабочий продавал свой труд, не имея при этом никаких материальных средств; естественно, что он нуждался в отдыхе, чтобы восполнить свои трудовые ресурсы. Хотя в основе нового понятия и лежит классовая точка зрения, она прекрасно отлилась в национальных формах русского языка, продолжив длительную традицию обозначения свободного от работы человека. Вместе с тем остались и те слова, которые прежде служили своего рода заменой для выражения того же понятия о свободном от работы дне. И *праздник*, и *день отдыха* нам также известны: при этом мы прекрасно понимаем, что *праздник* церковное слово, а день отдыха – перевод с немецкого (Rasttag). Только *выходной день* является собственно народным и разговорным русским выражением.

5 Зак. 207

ГЛАВА ШЕСТАЯ

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ

Да и нет

В обращении людей друг с другом проявляются их воспитанность и уважительность и вообще та совокупность человеческих свойств, которая делает человека представителем определенной культуры, определенной национальности, определенного социального положения.

При обращении к незнакомому можно сказать: «Как вас зовут?» – или: «Как вас звать?» Улавливаете ли разницу в тонкой, казалось бы, подробности – форме глагола? Второе выражение несомненно грубее.

Можно ли научить человека различать подобные оттенки? Следует ли указывать на них? Ведь если человек не знает родной речи и не ценит подобных вариантов, как в двух словах разъяснить ему суть дела? Да и захочет ли он принять твои объяснения, не почувствует ли за этим намерения посягнуть на его право «говорить, как хочешь»?

Слова, связанные с общением в быту и в официальной обстановке, настолько неотторжимы от самого общения, что невозможно их разъяснить, не касаясь поведения человека. Какими старинными ни кажутся нам все эти слова, сложились они, в общем, недавно, стали приметой современного культурного общества. Но создавались они долго, отливались в законченные формулы исподволь, накапливая в себе содержание, мысли и чувства, вынесенные из разных культурных слоев, из разных эпох.

Конечно, «как вас *зовут*?» значит: как всегда, как обычно, как родители нарекли. Как в с е зовут. Ска-

жешь: «как вас *звать?*» – получается: «Я – единственный, для тебя важный, мне и решать, как тебя звать». Грубоватость формулы «как звать-то?», которая дошла из далёких времён, в том состоит, что она – не просьба, а императив-инфинитив, полуприказание, да ещё и в конкретном «времени», в будущем, как бы незаконченное, а потому и неопределенное...

Некоторые выражения в современном разговоре совершенно новые. Ещё в начале XX века осуждали ответы «да» или «нет», считая их нерусскими. Собственно, так оно и есть: русские крестьяне, если выражали согласие, говорили в ответ на вопрос протяжное: «Ноо...» или «Ну?». «Пойдёшь ли?» – «Нооо...»

Тонкий знаток языка, учитель гимназии В. Долопчев в начале XX века писал: «*Да*, как частица, противоположная *нет*, в ответ на вопрос, по духу русского языка заменяется обыкновенно глаголом вопроса, напр., “Знал ли ты об этом?” – “Знал”. На юге же (России. – *В. К.*) всегда отвечают: “Да”. “Хочешь есть?” – “Да”. “Дома отец?” – “Да”. “Поедем?” – “Да” (вместо: *хочу*, *дома*, *поедем*)».

Чем лучше «да» того же северного «ну?» Только интонацией? В наш речевой обиход из южных русских говоров вошло это *да* или *нет*, а неуловимое по смыслу, слишком уклончивое «ну?» не прижилось, хотя в просторечии и сейчас ещё используется. Своё значение в этом развитии кратких ответов сыграло и влияние иностранных языков, особенно французского. Поначалу обязательно с обращением: «да, сударь» или «нет, сударыня». Потом слились они в сокращении *да-с* и *нет-с*, потому что и сама форма требует краткости. Уже деревенские соседи осуждали Онегина:

Всё *да* да *нет*; не скажет *да-с*
Иль *нет-с*. Таков был общий глас.

Категорические и краткие *да* и *нет* свойственны нашему времени; не *угу*, не *ага*, не *нуу* и, конечно же, не *не-а*.

Точно так же свойственно современной речи и чёткое *что?* при вопросе; как требует литературная норма – «што», или в «питерском» произношении «чьто», но не нагло, не лениво, не безразлично сквозь зубы «штэ». Кажется, просто: *што – чьто*, или *штэ*, – а какая разница в отношении к человеку! А спросит сибиряк – «чо?», а отзовётся южанин – «шчо?», а откликнется северянин – «шшо?» – куда как хорошо, сразу поймёшь, кто откуда и кто каков. Простое маленькое словечко...

Попробуем обозначить пределы употребления тех слов, которые связаны с речевым этикетом. Откуда они пришли и что значили прежде? Как много в них сохранилось от прошлого? Всё ли окончательно сложилось, или встречаются сегодня и странные выражения, к которым не все привыкли?

Ты и вы

Всех интересует происхождение обращения на *вы* – всегда спрашивают: когда появилось да зачем?

Да, действительно, на Руси всегда и всем один на один говорили *ты*, и поэтому русскому человеку показалось бы странным форму множественного числа относить к одному лицу. Что за почтение? Или – упрёк? Для чего же тогда огород городить и различать по числам: коли один – число единственное, двое – двойственное (была особая форма местоимения – *ва*), три и больше – множественное?

С XVI века под влиянием модного польского этикета дошло до нас *вы*. Боярин-изменник Андрей Курбский был одним из первых, кто употреблял эту форму; надолго и осталась она как форма аристократическая. Тому содействовало также влияние современных европейских языков на русское общество в XVIII веке. Не случайно галантная речь столичных щеголей того века ввела в широкий оборот безликое *вы*; в литературе впервые переводчик и поэт В. Тредиаковский употре-

бил «нежное *Вы* за важное *Ты*». *Важное* – величавое и возвышенное, так понимали это слово тогда.

Проникновение *вы* в обиход было стремительным, ибо требовалось обществу. Вот какими словами, не без иронии, описывал эту историю Н. Г. Чернышевский:

«Вместе с личным местоимением второго лица и костюмом проходит три фазиса развития и вся манера держать себя. Человек нецивилизованный и неучёный прост в разговоре, натурален во всех движениях, не знает заученных поз и искусственных фраз... Вне цивилизации человек безразлично говорит одинаковым местоимением со всеми другими людьми. Наш мужик называет одинаково *ты* и своего брата, и барина, и царя. Начиная полироваться, мы делаем различие между людьми на *ты* и на *вы*. При грубых формах цивилизации *вы* кажется нам драгоценным подарком человеку, с которым мы говорим, и мы очень скупы на такой почёт. Но чем образованнее становимся мы, тем шире делается круг *вы*, и, наконец, француз, если только скинул сабо, почти никому уже не говорит *ты*. Но у него осталась ещё возможность, если захочет, кольнуть глаза наглецу или врагу словом *ты*».

Кстати сказать, именно на том «фазисе», когда в ходу и *ты* и *вы*, находится сейчас разговорная русская речь. Что же касается французского, некоторые мемуары рассказывают о попытках русских барынь говорить в Париже на *ты*. До добра это никогда не доводило.

«Англичанин, – продолжает Чернышевский, – потерял и эту возможность: из живого языка разговорной речи у него совершенно исчезло слово *ты*. Оно может являться у него только в тех случаях, когда по-русски употребляются слова *понеже*, *очеса* и т. п. (т. е. в высоком стиле. – *В. К.*); слово *ты* в английском языке так же забыто, как у нас несторовское *онсиця* вместо *этот*. Не только слугу, но и собаку или кошку англичанин не может назвать иначе, как *вы*. Началось дело, как видим, безразличием отношений по разговору ко всем людям, продолжалось разделением их на раз-

ряды по степени почёта (немцы, достигнувшие апогея в этом среднем фазисе развития, ухитрились до того, что устроили целых четыре градации почёта: 1) *du* – это чёрному народу; 2) *er* – это... для среднего рода людей; 3) *Jhr* – это для чиновников, занимающих середину между людьми среднего рода и благорождёнными; 4) *Sie* для благорождённых...), приходит в результате снова к безразличному обращению со всеми людьми... на *вы*».

Читатель по достоинству оценит эти слова замечательного писателя и гражданина. Но во времена Чернышевского иначе и быть не могло, потому что этикет XIX века именно немецкие градации в отношении к человеку по рангам и предполагал.

Но тогда же развивались и иные традиции. Двоюродный брат и друг Чернышевского, впоследствии академик, А. Н. Пыпин рассказывал, что в университете студенты с латинистом общались на *ты*, «потому что и греки и римляне, как известно, всегда говорили на *ты*... как говорили римляне и как говорит русский народ». Тем не менее полной зависимости от иностранных речений и традиций, конечно, не было. Латынь учили и гимназисты, но в зиму с 1857 на 1858 год в русских гимназиях по реформе знаменитого врача Н. И. Пирогова, «не взирая на возраст, стали говорить – *вы*, при этом отменив и порку, – вспоминает известный педагог В. П. Острогорский. – Так сразу с одного маху исчезло из употребления и *свиное рыло*, и *ослиное ухо*, и даже личное местоимение *ты*». Не то в университете, там наоборот: «фамильярное *ты*, на которое тогда переходили студенты с первого же знакомства, было как бы внешним выражением той нравственной солидарности, какая чувствовалась в нас по отношению ко всему студенчеству». Товарищеское отношение на основе доверительной взаимности. Через несколько лет (как результат отмены крепостного права) товарищеские обращения распространились уже и на семейные, и на коллективные отношения. До того в быту даже между членами семьи обычным было *вы*,

но в 1870-е годы «отец с сыном... были, по-модному, на *ты*» (Ф. Достоевский). В те же годы молодой Л. Толстой писал о крестьянском мальчике, с которым «составлял рассказы»: «Федька говорит мне *ты* тогда, когда бывает увлечён и взволнован». Тогда мальчик выражается не по-учёному, а как привык; вместе с тем это и показатель степени его доверия к учителю.

В середине XIX века обращение на *вы* или *ты* стало фактом социальным. Об этом писали и революционные демократы, отстаивавшие свободу человеческой личности от посягательств бюрократической камарильи. «Его высокоблагородию, – пишет Н. А. Добролюбов в “Свистке”, – видимо не хотелось сказать мне *вы*, а с *ты* оно относиться ко мне не решилось; потому о н о благоразумно избежало местоимений». Каждое такое столкновение с этим безликим «оно» воспринималось болезненно и всегда отмечалось. На то и было рассчитано. Так и шеф жандармов Бенкендорф обращался к Дельвигу или Пушкину – высокомерно на *ты*, провоцируя на ответную дерзость. Знак социального достоинства, местоимение личное становилось символом классовой борьбы. «Ванька, рассуждающий о том, что земля кругла, показался смешон; Ванька, изъявляющий претензию, чтоб с ним были на *вы*, показался дерзок» (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Среди знаменитых требований рабочих Ленских приисков в 1912 году было и такое: «Рабочих называть не на *ты*, а на *вы*». В приказе № 1 Петроградского Совета от 1 марта 1917 года по армии – «обращение на *ты* отменяется совершенно».

Личное и социальное в постоянном конфликте. Социальный знак отношения к человеку как бы взаимообратим. Покровительственно-начальственное «тыканье» идёт от петербургских чиновников XIX века (как подражание царю, который всем говорил *ты*), и «подчинённые не смели сердиться на *ты* от начальника», – замечал А. И. Герцен. Иерархия подчинения проникала в семью. Герцен вспоминал о своём дяде:

«...был двумя годами старше моего отца и говорил ему *ты*, а тот, в качестве меньшого брата, – *вы*».

Однако унизительность подобного *ты* в одних разговорах удивительным образом оборачивалась знаком уважительного отношения и доверия со стороны других лиц. Поэт А. Фет, став мировым судьёй, старался обращаться к крестьянам на *вы*, но постепенно вернулся на *ты* – поскольку и сами крестьяне к судьям обращались на *ты*. Побывав в детской колонии, Ф. Достоевский поразился фальши, которую почувствовал в обращении на *вы*, принятом здесь. «Это *вы* показалось мне здесь несколько как бы натянутым, немного как бы чем-то излишним. Одним словом, это *вы*, может быть, ошибка и несколько серьёзная. Мне кажется, что оно как бы отдаляет детей от воспитателя; в *вы* заключается как бы нечто формальное и казённое, и нехорошо, если иной мальчик примет его за нечто как бы к нему презрительное <...>. Оно, может быть, по-нашему, по-господскому, и вежливей, – объяснял писатель, – но холоднее, гораздо холоднее». Опустошённое грамматически, оно воспринималось только как знак достоинства – к одному обращаюсь как ко многим, т. е. как ко всем вообще, самого его никак не выделяя.

Вот насколько многолики наши местоимения. Одно дело – социальный ранг, другое – народное чувство личности, противопоставленное мертвящей официальности.

Но есть и третье, и вот о нём-то немецкий философ Л. Фейербах сказал поразительно верно (хотя и имел при этом в виду высокие философские цели): «*Ты*, обращённое мужчиной к женщине, звучит совершенно иначе, чем монотонное *ты* между друзьями».

Поэты пытаются оживить замирающий образ личного местоимения. «Пустое *вы* сердечным *ты* она, обмолвясь, заменила» (Пушкин). Совершенно иное чувство в другом лирическом стихотворении – «Я вас любил». Здесь, замечал критик В. Шкловский, «*вы* хочет перейти в *ты*, однако это уже и не *вы*, хотя

ещё и не *ты*. Смысл колеблется. Очень точно дана стадия чувства, его развитие».

Поэт всегда чувствует лирическое напряжение между словами, которые наполнились новым смыслом, искусно играет перекатом тонких недомолвок: «И как будто по ошибке я сказала: *ты...*» (А. Ахматова).

Нежное *вы* в XVIII веке, нежное *ты* – сейчас... кто скажет, чт нежнее?..

Барственное «тыканье» оскорбительно, лиричное *ты* – приятно; местоимение ли повинно в том, что так получилось?

Культура русского слова – в поведении говорящего, тут важно учитывать, какая эмоция вложена в то или иное слово.

Впрочем, так или иначе, в различном подтексте и в разном обличье, но вернулось к нам народное, древнее, близкое *ты*. Потому что в новых условиях жизни потребовалось выделить в обращении тех, кому по-прежнему можно с полным доверием сказать по-русски: *ты*.

Став социальной приметой в отношениях между людьми, комбинации местоимений *вы* или *ты* постепенно распределили между собой роли. *Ты* – не низкий стиль, а доверительность и близость; *вы* – официальность, уважительность и признательность, а вовсе не высокий стиль. Можно наказать и друга, обратясь к нему: *вы*...

«Здравствуйте!»

Славянофил К. С. Аксаков, тонкий лингвист, говоря, что с глубокой древности русский человек по характеру сдержан и никогда не «выставляется», не любит ничего условного и внешнего, добавил как основное доказательство: «Даже нет условного восклицания, восклицания привета или восторга!» Так ли?

Издавна самым распространённым русским приветствием было пожелание здоровья, хотя форма его изменилась. Былинное «*гой еси*, добрый молодец» – будь

здоров, хорошо живёшь! Раб и холоп *били челом*, благодарили, умоляли, кланялись и нижайше просили. Свободный обращался к равному с пожеланием жизни. Ведь и корень *гой* – форма слова *жизнь*, и *здоровье* по древнему своему смыслу значит 'крепок, как (могучее) дерево', целое, цельное, способное устоять в бурю. Долго в сравнениях русские люди высказывали своё знакомство с исконным смыслом приветствия; у П. Мельникова-Печерского об одном герое: «Здоровенный, ровно из матерого дуба вытесан» – здоров как дуб. Древние летописи пестрят сообщениями о том, как наши предки возвращались с поля боя «сдорови вси» – если остались в живых.

Здравствуй(те) – повелительная форма глагола, которая сформировалась к концу XVII века из описательных вроде «повелеваю тебе здравствовати», «здравия тебе желаю» и т. д. «Здравствуйте же многа лета» – находим уже в рукописи 1057 года, это самое древнее дошедшее до нас пожелание нашего предка. В простом разговоре обычно довольствовались народными формами с полногласием. Ещё и сегодня вместе с высоким *здравствуй* академический словарь различает вводное слово *здрово живёшь*, междометие *здорóво* («Здорово, кум Егор!» у Крылова), наречие или междометие *здорово* и др., – всё это принадлежность разговорной, бытовой речи, а не норма. У писателей так говорят их герои, тем самым выражая себя.

В 20-е годы XIX века критик Пушкина сравнивал язык поэта с языком площадных мужиков: вошел бы «гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: *Здорово, ребята!* Неужели бы стали таким проказником любоваться?» Однако известно, что с солдатами в армии здоровались только так: «Здорово, ребята!» Но такое обращение хорошо к своим; встретившись в диком поле или в лесу, так не скажешь чужаку.

«В древности, – писал русский философ, – обыкновенным приветствием при встрече человека с человеком было желание мира: *мир тебе, мир вам*, – гово-

рили встретившиеся странники вместо нашего *здравствуй* или *доброго здоровья*».

С конца XVII века по иноземному образцу в господской среде стали появляться у нас *добрый вечер*, *доброе утро*, *добрый день*, но и им предшествовали чисто русские выражение типа *добръ здоровъ* – снова с пожеланием здоровья. Всё начиналось и кончалось пожеланием здоровья – и здравицы в застолье, и прощание при разлуке: «Будь здоров!»

Этим национальным пожеланием русские отличались от многих европейцев, у которых смысл приветствия заключался в пожелании радости, счастья и добра. Русский человек всё это вместе видел в здоровье.

С XVIII века под влиянием европейских языков и у нас стали появляться своего рода «переводы» таких новых приветствий: «всего хорошего» да «желаю вам...» *Привет* – тоже старинное славянское слово, только значило оно 'призыв' или 'намерение' (на которое должен следовать *от-вет*). Это не пожелание добра или здоровья, а всего лишь в е щ а н и е – безликое обращение, не согретое дружеским участием. Уже в древности по образцу латинских сочетаний мы получили «привет пустити», что и сохранилось до наших дней: *приветы* посылают, получают, отвергают и т. д. Сокращённое *привет* обычно употребляется в разговоре между близко знакомыми, но уже на наших глазах рождается и церемонная бюрократическая форма *приветствую* – чиновник любит высокий стиль. Ещё Пушкин и Лермонтов позволяли себе «приветствовать» только стихии и природу, а некоторые наши современники почтительно «приветствуют» друг друга.

В 1824 году в специальном трактате «О русских приветствиях» автор сокрушался: «Мы не имеем языка общественного!» – социальной, нужной для общения лексики. Когда понадобилась она, обратились к заимствованиям, и сколько их было! Вот какие, и вот как к ним относились, по словам автора этого трактата.

Честь имею кланяться – смешно: «в этом приветствии заключаются два понятия, которые вместе не

должны быть» (что верно); *честь имею* и *добрый вечер* считают переводом с французского; желая их «обрусить», предлагают замену: *желаю вам доброго вечера* (что неудачно по обширности фразы); *к вашим услугам* – также плохо, к тому же оно и «самое неучтивое». *Ваше здоровье* (пьём) – «модное приветствие, тот несносный язык хорошего тона бросил меня в такой жар, что я едва не слёг в постелю!» Но и *здоровье вашей милости* – из разговора слуг, в этикете никак не годится, хотя *здоровье*, казалось бы, как раз с руки русскому «речению». Зато *нижайшее почитание* – «приветствие всероссийское, но неправильное», его лучше заменить другим: «по-русски *нижайший поклон*» (!).

Да, «языка общественного» не было в начале XIX века! Модное, заимствованное, и русское не сошлись ещё в общем фокусе нужного для общения разговора.

По бытовым комедиям можно судить, как обстояло дело во второй половине века. У А. Н. Островского большинство героев здороваются по-русски, пожеланием здоровья. «Желаю вам быть здоровым!» «Здравствуйте, почтеннейший!» «Здравствуйте. Здорова ли ваша матушка?» «Здравствуй, братец, здравствуй!» «Как живёшь-можешь, брильянтовая?» Однако купеческий быт меняется, на сцену выходят дельцы нового типа, и вот речь Подхалюзина: «Как же! Помилуйте-с! С нашим удовольствием! Пожалуйте ручку!»

И сегодня в шутливой или дружеской речи могут быть самые разные приветствия, вплоть до вульгарного «наше вам!» Однако литературным и общепринятым всё-таки остается русское слово *здравствуйте*. Можно его сказать в любом настроении и каждому. Рекомендовать другие слова трудно, но многое зависит и от нас, от отношения к собеседнику – как в одной из повестей В. Пановой: «Она поздоровалась с Алешей злорадно-вызывающе: “*Привет!*” – “*Здравствуй*”, – ответил он просто».

Не *драсть*!

«Прощай!»

Сегодня *здравствуйте* – привычная для всех форма приветствия при встрече или свидании. Однако в прошлом она могла применяться и в прямо противоположных обстоятельствах – при прощании. Это ясно из значения корня слова: *здоровья* можно пожелать и при встрече, и прощаясь.

Челом да здорово! – эта древняя формула прощания и сегодня кажется удачной. Кланяюсь да желаю здоровья! Официальные письма XVII века так и кончались: «А по сем здравствую, государь», – здороваюсь на прощание, желаю здоровья.

А вот строки из стихов поэта В. Сосноры:

– Моя нарядная!
Как бы там ни было –
Здравствуй!

Поэт «оживляет» древний образ, заложенный в корне, – в прощании желает жизни и процветания. Разницы не было в былые времена: за встречей – прощанье, за прощаньем встречи, и дело не в формальном приветствии, а в пожелании хорошего. Поэтому-то в нашем сознании так часто соединяются вместе слова: – *Прощай! – До свидания! – Здравствуй!* Хотя при этом, как заметил В. Шкловский, «мы говорим *здравствуйте*, не думая о здоровье. Мы говорим *прощай*, не прося о прощении». Но с этим вряд ли можно согласиться; если, конечно, мы чувствуем заветные образы слова.

В древности пожелание *простить* равнозначно было другому – такому же высокому по смыслу: *разрешить. Прощай, разреши*, – и то и другое, но в разных оттенках, значило 'сними с меня вину', 'отпусти меня свободным', чтобы в дальнем пути я не чувствовал неудобство и горечь.

Прощайте, высокое по стилю слово, категорично. С начала XIX века в оборот входило и более мягкое по тону *до свидания*. В 1840-е годы соревнование двух

форм дошло до предела окончательного выбора: «Не хочу *прощайте*, лучше *до свидания*!» – выразил эту мысль писатель Е. П. Гребёнка. К предпочтению этому пришли не сразу. В начале XIX века письма заканчивали и так: «Прощайте, до свидания!» Как бы переводили старое пожелание на новое приветствие: простите – до встречи! Так и теперь говорят: «Всего вам доброго – до свидания!» – обязательно два, пожелание и привет вместе. Такова уж давняя русская традиция; как ни изменялись слова, её суть остается той же.

Во всяком случае, такие слова несомненно лучше, чем те, какими прощается дядя Жора в книге С. Воронина «Время итогов»:

«– До свидания, – сказал я.

– Дуй, – и вдруг протянул руку».

Слова привета все пришли из высокой книжной речи, в ней и сложились как средство общения. Может быть, оттого и возникает время от времени простое желание отойти от высокого слога, смягчить остроту прощания грубоватым простецким словом, вот как у дяди Жоры? Ну, что ж...

А вот злоупотреблять иностранными словами в минуту прощания вряд ли годится. Вообще по-русски сказать всегда лучше. За чужим словом чужие чувства, а русское слово и понятнее, и чувство в нём своё. Да, язык отражает не только тон мысли, но и чувство, а это и важно в момент общения. Только оно способно оправдать конкретную мысль и назначить ей цену.

Говорят всё чаще: «привет!», «пока!». А то и добавят совсем непонятно: «адью!», «гуд бай!», «чао!» Разве не ясно, в каком настроении человек и что он вообще за человек? Вполне. Даже русские по виду слова *привет* или *пока* – всего лишь переводы этих же французских, английских, итальянских выражений. *Пока*, например, возникло в годы первой мировой войны: «в известных кругах», – пишет современник, – как перевод немецкого *einsweilen* или французского *á bien tôt*.

В предреволюционные годы, вспоминал Л. Любимов, «какой-нибудь молодой учитель, недавно приехав-

ший из провинции, скажет, например, *пока*! Это был для нас конченый человек (“Что за словечко!” “Какой ужас!”). Нас уже не могли интересовать ни его идеалы, ни лишения, которые он, вероятно, преодолел, чтобы получить образование. *Извиняюсь, знакомьтесь, мадам* – были для нас такими же жупелами».

Русское слово встречи-прощанья не столь легковесно. Вздымалось оно из глубин народного духа веками, пока к XVIII веку не отлилось в уважительное и значительное: *здравствуй – прощай*, будь здоров – и прости!

Нужно только внимательным быть – не к слову, а к человеку тоже. «И в реальной жизни, – заметил К. С. Станиславский, – тоже встречается механическое произношение слов, например: “Здравствуйте, как вы поживаете?” – “Ничего, слава богу”, или: “Прощайте, будьте здоровы!” О чём думает человек, что он чувствует, пока произносит эти механические слова? Ничего не думает и ничего не чувствует, касающееся их сути».

И на этот раз мы убеждаемся: слово само по себе ничто. Смыслом и чувством его наполняют люди.

«Только наш народ так привык к постоянному беспокойству, что, как высшего блага, желает на ночь друг другу *спокойной ночи*. А при разлуке говорит *прощай*, то есть прости мне всё, что я сделал тебе худого. А при встрече говорит *здравствуй*, то есть желает здоровья» (Виктор Конецкий).

«Пожалуйста!»

В XIX веке ещё хорошо чувствовалось происхождение этого слова от *пожалуй*, т. е., строго говоря, ’подай’ – оборот, «который всегда состоял по просительной части», – как записал в своём словаре анонимный АБ (1880).

Верно, слово *пожалуйста* образовалось очень давно, но в законченном, современном виде пришло в литературную речь уже после Пушкина. С глубокой древ-

ности пользовались наши предки исконной формой повелительного наклонения: «А дом пожалуй продай!» – будь добр. Во множественном числе старую форму можно встретить и сегодня: «Пожалуйте в дом!»

Глагол *пожаловать* имел много значений – 'пожалеть; помиловать; простить; почтить', так что *пожалуй* включало в себя множество оттенков, понятных только «с голоса», в устной речи. В XVIII веке *пожалуй* стало употребляться и как вводное слово со значением неуверенности («а дом, пожалуй, продай»), так что выражение вежливой просьбы должно было измениться.

Оно отлилось с помощью усилительной частицы *ста*, происхождение которой неясно: то ли это древняя форма от глагола *стать (ста)*, то ли сокращённое произношение слова *сударь*; первое более вероятно, так что *пожалуйста* на современный язык можно перевести как «будь милостив», «будь добр».

В огромной картотеке, собранной при составлении Словаря русского языка XVIII века, новая форма встречается редко с 1770-х годов и притом лишь в текстах низкого жанра (частные письма, комедии, басни); даже пишется оно пятью разными способами – от *пожалуйста* до *пожаласта*. Самое первое его употребление в печатном тексте – в одном из переводов с французского, выполненных В. К. Тредиаковским (1730). Долгое время *пожалуйста* на фоне старого *пожалуй* воспринимали так же, как сегодня *извиняюсь* в сравнении с литературным *извините*, как вульгарное и с самоуничижением. Ещё в словаре 1839 года А. Н. Греч советовал столичным жителям: «Не дóлжно писать *пожалуйста* или *пожалосто*. Пиши *пожалуйте*, напр.: "Скажите, пожалуйте, что с вами сталось?"» В начале XIX века, да и позже слово писалось *пожалуйста*; так постоянно и в «Северной пчеле», эталоне тогдашней грамотности. В современном виде слово впервые отмечается в церковнославянском и русском словаре 1847 года, поскольку к тому времени самостоятельная частица *ста* исчезла из речи. Уже и Пушкин использовал

её в ироническом смысле. В «Истории села Горюхина» находим: «Все ли-ста здесь? – повторил староста. – Все-ста, – отвечали граждане».

Вообще, ещё в XVIII веке всякое общение могло употребляться с этой частицей: *спасибо-ста! – пожалуй-ста! – а здравствуй-ста!* В этом *ста* и усиление смысла слова, к которому оно присоединилось, и особенное почтение к лицу, к которому обращаются, да и не без лукавства, потому что почтение напускное. Со временем стало ясно, что *спасибо* или *здравствуйте* обойдутся и без этого, а вот *пожалуйста* нет. Здесь *ста* просто уважительное *пожалуйте* превращает в просительное: *пожалуйста.*

Пожалуйста – всегда просьба, в самом этом слове просьба и содержится, потому и учат ему ребенка с ранних лет. В 30-е годы XIX века постоянно подчеркивалось, что полная форма обращения используется только в отношении к важному лицу или к старшему. Декабрист А. Беляев специально подчеркнул чиновную иерархию в распределении этих слов: «Казначей за ужином повторял при обносе блюд *пожалуйста*, а у секретаря за столом – *пожалуйте*!» Так продолжалось долго, но как только при частом употреблении сложного слова *пожалуйста* исчезла из сознания мысль о его «сборности» и по смыслу (извинительность и просьба вместе) – в разговорной речи сразу же появились упрощения. Сегодня это важное слово сокращается чуть ли не до *пжлст* – почти без всяких гласных! «Драсть, Сан Саныч!.. Пжлст, Марь Ванна» – недопустимые формы, которые невозможно одобрить.

Остается указать на отличие русского *пожалуйста* от соответствующих ему иностранных. В этом также видны особенности национального характера. В большинстве европейских языков исходной идеей обращения было: «если вам это понравится» или «для вашего удовольствия» (французское *s'il vous plaît*, английское *if you like)*. Русская мысль и чувство в поисках формы вежливой просьбы пошли по иному пути: не «ваше удовольствие», а «ваша доброта» – отзывчивость и рас-

положение в центре внимания человека, который обращается к вам с русским словом *пожалуйста*.

Пожалуйста, а не *пжлст*!

«Спасибо!»

Слова благодарности почти во всех языках пришли в разговорную речь из языка торжественного ритуала. Постепенно спускались они на землю с небес, становясь обычными формами выражения признательности, и попутно утрачивали особенности книжных слов. Потому и русские формы по происхождению своему таковы же: *исполать*, *спасибо*, *благодарю*.

Исполать в значении 'спасибо' известно с XVI века, это искажённое в русском произношении греческое сочетание слов *ейс полла ети* 'многая лета': помоги бог, т. е. спасибо. Так и былинное «исполать тебе, добрый молодец!» оказывается вовсе не русским по происхождению словом.

Благодарствую – как было когда-то принято говорить, – 'возношу благодарение'. Ещё и в XIX веке сохранялась старинная форма, которую в обиходе то и дело смешивали с разговорной, новой. Смешение форм *благодарствую* и *благодарствуй* встречается со времён Пушкина – второе всего лишь разговорное сокращение звука *у*. Однако хоть и один звук изменил слово – это уже другое слово! Вдруг возникает и разница в значениях: как будто уже не ты благодаришь, а себе ждёшь благодарности. Да и в простой замене старинного глагола *дарствуешь* новым *даришь* – понижение степени важности, опрощение формы, сближение с простым разговором. Чтобы избежать этого, на первых порах и стали употреблять сложное сочетание, соединившее в себе выражение благодарности с низкою просьбой: *покорно благодарю*.

В первой половине XIX века это выражение только-только входило в моду. «*Покорнейше благодарю!* – отвечал Федор Петрович по модному выражению, пере-

ведённому с французского диалекта» (А. Ф. Вельтман). Взаимные отношения людей изменились, и сегодня это выражение неприемлемо в принципе.

Окончательно утвердилось слово *спасибо*, включив в себя все коренные смыслы сопутствующих ему некогда слов, в том числе и переводных. *Спасибо* – сказанное с достоинством и значительно. Не вас благодарю, но вам желаю всех благ.

По происхождению своему и *спасибо* небезупречно: спаси бог. Теперь *спасибо* – совершенно новое слово, возникшее на основе слившихся двух, в конце второго из них исчез не гласный, как в *благодарствуй*, а всего лишь согласный звук *х* (*бох*). Да и смысл у слова совершенно не тот, ведь вместо прежнего «спаси вас бог» мы говорим: «спасибо – вам».

Сжатие слов в безличные, неопределенные *спасибо*, *благодарю* превращает их в универсальные обращения, годные в любом случае, но эта же безличность слова приводит и к изменению его грамматики. Не *вас* – спасибо и не *вам* – благодарю, а как в зеркале, наоборот: вас – *благодарю*, *спасибо* – вам.

Как таковое *спасибо* появилось уже в XVI веке. От тех времён дошло до нас «спасибо, сударь!», а в XVII веке только простое *спасибо* и известно. В рукописной московской газете «Куранты» встречается с 1622 года «и на том-де спасибо!» – особая речь, уклончивая, но никак не льстивая.

Настолько самостоятельным стало слово *спасибо*, что его и склоняли, как существительное среднего рода, и так было до XX века: «Из спасиба шубы не выкроишь!», «Что мне в твоём спасибе?» Это показывает, что слово оставалось именем существительным и изменялось, как все существительные. Вообще столь свойское обращение с некогда торжественным словом долго мешало ему войти в обиход как частице-обращению: частицы ведь не склоняются в русском языке. Во всяком случае, в разговорах с чужими этого слова избегали. Ещё в 70-е годы XIX века академик Я. К. Грот жаловался: «Всего поразительнее в этом

отношении прекрасное слово *спасибо*, которого, к сожалению, мы удостаиваем только простолюдинов; вместо него даже городская прислуга, желая щегольнуть своею образованностью, стала употреблять безобразное *мерси*».

Мерси и прочие подобные заимствования неуместны в разговоре русских людей; это то самое стремление «выставиться», чуждое русскому человеку в его обращении с равным.

Сегодня *исполать* – дремучий архаизм, *благодарю* – официально и слишком чопорно, не отлилось в законченность разговорного оборота, *спасибо* – расхожая разговорная речь.

Папа и мама

Пожилые люди в наши дни с огорчением говорят, что у современной молодёжи не осталось уважительных слов при обращении к родителям. Всё чаще слышишь *па* да *ма*, а то вот ещё и *пахан*...

Папа и *мама* – слова детской речи, существуют во многих языках независимо друг от друга. На Руси они издавна имели различные формы: уважительную, ласкательную, уничижительную – всякую. *Папаня – маманя, папенька – маменька, папаша – мамаша*, а то ещё *батюшка – матушка*, но каждый раз в оттенке обращения что-то своё, не спутаешь эти слова, каждое из них под настроение. *Отец* да *мать* в отношении к своим родителям употребляли редко, отчасти и потому, что воспринимались эти слова как высокие, книжные; *отец* – и духовный чин (*святой отец*), *мать* – и *матерь* (Божья). Зато постоянно употребляют литературные герои, в частности – и у Пушкина, слова *матушка* да *батюшка*.

Впрочем, социальное расхождение отразилось и тут. У дворян – *батюшка* и *матушка*, горожане среднего достатка и разночинцы – *папаша* и *мамаша*, а купеческое сословие – *тятенька* и *маменька*. Кто называл

отца своего *тятенька* – верный знак, что необразованный человек.

Из французского языка пришли в городскую речь *papá* да *maman*, много бытовых разговоров записано в XIX веке, особенно в светском обществе, именно так и передают в них эти слова. В тех же домах, где предпочитали говорить по-русски, писали просто: *папа* да *мама*, однако слова не склоняли, говорили *от папá, к папá, о папá*. А в простых семьях сохранялось русское слово, которое и склонялось. «Только слышалось по временам – *пáпа, мáма*», – вспоминал Л. Ф. Пантелеев. По мнению молодёжи 60-х годов XIX века, дети должны были называть родителей по именам. *Мама, мамочка, мамуля* решительно изгонялись, но, вспоминала Е. Н. Водовозова, «скоро многим матерям пришлось сознаться, что они не в состоянии подавить желание слышать заманчивое для слуха женщины слово *мама*!» Свидетельство – вместе с другими – поучительное: во все времена попытка сменить обращение идёт от молодёжи, решительной и безапелляционной в суждениях.

Впоследствии русское и французское слова сошлись, так что манерность французского произношения, осознаваемая изначально, изжита. Русские классики со второй половины XIX века дают только русскую форму *папа* да *мама*, следовательно, именно она и является для нас образцовой. Исчезли (к сожалению!) уменьшительные и уважительные народные формы с суффиксами.

За полвека русской жизни, с 1840-х до 1890-х годов, в смене слов запечатлелась история отношений между детьми и отцами. Народник Н. В. Шелгунов выразил её чёткой формулой: «Вообще недоразумения между отцами и детьми разрешались в шестидесятых годах легко, и прежняя форма семейного управления уступила сама собой своё место новой форме, основанной на большем равенстве и свободе. Когда я был маленьким, нас учили говорить: *папенька, маменька* и *вы*, потом стали говорить: *папа, мама* и тоже *вы*;

в шестидесятых годах резкая реакция ниспровергла эти мягкие формы и сами отцы учили детей говорить: *отец*, *мать*, *ты*. Теперь говорят: *папа*, *мама* и тоже *ты*. Вот простая и наглядная история вопроса об отцах и детях за шестьдесят лет».

И после Октябрьской революции предпочтение той или иной формы выражения при обращении к родителям также изменялось: был и *отец*, был и *старик* – всё это было. Но *пахан* – это уже оскорбительно. Воровской жаргон более сотни лет называет паханом главаря шайки. Не к лицу молодому человеку такое слово из разнузданной речи воровского притона, но уж совсем непонятно, когда его печатают, как бы смакуя, молодёжные журналисты...

Что же касается «ма!» и «па!» – это дальнейшее сокращение «интернациональных» детских слов *папа* и *мама*; на западный образец молодёжь сокращает форму привычного обращения к родителям. Осуждать? Однозначно ответить трудно. Однако началось это давно. *Папенька – папаня – папа – па!* Есть в этом *па* нечто инфантильное, жалобное, капризное. Стоит ли поощрять?

«Извиняюсь!»

В повести И. Мясницкого 1904 года: «– Виноват-с... вообще пардон-с, мон онкль-с! это я от икстазу-с... а сейчас они полный грансиньор-с!» Для сравнения сразу и вторая цитата – из книги В. Катаева: «– Извиняюсь, вас тут не сидело!» Речь купчиков начала XX века и речь тех же купчиков через двадцать лет, в годы нэпа. Французское как образец и стандарт вкуса после революции сменилось своим, доморощенным, но по-прежнему в соответствии с мировыми стандартами дурного вкуса: красиво и элегантно...

Извиняюсь... Кажется, нет никаких причин для беспокойства. Обычное русское слово, которое и классики употребляли. Но именно такая «похожесть»

и устрашает: у мещанина всё похоже на настоящее, всё как у людей, но тем не менее – не русское.

Похожесть заключается в том, что возвратный глагол *извиниться* действительно употребляется в литературной речи, в том числе и у классиков, – но только не в значении первого лица. Когда-то этот глагол значил 'получить прощение'. Но как можно оправдать самого себя или у самого себя получать прощение? Профессор говорил рабфаковцу 1930-х годов: «Но, простите за педантизм, говорить *извиняюсь* нескромно. Этим вы как бы извиняете сами себя. Надо говорить *извините*» (Е. Евтушенко, «Ягодные места»).

Хорошо известно, откуда пришло это словечко. Родилось оно в среде обрусевших иностранцев и московских купцов, но скоро распространилось. «Пусть подобные несуразные искажения речи не идут далее обихода и моды трамвайных кондукторш и прилавка», – писали столичные газеты в начале XX века. Заметим: прилавка... Газеты опасались, что словечко пойдёт гулять по гостиным. А между тем опасение было запоздалым. В те же дни чеховский дядя Ваня спокойно говорит: «Извиняюсь!» Некоторые литераторы уже тогда выражали сомнение, чтобы «сын тайного советника и сенатора и сам культурный человек», Иван Петрович Войницкий говорил таким образом: «скорее всего, это неразборчивость самого Чехова, в языке которого многое осталось от простонародья».

Трудно сказать, правы ли критики Чехова. Словечко встречается не только у него. В частной переписке XIX века, в мемуарах, когда приводится устная речь горожан. Правда, в каждом из примеров употребление формы *извиняюсь* можно оправдать каким-либо обстоятельством, тонкостью речи, поначалу не замеченной. «Не извиняюсь п е р е д в а м и» – у Пушкина, «тысячу раз извиняюсь з а т о, ч т о...» – у Гончарова, «отложил дело, извиняясь з а н я т о с т ь ю» и др. – в общем вполне литературны. Личная форма глагола, равноправная в ряду других: *извиняешься*, *извиняется* – *извиняюсь*. Можно понять и переход мысли, почти неуловимый

сознанием, но в целом ясный: человек сообщает, что он извиняется в данный момент перед кем-то, вызывая собеседника на ответную реакцию. Может быть, и с некоторой экспрессией, но всё-таки вполне правильно.

Иное дело – «извиняюсь, вы не от Ивана Иваныча?», «я извиняюсь, скока время?» В таком случае перед нами форма, как бы вырванная из ряда других, намеренно подчеркнутая употреблением местоимения *я*, и потому ставшая своего рода наречием, вводным словом, обращением («Извиняюсь, вы...»). Сразу как-то и не поймёшь, что это такое: то ли форма настоящего времени, как *извиняется*, то ли повелительного наклонения, как *извините*! Так возникают те самые изысканные словечки, которые как будто вежливее, чем *извините*, но на самом деле безликие и безродные порождения вихляющего мещанского сознания. Похожие на русские слова – но не русские вовсе. Это *извиняюсь*, сменившее многочисленные русские формулы извинения, объясняется равнодушием к слову. Казаться – а не быть... А между тем, не всё столь невинно, и слово может замарать.

Сразу же после Октябрьской революции, как только встал вопрос о новых формах общения, среди многих слов неоднократно поминалось и это. Белоэмигранты назвали его «большевистской формулой вежливости», а классовая их ненависть к новой России выразилась и в том, что слово это сравнили с тифозной вошью. Наши пуристы вскинулись на него столь же рьяно, и немало бумаги исписано было в защиту русского языка. По-видимому, напрасно.

Социальные сдвиги в обществе сопровождались сдвигами в сознании и в оформлении мысли словом. Не всегда вкус и знание языка оказывались на высоте. Журналы 1920-х годов уже почти смирились с разговорной формулой «извиняюсь», а словарь Ушакова в 1935 году впервые допустил её на свои страницы, хотя с оговоркой: «*Извиняюсь* употребляется также в значении *извините*, *извините меня* (простореч.):

извиняюсь, я опоздал». В академических словарях этой формы, разумеется, нет.

Однако к ней пригляделись, привыкли, а привыкнув, пошли дальше. Уже не только наречие, но и действительно мещанское – рубленая частица – «Извиняюсь, вы крайний?» По-видимому, процесс продолжается и сегодня, где-то в тайных глубинах, недоступных влиянию специалистов по культуре речи.

«Кто последний?»

Выражение относится к числу наиболее спорных, и многих оно обижает. Отсюда и стремление заменить его: «Кто крайний?» В ответ сердито поправляют: «Не *крайний – последний*!» Однако многие, наоборот, полагают, будто *последний* имеет совершенно другое значение ('плохой, никудышный') и лучше сказать: *крайний*.

Много говорили и писали об этом выражении, и всё ещё нужно к нему вернуться. В нём есть как раз тот самый словесный образ, который, сплетаясь с сиюминутной эмоцией, создаёт нередко взрывчатую ситуацию.

Становясь в очередь, человек приветствует тех, кто некоторое время будет его соседом. Не в русском обычае молча войти в толпу и отстраниться от всех молчанием: вежливым словом он выделяет из массы людей нужные ему лица. Правда, уважительное пожелание здоровья в данном случае не совсем уместно, поэтому и возникло такое сочетание: «Вы – последний? Кто последний?» Непонятно, почему оно может кого-то обидеть, ведь спрашивая: «Кто последний?» – человек хочет узнать, по следу кого ему предстоит пройти. И верно, в таком выражении сохраняется исконное значение слова *последний* – тот, кто идёт по следу, тот, кто торит тропу следующим за ним, или тот, кто сам следует за другими. Это понятно из сравнения прилагательного с причастием: *последующий* – тот, кто потом, а *последний* – тот, кто перед ним. Книжное *последующий*

указывает на то, что человек становится последним, а русское слово *последний* значит лишь то, что по времени он самый недавний (только что начал очередь), а в пространстве – конечный в ряду других. В утешение обидчивым заметим, что в научной речи *последний* как раз уважаемое слово.

Напротив, спрашивая: «Кто крайний?» – вы обижаете человека, потому что, во-первых, говорите не по-русски (в русском языке нет такого значения слова *крайний*: оно пришло из украинского), а во-вторых, как бы отстраняете его от очереди, уверяя его, что он «на краю», в стороне от ряда и потому вообще нарушает порядок. Тот, кто полагает, что слово *крайний* вежливее, чем *последний*, ошибается.

Спорность в данном случае возникает оттого, что русское слово *последний* в обычной разговорной речи получило нежелательный смысл 'наименее важный' (как толкуют современные словари), даже 'низкий, плохой, худший, последний по качеству' (как понимал дело Даль). Случилось это не так давно в результате столкновения двух различных слов: русского слова *последний* в смысле 'конечный в следу' и книжного, церковнославянского слова *последний* в значении 'окончательный', а значит, 'плохой'. Естественно, что разговорное выражение часто понимается с новым, весьма выразительным, но совершенно не связанным с «очередью» смыслом, отсюда и все обиды. Не делают разницы между словами и значениями слов, всё принимают на свой счёт, на всякий случай – сердятся.

Если же отвлечься от этого значения книжного слова, становясь в обыкновенную очередь, привычное выражение сразу получит свой простой «рабочий» смысл, как раз тот, какой и требуется в данном случае.

Русское слово к тому же и оптимистично, и вовсе не подразумевает окончательности; ряд продолжается, он не закончен, и за последним придёт последующий.

«Который час?»

Разговорная речь постоянно вторгается в литературную норму. «Сколько сейчас времени?» или лучше по-старинке: «Который час?» Спорных вопросов такого рода множество.

«Особую ярость так называемых служб языка вызывает устно-речевое “Сколько время?”», – заметил писатель Алексей Югов. Вряд ли язвительность этого замечания оправдана. Давайте разберемся, что лучше, – и без ярости.

До конца XIX века единственной возможной формой вопроса была *который час?* Однако местоимение получило дополнительные значения, стало трудно различать, какой именно – один из нескольких или очередной по порядку – имеется в виду час. Стали говорить: *Сколько часов?* Словари начала XX века всё-таки осуждали столь грубое выражение.

Одновременно происходило обобщение понятий о времени, так что слово *час* сменилось более общим по смыслу словом *время*. Разговорным *сколько времени?* с обязательным уточнением «сейчас» всё чаще стали заменять прежнее, привычное *который час?* Сегодня же это последнее осознается даже как бы устаревшим, чуть-чуть старомодным, чрезмерно интеллигентным. Однако классических текстов, удостоверяющих литературность выражения *сколько времени?* словари не приводят, потому что в природе их нет, и современные писатели, если они хорошие стилисты, их избегают. Закрепление же этого выражения в разговорной речи объясняется тем, что оно имеет некоторое отличие, оттенок смысла: в сравнении с *который час? сколько времени?* значит «сколько часов в полусутках уже прошло?», *который час?* – «сколько их ещё осталось?» (т. е. более неопределённо). Различие в смысле поддерживается грамматически: *сколько* – наречие и значит ’как много’ – это результат пройденного, количество; *который* – определение, ’какой по порядку’ – порядковое имя. Выражение *который*

час? схватывает мысль в движении, оно удобно для выделения любого отрезка времени, который, как водится, заполнен событиями: выражение *сколько времени?* менее удобно, поскольку связывает вопрос с моментом (*сейчас*), т. е. замкнуто, статично.

В отличие от вопроса *сколько сейчас времени?* (допустимого в речи и широко распространённого в разговоре) его сокращение *во сколько?* – недопустимый вульгаризм, вдобавок и неопределённый по смыслу. *Во сколько (времени)?* лучше заменить правильным *в котором часу? в какое время?* – потому что вопрос предполагает ответ не о том, сколько времени пройдёт к моменту ожидаемого события, но в котором по порядку часу это случится.

Относительная ценность вопросов определяется не только смысловыми и стилистическими особенностями русской речи, но часто и психологическими факторами общения. Известно, например, что мужчинам время кажется на треть длиннее действительного, а женщинам – вдвое длиннее. Это также может способствовать выбору речевой формулы. Торопясь, непроизвольно мы скорее всего спросим о времени, а не о часе: «сколько уже времени?» Как и в других случаях, отражающих современное сознание, перенесение внимания с конкретного «часа» на неограниченно общее «время» связано с отношением к времени.

Время имеет свою цену, и значит, важно не его качество (*который*), а как бы количество (*сколько*). Наконец, для современного сознания характерны более общие по смыслу слова родового значения, так что и в этом отношении предпочтительность слова *время* по сравнению со словом *час* также налицо.

И хотя тенденция ясна, не все согласятся с её оценкой. Во всяком случае, сакраментальное *скока время?* – вульгарно во все времена.

«С Первым мая!»

Миллионы открыток расходятся перед каждым праздником во все города страны. И на каждой из них – сообразная поводу надпись, сделанная в меру разумения и вкуса поздравителя. По-видимому, адресаты иной раз получают и странные поздравления, что и вызывает недоуменные вопросы в «службы языка».

Вот один из них от пенсионерки: «Поздравляем Вас с 1-м Мая? 9-м Мая? С Днем Победы 9-е Мая? С Днем 8-е Марта? с Днем 7-е Ноября? По моему, это грубейшая ошибка, так как между цифрой и названием месяца (соответствующим праздником) никакие буквы *е* или *м* не ставятся. И ох как грустно получать поздравления с ошибками!»

Вот что кажется читателю, когда речь заходит не о произношении (тут всё ясно: «с Первым мая!») – о письме. На письме же каждый из нас способен сделать ошибку, особенно если слово употребляют редко. Как раз сейчас его употребляют редко и утверждают, что – навсегда.

Но принципы обозначений сохраняются.

В современной орфографии приняты два типа написаний. Число выражается цифрой или словом: 1 Мая, 8 Марта, 9 Мая, 7 Ноября или Первое мая, Восьмое марта, Девятое мая, Седьмое ноября. В обоих случаях это устойчивые официальные сочетания, которые не нуждаются во вставке букв, подсказывающих нам произношение числительного при склонении. Если числительное выражено словом (в школьных сочинениях цифры не пишут, числительные передают словами!), оно и без того склоняется: к Первому мая, с Первым мая. Если же числительное выражено цифрой, добавление букв к этой цифре нарушает закономерность цифрового обозначения, приводит к ненужному смешению письменной речи и устной. Когда возникает желание просклонять имя числительное, лучше написать его полным словом. Имя числительное как русское слово и цифра как международный символ не

соединимы в совместном официальном употреблении. Правда, существующие правила не возражают против написания «сочинения в 5-ти томах» или «выдали 27-му», но и они не являются категорическими. В устойчивые сочетания слов – термины – буквенные включения нежелательны.

Другое дело, что в обозначении праздников по дням и месяцам первое полное слово принято писать с прописной, а второе – со строчной буквы. Таким образом, правильно *1 Мая* и *Первое мая.* Это относится и к празднику *9 Мая,* но слово *Победа* больше заслуживает выделения, чем слово *день* (общее, родовое название для любого праздника, поскольку празднование длится один день). Предпочтительным кажется написание *День Победы,* хотя встречается и другое – *День победы.* Соединение обоих именований так, как это показано в процитированном письме, кажется странным, ибо «День Победы» и есть «Девятое мая».

Наконец, в перечне примеров, приведённых с открыток, даны написания с разными падежными формами: *с 8-м Марта, День 8-е Марта* и т. п. Сочетания такого типа в наше время всё больше сливаются в общее и как будто единое – сложное – слово, особенно когда мы его произносим, а не пишем. Это вызывает утрату склонения составляющих его слов. Ещё в начале XX века оба слова склонялись обязательно, поздравляли с *Восьмым мартом, с Первым маем* и т. д. Теперь же имя существительное после числительного-числа всегда стоит в форме родительного падежа («родительный даты»): *с Восьмым марта, о Восьмом марта, Восьмого марта.* В нашей разговорной речи при именах существительных всё чаще появляются сочетания, в которых не склоняется и числительное: *с праздником Первое мая, ко дню Девятое мая.* И хотя в будущем, как можно судить по другим сочетаниям, по-видимому, победит именно такое употребление, в официальной речи сегодня оно ещё не принято. Однако вторжение разговорной речи всё-таки ощущается. Видимо, этим и следует объяснить появление написания *с Днем*

8-е Марта и подобных ему. Здесь сразу три ошибки в отношении к норме, которая рекомендует писать так: *с днем 8 Марта* или – лучше – *с Восьмым марта*. «Восьмое марта» и есть «день», так зачем же писать лишнее слово?

Девяностые годы

Постоянно возникают вопросы, связанные с суммарным обозначением лет по десятилетиям.

«Принято говорить, что сейчас идут девяностые годы, а ведь это неверно, – пишет читатель. – Если следовать этому порядку, то следующие годы будут двухтысячные? нулевые? Неувязка...»

Было бы соблазнительно, по предложению другого читателя, «согласно здравому смыслу годы текущего десятилетия называть по числу не уже истекшего, но текущего десятка лет».

В этом, видимо, и заключается первая ошибка: считаем ли мы по десяткам или десятилетиям, то есть по числу или по числу лет. Одно дело – считать с 1980 по 1989 годы (как обычно и поступают), другое – с 1981 по 1990 г. (и в качестве опорного избирать число полного десятка, который завершится в будущем). Последнее кажется внешне убедительным, потому что и столетия считаются «вперёд»: 1380 год – века XIV, а 1997 год – века XX, почему бы в таком случае тот же 1997 год не причислить к двухтысячным годам?

Столетия, в отличие от десятилетий, в качестве исходного не имели первого в своём ряду, ведь времени от 0 до 99 года предшествовала не «наша эра»; пришлось указанные годы считать I веком нашей, христианской эры, и все последующие века постоянно как бы уторапливают времена и сроки. Каждое же десятилетие, начинающее свой век, не является «нулевым», поскольку оно же – начало очередного века. Сто лет назад о начале XX века писали и говорили как о *тысяча девятисотых годах* (иногда иначе: как

о *тысячи девятисотых годах* – разница в одной букве!), а задним числом мы сокращённо зовем их всех *бурные девятисотые*. 1905 год тоже входит в число *девятисотых*. Странность термина *двухтысячные* в времени с 2000 года также объясняется его непривычностью, а вовсе не принципиально возможностью такого именования.

Поэтому и у нас, и за рубежом счёт ведётся в прямой перспективе от нуля до девяти, то есть исходя из реально протекших лет от прошлого к будущему и опираясь на предыдущий десяток лет. Русская традиция именно такова, да и историки ведут счёт годам именно так. Революционный демократ Н. В. Шелгунов в своей публицистике конца XIX века точно заметил, что и вообще «в России живут десятилетиями», а не годами, так что счёт по десятилетиям социально важен. Но «если были люди 40-х, 60-х или 70-х гг., то почему же не быть и людям 80-х?» – он имел в виду время после 1881 года. Декабристы время своих наибольших страданий и петрашевцы время своей деятельности называли *сороковыми годами* (1840-е), «люди сороковых годов» – это время Белинского (который умер в 1848 году), *шестидесятники* – демократы пореформенной поры (после 1861 года), да нынешние *шестидесятники* сложились интеллектуально и нравственно в 1960-е.

Кстати сказать, девяностые годы в XIX веке упорно называли *девятидесятыми* – может быть, для различения *девяностых* от *девятого десятка*, которым начиналось последнее десятилетие века. *Девятидесятые* как термин не привился именно потому, что тут счёт ведётся не десятками, а десятилетиями, и начинаются года не с единицы, а с нуля – это современный принцип отсчёта лет.

Психологической причиной подобного искажения перспективы лет может быть принцип определения меньших отрезков времени. *Пятый десяток* разменял человек, которому ещё нет пятидесяти и только-только исполнилось сорок.

Таким образом, остается в силе рекомендация большого Академического словаря (том 1951 года): «*восьмидесятые годы* – годы от 80 до 89 соответствующего века».

«Женщина!» – «Мужчина!»

Самым резким возражениям подвергается сейчас невесть откуда появившееся обращение в общественных местах – *мужчина, женщина, дама* (хотя слово *кавалер* не употребляется!).

В статьях, выступлениях, в спорах подобное обращение называется грубым, пришедшим из первобытного общества (в котором не было ещё других признаков различения, кроме полового). Есть и другие «красивые обращения», которые под стать этим: *мамаша, тётенька, дяденька, бабуля, дедуля...*

И справедливая обида: тот, кто кричит в автобусе: «Эй, женщина, пробей билет!» – не просто невежливый человек, но человек, не владеющий культурой речи. Как же так случилось, что сегодня не находится простого и звучного слова, с помощью которого можно было бы непринуждённо, приветливо и с достоинством обратиться к незнакомой женщине средних лет? Неужели нельзя придумать такого слова?

Вопрос этот важен настолько же, насколько он и неразрешим. Никто ещё не «придумывал» подобных слов, а история прочих, таких же в прошлом грубых, обращений показывает, что вряд ли это и возможно.

Есть одно внутреннее противоречие в смысле самих слов, которое всегда помешает этому. Противоречие между потребностью в самом общем для обращения слове и конкретным употреблением его в каждом отдельном случае, разговоре состоит в том, что любое слово, какое бы мы ни взяли для этой надобности, наполненное своим внутренним, ему присущим смыслом, сразу же выразит и наше отношение к человеку – приветливое, настороженное, снисходительное, почти-

тельное – всякое, но прежде всего – официальное. Чтобы слово утратило относительность своего значения и стало всеобщим, нужно, чтобы стало оно безличным, утратило свой смысл и, как расхожая монета со стершимся чеканом, стало совершенно другим словом. Вряд ли это случится с такими важными и нужными для языка словами, как *женщина* и *мужчина*.

И верно, многие русские слова длинной чередой прошли этот путь, сменяя друг друга: *государь*, *господин*, *сударь*, *товарищ*, *гражданин* и прочие, более частные по значению. Каждое из них, включаясь в этот процесс, как бы расслаивает население на социальные или производственные группы, которые не обозначишь обобщённым словом-обращением. Не без оснований, в частности, полагают, что слово *товарищ* применимо скорее к сильной половине рода человеческого, а вот для женщин... И остается *женщина*!

Что вызывает сомнение в новом обращении? Только то, что не социальный отпечаток несёт на себе обращение *женщина*! Какой-то другой, назовите его как угодно. Предпочтение же этого слова объясняется, видимо, вот чем.

Слово *женщина* (как и *мужчина* – несколько позже) относительно новое, появилось в XVI веке, первоначально было обозначением женщины низкого звания (так и в «Домострое»). В «Сказании о Гришке Отрепьеве» Марину Мнишек именуют высоким словом *жена*, а её служанок – *женщинами* да *девками*. В словаре конца XVIII века *мужчина* – 'житель сельский', т. е. мужик, мужичок. Только в пушкинское время вошли эти слова в литературный язык, но в единственном значении: *женщина* – 'лицо, противополагаемое по полу мужчине'. Даже современное написание этих слов установилось не так давно, не более ста лет назад. До этого писали их как придётся, обычно *мущина*, хотя уже в 1839 году академик А. Х. Востоков рекомендовал писать *мужчина*: так ближе к исходному слову *муж*, сохраняется образ производного слова и ясно, что *мужчина* не просто *мужик* – он *муж*. Тем

не менее даже в наши дни в словаре Ушакова можно было увидеть рядом: *мущина* и *мужчина*.

Мужчина и *женщина* по исходному смыслу – собирательные слова. Обозначали совокупность лиц определённого пола, принадлежность человека этому полу (примерно того же смысла теперь вульгарные *мужики*, *бабьё*). Со временем слова стали нейтральными по стилю, поскольку изменили значение переносом смысла: исходная собирательность оказалась важной в обозначении уважаемого лица.

Переосмысление слов происходило во второй половине XIX века не без влияния литературного языка. «В русском народном лексиконе, – отмечал Н. В. Шелгунов, – нет слова *женщина*, а есть *баба* или *девка*... Вся Россия, сверху донизу, не знала другой женщины, кроме *бабы*». Положение то же, что и со словами *жена* и *супруга*. Эмоции бытового разговора, переосмыслив старинный образ, перетасовали и стилистическое, и смысловое значения русских слов. Уважительность слова *женщина* для многих и сейчас заметна на фоне других, не таких уж плохих русских слов. Можно догадываться, что человек, который обращается к вам «мужчина!» или «женщина!», желает выразить самое высокое своё уважение.

Но как бы ни изменялось отношение к слову *женщина* (ещё в XIX веке оно казалось вульгарным), его основное значение всегда было связано с различием по полу, потому что и образовано оно было от относительного прилагательного *жен-ск-ий*; *жен-щ-ина*.

На протяжении всего XIX века слова эти оставались под подозрением как грубые, простонародные, неудобные в разговоре. Знаменитое: «Ах, мущина, ты уморил меня!..» – известно чуть ли не два века, оставаясь в лексиконе женщин известного рода. «Мужчина!.. мужчинка!..» – это их клич на вечерних улицах Петербурга XIX века. Писатели тонко это чувствовали. Чтобы не сказать *мужчинов*, А. В. Дружинин в 1847 году употребляет в повести слово *мужик* – всё-таки проще. И. И. Панаев рассказывал, что Дружинин

«*дамами* почему-то называл женщин». Такова позиция представителя «чистого искусства» в русской литературе. Напротив, Н. С. Лесков слово *дама* предлагал заменить коренным русским словом *женщина* и гордился своей смелостью. *Пошлая, нахальная, вздорная, глупая* – вот определения, которые сопровождают это слово в бытовых повестях и рассказах XIX века. Сегодня подобные экспрессивные выражения сопрягаются чаще со словом *баба*.

Случилось, однако, так, что именно слово *женщина* за последние полвека в большей мере, чем *мужчина*, стало словом, освобождённым от старых предрассудков и социальных ограничений. На его значении сказался тот самый процесс эмансипации, который мы признаём важным социальным завоеванием современного общества. Это слово включило в себя и значения слов, упразднённых временем: *сударыня, мадам, госпожа*. Вбирая в себя социальные признаки, свойственные упразднённым словам, заменяя их в обиходе, слово переводит признак пола как бы на второй план, – особенно в эмоциональной женской речи. Отсюда и *женщина* как обращение, подчас подчеркнуто нейтральное на фоне других слов. Возникает и различие, с помощью разных слов выражают своё отношение, например, работники сферы обслуживания. Почти одновременно в ателье закройщица произнесёт: «Женщина, куда вы лезете?» – и тут же: «У дамы нет подкладки», – в отношении к разным лицам.

Правда, после утраты слов *господин* и *госпожа* слова *мужчина* и *женщина* больше других оказались подготовленными к замещению старых слов; и сами по себе в своём значении они родились недавно. На юге страны это вошло в широкий обиход, между прочим, и потому, что украинское слово *жинко, жиночко* может быть переведено только словом *женщина*. Однако в украинском языке это звательная форма слова, которая и сама по себе является обращением. В русском же языке звательной формы нет уже несколько веков, так что русский перевод живой укра-

инской формы звучит весьма искусственно для слова *женщина*.

Вообще попытки найти «общее для всех» слово-обращение обречены на провал. Нельзя безнаказанно использовать одно и то же слово общего пользования при обращении к конкретному человеку в самых разных обстоятельствах. В природе русского человека — различать каждого, к кому обращаешься, со всяким вести разговор наособицу. Русский язык потому и противится возникновению любых «общих» слов, что ему при его богатстве легко найти разнообразные формы включения в разговор: *пожалуйста*, *простите*, *позвольте* — здесь соблюдена необходимая мера почтительности и вместе с тем — безличности. От нас самих всегда зависит выбрать форму обращения — и в этом свобода пользования языком.

Многие убеждены, что в других языках искомое «общее слово» имеется, и в качестве примера даже указывают польское *пан* или английское *мистер*. Это мнение не совсем правильно, потому что в любом языке слова-обращения имеют и другое назначение, также используются с добавлением имени — для того, чтобы переключить разговор с официального уровня на неформальный. В любом языке эти «общие слова» в частном разговоре также сопротивляются налету официальности.

Вспомним и историю заимствованных слов-обращений, таких как *мадам* или *мадемуазель*: уж на что они были «всеобщими», но именно в этом смысле они и получили со временем неодобрительный оттенок, в вульгарном произношении 1920-х годов превратились в *медам* да *мамзель*. Чем шире значение слова, тем безразличнее оно по своим социальным характеристикам, тем обиднее становится со временем, потому что безликость и безразличие обижают современного человека больше, чем вульгарное слово.

Такова точка зрения лингвиста, знакомого с историей всех этих слов и с тем положением, которое сложилось в русском языке. Что же касается общест-

венного мнения, оно может в будущем это мнение опровергнуть, создав столь необходимое общее словообращение. Но ни *женщина*, ни *мужчина* не будут такими словами, это ясно. Слишком много образов в них, эмоций, переживаний, в том числе и личных. Вот как в романе Ю. Семёнова «Аукцион»:

« – Мужчина! – окликнул Степанова на аэровокзале молоденький милиционер. – Вы что, не видите, здесь хода нет!

Степанов даже зажмурился от ярости, вспомнил Галину Ивановну (врача. – *В. К.*): «Только стрессов избегайте...» А это что же такое, когда вместо *товарищ* или, допустим, *гражданин* человек в форме обращается к тебе *мужчина*?!

– Я вам не мужчина, – ответил Степанов, понимая, что остановить себя уже не сможет.

– А кто же вы? – удивился милиционер. – Не женщина ведь...

– Чему вас на политзанятиях учат?!»

Молодец, мальчишка, молодой человек

Бывают в языке корни, с которыми веками связаны самые разные, почти не меняющиеся эмоции. Нет-нет да проявят себя, обожгут – и снова в спячку. Декабрист А. Беляев писал о годах учения в морском корпусе: «Кто под розгами не кричал, тот назывался *молодцом*, *чугуном* и *стариком*». *Молодец* – молодой, но при чём тут *старик*? Да и с молодцом тут не всё ясно: *мóлодец* или *молодéц*?

На самом деле *молодец* (любимое слово современных спортивных комментаторов) никогда не вызывал особых симпатий. Озорник, задира, обидчик... Молодо-зелено, опыта нет, а дерзости хоть отбавляй: идут молодые из дома по белу свету наездниками да ушкуйниками, свет повидать да силушкой помериться. Уменьшительный суффикс вполне уместен при этом

слове, потому что *молодец* не просто молод, он мал ещё для самостоятельной жизни.

Со временем стали *мóлодцы молодцáми*, – потребовалось новое слово, чтобы отметить им непослушных Васек Буслаевых. С XVII века известны и *мальчики* – слово, которое ещё в начале XIX века было весьма осудительным (у В. Сологуба синоним ему: «эти молокососы»). Однако и с *мальчиками* разобрались, приспособили слово для обозначения того возраста, который прежде именовался отрочеством.

Но, видимо, очень нуждались всё-таки в слове, которым со всем осуждением можно было выразить своё отрицательное отношение к буйству зелёных и молодых, без руля и ветрил, вступающих в жизнь людей. Усилили слово *мальчики* суффиксом и получили: *мальчишки*! В журнальной борьбе середины XIX века *мальчишки* – тоже ругательное слово. Таким его сделал редактор московских изданий М. Н. Катков. Революционных демократов «называли *свистунами, нигилистами, мальчишками*, для них придумано слово *свистопляска*», – говорит современник Каткова Д. И. Писарев.

Одной отрицательной эмоцией дела не сделаешь. Нужно было ответить реакционеру словом, близким по смыслу, но уже положительного свойства. И. И. Панаев вспоминал, как в кругу «Современника» рождалось такое слово, немного литературное, не столь короткое, но зато уважительное: *молодые люди*. По составу слов оно не ново, уже просветители XVIII века *молодыми людьми* называли тех, кто возрастом противопоставлен старикам. Да и потом сочетание сохраняло исконное своё значение; например, Достоевский говорит: «не дети, а подростки, будущие молодые люди». В подцензурной печати, наполненное особым, сокровенным смыслом (противоположность старикам не просто по возрасту, но и уничижительному *мальчишки*), возникает эмоционально новое выражение – *молодые люди*. О них писал Н. А. Добролюбов. Не молодецкую удаль, не легкомыслие бульварных мальчишек

выражает это понятие – люди, достойные уважения, хотя ещё и молодые. С ними следует вести серьёзный разговор. Потому и встретили в штыки это сочетание противники революционных демократов. «Вы, *молодые люди*!» – иронически говорит один из героев соллогубовского «Тарантаса». То же в «Петербургских трущобах» Вс. Крестовского: «Знаете ли, какие это *молодые люди*? Богоотступники, красные!» Нет, не случайно тогда же обронил Достоевский: «Молодой человек... молодое перо... а ещё обижается за слово *молодой*!» Как не обидёться...

Так в идейной борьбе наметилось противостояние: *молодые люди* встали против *мальчишек*. Устойчивое слово, почти термин. Не млодцы – люди. Молодые люди.

Шестнадцатилетнего мальчика принимали в салоне «как взрослого молодого человека», а те, кому оказался он не по нраву, величали его мальчишкой. Так, в мемуарах Д. Свербеева взрослый (зрелый) чётко отличен от мальчишки. Знаменитый педагог В. Острогорский таким же образом противопоставил понятия *молодой человек* и *мальчишка*: в университете «смотрели на нас не как на мальчишек, а как на молодых людей, пришедших взять у них знания».

В осудительном слове *мальчишка* как бы сошлись и «мальчик», и «молодой человек», но со временем эмоция в этом слове как-то угасла, и в новом эмоциональном накале в разговорный язык поступали слова из жаргонов и просторечия. У изысканных аристократов в их мемуарах выражением высшей степени отвращения к выскочкам-биржевикам и прочим «случайным людям» стали слова *ребята*, *парни*, *мальчишки*. Теперь не одно лишь классовое отношение к подобным людям содержится в унижающем слове *мальчишка*. Те же мемуаристы с таким же осуждением говорят о «кровавом мальчуганстве», «мальчишестве», «мальчишеском безумстве» царской клики в связи с событиями 1905 года. *Мальчишки*, *мальчуганы*, *парни*, *ребята*... Эмоциональная насыщенность смысла, который все эти

слова в себе несут, усиливается неспособностью к делу, незрелостью, тупостью.

Тем временем развивалось и понятие о «молодом человеке». Поначалу он «молод», потому что ещё учится. Но вот как (по словам В. Г. Белинского) понимали молодого человека в Москве 1844 года: «Люди, поставившие образованность целью своей жизни, сначала бывают молодыми людьми, подающими о себе большие надежды, и потом, если вовремя не выедут из Москвы, делаются москвичами и тогда уже перестают подавать о себе какие-нибудь надежды, как люди, для которых прошла пора обещать, а пора исполнять ещё не наступила». В повести Л. Толстого «Казаки» Оленин ещё «был то, что называется *молодой человек* в московском обществе», а тогда это означало: не учится, не служит, промотал состояние. В 1882 году тот же Л. Толстой говорит о *молодых людях* и *юношах* как о словах-синонимах, без всякого «московского», неодобрительного оттенка. Старшему поколению понятие это всё ещё кажется осудительным, таким уж оно пришло из прошлого с его культом старчества и старшинства. В начале века нейтральным оставалось слово *юноша* – с простым указанием на возраст человека, но если требовалось о том же юноше высказаться неодобрительно, говорили: «нынешние молодые люди». Слишком высокое, книжное слово *юноша* уже не удовлетворяло всех возможностей речи, появилось сочетание *молодые люди*.

В своих мемуарах «Записки старой смолянки» В. П. Быкова описывает арест петрашевцев в 1849 году, называя их «безумные “молодые” люди» – в кавычках. Не все они были молодыми по возрасту, но все, по её мнению, равно «безумные»; два года спустя то же слово даётся уже без кавычек: «Попадаются иногда молодые люди, выходящие из обычной и избитой колеи». Вряд ли это личное отношение смолянки к юношам, в числе которых были и её друзья. Кавычки поначалу передают переносное значение слова, но довольно скоро оказываются излишними: сочетание *мо-*

лодые люди становится термином социального звучания и значит примерно то же, что несколько позже связывали с выражением *новые люди*. Традиционный термин в условиях николаевской России наполняется новым содержанием, и не одно желание эмоциональным подчеркиванием смысла выделить его движет этим перебором общественно значимых терминов.

Молодые люди, как выражение с положительным значением, со временем расширило свой смысл. Так стали говорить о молодом, незрелом, ещё не очень самостоятельном мужчине. В начале XX века вошло в обиход и обращение, известное до нашего времени: *«Молодой человек!»* В одной из пьес его использует А. Чехов, очень тонко чувствовавший всякую новинку в современном ему разговорном языке.

Стоило только появиться «молодому человеку» (как обращению к любому мужчине), в ряд с ним возникает и «девушка»! Это обращение, сменяя старое «барышня», впервые появилось в разговорной речи Москвы 20-х годов XX века; подобрав его там, пустил в оборот и сделал всеобщим достоянием В. Маяковский. Конечно, поэт не предполагал, что и пожилых продавщиц в магазине станут окликать: *«Девушка-а-а!»*

Как только термин социального характера путем эмоционального сдвига расширяет сферу своего употребления, он становится словом с неопределённым значением и только смущает умы. Так и в этом случае. *Девушка* – не только «лицо женского пола, не состоящее в браке», но и «служанка в доме, прислуга», – таковы два значения слова, прямое и переносное (социальное), пришедшие к нам из прошлого. И барышня и прислуга одновременно; и кто знает, не скрывается ли за сдвигом значения в словах *барышня – девушка* стремление поднять служанку – девушку до уровня барышни? Переносные значения слов в каждое время свои. Так кем же оказывается «девушка» в магазине сегодня?

«Ребята!»

Общее слово-обращение, применимое сразу к любому человеку, трудно придумать. Были попытки сделать это, да неудачные. Вот одно из предложений, присланных в газету: «Говорят, что нельзя придумать общее ко всем обращение. Почему? Не верю. Стоит только бросить клич, таких слов наберутся десятки – выбирай, пожалуйста! Такое слово предлагаю и я. Это – *Люджен* – обращение к мужчине, *Люджена* – обращение к женщине. Почему? Эти слова сложные и имеют два корня: *люд* – люди, человек, и *жен* – женат (женатый человек), а замужняя женщина – *Люджена*. Хотелось бы, чтобы вы отвергли или обосновали моё предложение...»

Трудно, а может быть, и невозможно обосновать это предложение. Не хватает исходного материала: каково ударение этих слов, какова логика выбора составных их частей, как быть, наконец, с незамужними? Ведь тогда, во всяком случае, не будет «общего слова», а ведь именно оно и требуется.

Что самое неприятное – внутренний образ нового слова получается «зверский»: неминуемо возникают представления о людоеде. Обратись этак к «незнакомой женщине средних лет», что она скажет?! Нужно учесть и это обстоятельство, потому что каждое новое слово мыслью и чувством сцепляется со множеством других, старых, которые поддерживают его, пока не стало оно на ноги, не зажило самостоятельной жизнью.

Вдобавок любой мужчина, конечно, не согласится, чтобы его называли женою: *люд-жен*. Может быть, и привыкнут со временем, кто знает, но пока...

Нужно сказать, что в древности существовал термин, отчасти похожий на «новое» слово: *малжена* – супруги, живущие в браке. В нём *жен* – элемент общий для обоих супругов. Однако всякий, кто встретит подобное слово хотя бы в историческом романе, опять возмутится: ведь стоит назвать «незнакомую женщину

средних лет» этаким словом – и тебя под венец!.. Опять неладно.

Наконец, придуманное слово чрезмерно длинно и трудно в произношении. Сложно произнести не запинаясь, а дело ведь в том, чтобы подобные слова произносились безразлично и быстро, потому что в разговоре обращение нужно лишь как вступление к делу. А тут что получается? Станут сокращать: «люджа!» – смешают мужчин и женщин, холостых и женатых; «люд!» – ещё хуже, потому что неясно, какой, собственно, люд имеется в виду...

Даже простое рассуждение показывает, что и этот проект не годится, как не годятся и десятки прочих проектов. Такие слова не приходят из чернильниц, они возникают сами, становясь завершающим долгий путь развития моментом «обобщения» слова.

Считают, что слово *гражданин*, как и *сударь*, *господин*, – достояние прошлого. И в наши дни лучше использовать это слово в сочетании со словами *уважаемый*, *уважаемая*: «уважаемая гражданочка, уважаемый гражданин» – чем плохо? Здесь нет оттенка официальности, это бытовое обращение, разумеется, если к этому добавить: *будьте любезны*, *будьте добры*, *пожалуйста*, *сделайте одолжение*, *прошу вас* и проч. Ничуть не хуже звучат в обращении и *любезный*, *любезная*. Можно было бы пользоваться такими словами, как *почтенный*, *достопочтенный*... Ну, а в обращении к несовершеннолетним много своих слов: *мальчик*, *девочка*, *парень*, *молодой человек*, *девушка*, есть и хорошее собирательное *ребята* для обоих полов. Все эти слова и сегодня живут.

Но если это так, непонятно, зачем искать единственное «общее слово»? Переберем весь исторический словарь и будем друг другу говорить любезности: «Достопочтенный уважаемый гражданин, сделайте одолжение, дайте пройти!» И вас пропустят. И потом, если слово *гражданин* – прошедший этап, то зачем выражение «уважаемый гражданин»? Недостаток этого предложения в том, что официальные обращения пись-

менной речи оно рекомендует для бытового – устного – обихода. Нежизнеспособное это предложение, и даже объяснять не стоит, почему.

Слово *ребята* годится якобы для обоих полов. Но и с этим нельзя согласиться. Искони это слово относилось только к мальчикам, парням, молодым людям. В армии так называли солдат, в городе – хулиганов. И. С. Тургенев в личных письмах так величал разбойников пера. Царские приказы по войскам начинались словом: «Ребята!» И значит оно не что иное, как 'подневольные рабы', 'маленькие люди' под чьим-то началом, кто ведёт их в «дело», каким бы оно ни было. В просторечие слово это пришло из жаргона городского дна: в XIX веке именно так обращались друг к другу на Сенной площади. До сих пор вульгарность слова ещё ощущается, хотя в известном смысле его употребляли и в художественной литературе.

Говорят ещё об одном типе обращений, который вызывает законную тревогу: «Верка, шагай сюда, здесь твоё место!» Это раздаётся клич в театральном зале, в котором вы приготовились слушать оперу или посмотреть пьесу. Иностранцы нередко спрашивают, почему у нас обращаются друг к другу так: *Верка*, *Ванька*, *Любка*, *Сережка*?

Как ответить на этот вопрос? Приходится ссылаться на жаргон, который процветает в городе. Вот из жаргона-то «Верка» и пришла. Это действительно жаргонное обращение, но жаргон не народных низов, как можно было бы подумать. В народе обращение друг к другу уважительное; даже соседку, с которой не в ладах, называют скорее по отчеству, чем по имени. Уменьшительные имена – а тогда они были не уничижительными, а всего лишь уменьшительными – появились среди молодёжи 60-х годов XIX века, особенно, как тогда говорили, среди «эмансипированных». П. Д. Бобрыкин описал напускную народность русских анархистов, живших в эмиграции, которые вводили в обиход подобную речь. «Все это были “Иваны”, “Соньки”, “Машки” и “Грушки”, а фамилий и имён

с отчествами не употреблялось... Они не только перекликались такими "уничижительными" именами, но нарочно при мне пускали такие фразы:

– Ты груши слопала все? – спрашивала Сонька Машку.

– Нет, ещё ни одной не трескала.

Это был своего рода спорт "опрощения"».

Они употребляли эти словечки в громком разговоре и нарочно, добавляет Бобрыкин, демонстрируя свою свободу от условностей, в первую очередь – в языке.

Впоследствии эти дамы стали вполне благополучными обывательницами, женами фабрикантов и предводителей дворянства. И попытка перейти на «народные» формы обращения не удалась.

Такова же была на рубеже веков грубоватая, «под народ», речь купеческого сословия. Там со словами не церемонились, вместо «женщина!» кричали: «А ну, бабьё, в киятры пойдём?!» (И. Мясницкий). Разумеется, и такое обращение для нас не годится...

Полагают, будто можно придумать какие-то новые слова, подходящие всем, привлекая к этому учёных-филологов и писателей. Ведь известно, что именно писатели внесли много нового в словарь русского языка. Мысль хорошая, совершенно правильная. Вот только и они, писатели и учёные, ничего сочинить не могут. Потому что сочинить – заранее обречь любимое своё дитя: не будет оно жизнеспособно. Но выбрать из десятков слов и посоветовать они могут.

Они и советуют: возьмите для простого, неформального обращения слова *сударь*, *сударыня*. Нет! Не берут...

«Сударыня!» – «Сударь!»

Писатель В. Солоухин предложил ввести в бытовой обиход слово *сударь*, а значит, и слово *сударыня*. Старинное русское слово, которое ничем себя не опорочило, а только на время отодвинулось в сторону. По искон-

ному своему смыслу, которым и живут обычно слова, оно значит то же, что *гражданин*: *сударь* происходит от *государь*, а на Руси государем именовали всякого свободного человека, хозяина, гражданина. Разница только в том, что *гражданин* книжное слово, а *сударь* – коренное русское. Правда, с писателем не согласились, многие не видят даже надобности различать торжественное *товарищ*, официальное *гражданин*, бытовое *сударь*.

Та же проблема со словом *сударыня*. Воспитанный человек в возрасте, столкнувшись в дверях с женщиной, скажет: «Мадам, прошу вас», – и он не покажется белой вороной. Однако слово это всё же не очень подходящее: оно нерусское и слишком вычурное. Конечно, *мадам* лучше, чем *дама*, хотя и последнее обращение защищают; оно обычно в сфере обслуживания, к тому же *дама* всё-таки уместнее, чем *клиентка* или (тем более) *женщина*. Высказывают предположение-мечту, что, возможно, в будущем появится *берегиня* или *дариня* (дарит жизнь). А поласковее – что-нибудь вроде *дарушка*, *сударушка*... Вот случайно *сударыня* и получилась.

Удивительно, о чём бы мы ни заговорили, непременно очередным поворотом мысли возвращаемся к *сударыне*! Случайно ли это? Всё уже было, были и *берегыни* (так в древности назвали наши предки русалок), были и *дарушки*. Всё уже было, но в любом проявлении эмоции, данной в слове, мы неизбежно возвращаемся к этому: *сударь*... *сударыня*...

У русских слово *сударь* в качестве разговорного обращения к свободному человеку известно с XVII века. По воспоминаниям иноземцев, посещавших Москву в те годы, говорили тогда на Москве «*сударь* такой-то», т. е. господин такой-то, и относили ко всем взрослым людям независимо от их социального положения. Значит, первоначально было это и обращением, и приложением к имени собственному, и простым существительным именем. Всё как обычно, как водится у русских слов, как было в девятнадцатом веке и

у слова *гражданин*, как сегодня наблюдается у слова *женщина*, как у всякого слова-обращения поначалу бывает.

Обкатанное в речи многих поколений, *сударь* является теперь идеальным словом-обращением, и вот почему. Утратив все прежние смыслы, стало оно теперь только обращением. Мы не скажем *сударь Иванов* или *тот сударь*. Это обращение равного к равному, оно утратило всякие исторические и образные связи с другими словами нашего словаря: например, никак не ощущается его связь со словом *государство*. Оно одинаково соотносится с формами *ты* и *вы*, и притом в отношении к мужчине и женщине безразлично, потому что кроме слова *сударь* есть ещё и *сударыня*. Во всех видах имеет формы ласкательные (*сударушка*) и уничижительные (*сударка*) и т. д. Во всяком случае, это лучше, чем обращение *девушка*, как веяние нового времени, введённое В. Маяковским вместо «постылого» *барышня*, или *бабуля*, которое огорчает многих наших современниц. Помимо всего, *сударыня* и стилистически нейтрально, хотя слово *сударь*, конечно, может звучать и иронически; но это зависит уже не от слова.

Можно добавить: в истории этого слова случилось так много событий, что исконный его смысл давно утрачен, потому что словесный образ исчез, и мы не связываем в своём представлении слов *государство* и *(го)сударь*. Мысль долго металась в поисках наиболее точной и краткой формы, способной в разговоре стать простым знаком обращения, и вот: *господáрь* в *государь*, а *государь* – в *осудáрь*, а дальше либо в обращение, сжатое до предела, *осу* (ходило в XVII веке), либо в понятное всё ещё *судáрь*, а *судáрь* уже почти не по-русски, исчезает образ: ни «суд», ни «господь», ни «господин», ни «государство». Тогда и появилось *сдарь*, а из него и простое *с*, «словоерс», как в ответе: *да-с*. Чем меньше связей по смыслу с другими словами в речи, чем быстрее утрачивается в слове народный образ, тем вернее обречено и слово: сойдёт на нет, исчезнет из речи. Мы не принимаем этого холуйского *с*, хотя иногда оно

и слышится. Ведь *слушаю-с* стало уже *слушаюсь*! Ни *господарь*, ни *государь* не годятся, как не годится нам и незадачливый их потомок *с*; но чем же плох *су́дарь*?

Вот и все основания, какие можно выставить для оправдания *сударя* и *сударыни*. Для лингвиста их достаточно, они определяют возможность выбора: только так! Убеждает ли это вас – судите сами, но давайте судить объективно.

И не пользуйтесь аргументом: *сударь* и *сударыня* отменены революцией, так что... Напротив! По свидетельству современников тех событий, когда по общему убеждению должны были бы отменить эти слова, *барыня*, *барин*, *господин*, *госпожа* получили ругательное значение, о *сударе* же или *сударыне* речи нет – эмоциональная девальвация этих слов наступила значительно раньше, и тому есть причины. Первая, конечно, социальная: отношение к равному не могло сохраниться в классовом обществе. Затем и скороговорочное произношение, как бы стыдясь и с оглядкой, сократило слово до *с*, а полная форма была дискредитирована плохой литературой. Уже в середине XIX века Достоевский писал: «Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнёс: – Сударыня! – если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня».

Остановит ли это и нас – пока неясно, но ведь давно мы уже не читаем подобных романов, и даже нынешние их издания неизвестны!

Так обстоят дела, если взглянуть на них непредубеждённо и притом в исторической перспективе. Но единолично никто вопроса не решит. Кажется, однако, что с точки зрения стиля жизни и общения людей в наше время трёх этих слов вполне достаточно: *сударь* – *гражданин* – *товарищ*. Не следует только их смешивать и употреблять не к месту, подражая в этом героям рассказов М. Зощенко.

Гражданин и товарищ

Слов *гражданин* и *товарищ* не случайно избегают сегодня в бытовом и беглом разговоре. Это старинные книжные слова, заимствованные давно, и даже их форма указывает на это: народными соответствиями им являются *горожанин* и *друг* (ср. болгарское слово *другарь* – перевод нашего *товарищ*). *Гражданин* всегда значило 'обладающий политическими правами свободный человек', а *товарищ* – 'соучастник в общем деле (походе, путешествии, бою и т.д.)', т. е. соратник.

В отношении второго слова, которое со временем стало получать переносные значения, уже в XIX веке возникло смешение смыслов, нежелательная игра слов. «В гимназии я с товарищами был на *ты*, но ни с кем почти не был товарищем», – говорит Подросток у Достоевского. Раз вместе учатся – значит товарищи, но товарищеских отношений нет. «Генерал объявил мне, что я избран почётным членом академии, и очень любезно прибавил, что мы теперь с ним товарищи», – пишет в дневнике А. В. Никитенко. «Некий товарищ (заместитель. – *В. К.*) министра говорил: “Я-то ему товарищ, да он мне не товарищ!”» – записал в своём дневнике А. С. Суворин.

Товарищем называли также компаньона в деле, членов одного студенческого кружка, даже аккомпаниатора, сопровождавшего игру на скрипке, – словом, каждого, кто участвовал, хотя бы недолго, в общем деле.

С конца XVIII века оба слова стали использовать и как обращения, причём одни предпочитали слово *гражданин*, видя в нём большой политический смысл (К. Рылеев), а другие – *товарищ* (А. Пушкин). Не обошлось и без запретов. Павел I запретил слово *гражданин*, но оставил *товарищ*. Наоборот, в 1852 году цензору в подцензурном издании встретилось слово *демос* – народ. Цензор никак не соглашался пропустить это слово и заменил его словом *граждане*.

Слово же *товарищ* долго было конкретным по значению и могло заменяться другим, переводным: *ком-*

рад, коллега и проч. До революции слово *товарищ* стало и партийным словом революционеров, причём товарищами могли быть друг другу только в рядах одной партии.

Современные значения слово *гражданин* получило после Февральской, а слово *товарищ* – после Октябрьской революции 1917 года, и рабочие долго не понимали значения этих терминов; говорили, например, так: «*товарищ* – это по-нынешнему зовут» (1928). Юридическим термином слово *гражданин* стало с 1918 года, заменив опороченное царским правительством слово *подданный*, а *товарищ* – по конституции 1936 года. *Товарищ* с самого начала – политический термин, и потому не случайно в 1920-е годы белоэмигранты издевались над тем, что революция превратила это слово «в совершенно бессодержательное обращение, – выдуманное, выпотрошенное слово».

Классовая позиция в отношении к слову сохранялась долго, фактически – до начала 1940-х годов. В повестях из жизни 1920-х годов герои говорили только *гражданин* и *гражданка*, и это было единственное нейтральное слово, с каким могли обратиться к любому встречному. Но и его как термин социальной важности понимали различно, с разных позиций – за это и боролись в огне гражданской войны! В. Катаев вспоминал: «Пишу *гражданка* потому, что в то легендарное время дореволюционные слова вроде *барышня* или *мадемуазель* были упразднены... Сказать же *молодая особа* было слишком в духе Диккенса, старомодно, а потому смешно и даже непристойно. *Красавица* – ещё более смешно. *Дама* – оскорбительно-насмешливо. Оставалось *гражданка*, так как напоминало "Боги жаждут" Анатоля Франса и прочие французские книги о революции». А вот свидетельство лингвиста. Г. Винокур писал в 1929 году: «Обращение *товарищ* в годы нэпа стало заменяться словом *гражданин*. Самое нейтральное слово, гражданином называют и благожелательного иностранца: *гражданин Эррио*».

Различие между *товарищ* и *гражданин* сохранялось и далее, но слово *товарищ* по-прежнему понималось по-разному. Вот свидетельство нашей современницы: «В Институте усовершенствования врачей в Ленинграде слушали лекцию профессора Белановского (микробиолог всемирного значения). Погас свет. Вызвали монтёра. Он повреждение исправил и обратился к профессору: "Товарищ профессор, разрешите послушать вашу лекцию?" Ответ: "Я вам не товарищ, удалитесь". В зале послышался шорох – реакция на ответ профессора монтёру».

Профессор в 1940 году не мог сказать иначе, потому что для него – старика – слово *товарищ* было иного смысла, чем для молодого монтёра. *Товарищ* – коллега, соучастник в конкретном и общем деле, а у него с монтёром, конечно же, не было ничего общего. Он, прежде чем обидеть монтёра, и сам был обижен. Пока сохранялось такое разное понимание слова, и речи не возникало о том, чтобы пользоваться словом *товарищ* как разговорным обращением!

В известной песне на слова В. Лебедева-Кумача, которую пела вся страна, слово *товарищ* названо *гордым*, и это верно. Но это же объясняет и то, почему ни официальное *гражданин* (всегда требует обращения на *вы*), ни партийное слово *товарищ* (обычно на *ты*) не годятся как обращение в бытовом разговоре с незнакомым человеком, и на практике это всеми осознается. Ведь и *гражданин*, и *товарищ*, слова политического лексикона, по смыслу своему не только объединяют людей общим словом, они и противопоставляют их по какому-то признаку, достаточно важному, чтобы его учесть.

Нельзя не согласиться с теми, кто полагает: не каждого можно назвать – *товарищ*, не к каждому обратиться – *гражданин*! Первое нужно заслужить, а на второе иметь право, являясь лицом официальным. Чтобы при обращении к незнакомому человеку сразу же войти в атмосферу доверия и простого бытового разговора, во время войны стали говорить: *друг*. Слово

ёмкое, в некоторых значениях оно и *товарищ*, и *коллега*, и *гражданин*, во всяком случае включило в себя и значения этих слов. Оно и сейчас в ходу, простое и древнее слово.

В семье обращались друг к другу по имени, в деревне – по отчеству, потому что деревня большая, имена могли повторяться; в городе – по фамилии, а если знаешь имя-отчество, то и так. А когда не знаешь, как быть? во всяком случае, не годится простое: *гражданин*, *товарищ*. Эти общего значения, родовые по смыслу слова, в обращении к незнакомому человеку, воля ваша, звучат не совсем хорошо.

Значит, *сударь*, может быть – *друг*?.. Трудно настаивать. Но не *мадам*, не *мужчина*, не *дама*... Вспомним В. Вересаева: «Позвольте довести до вашего сведения, что у воспитанных людей не принято называть кого-нибудь *молодой человек*, *милейший*, *мой дорогой*. Это хамство. Осведомятся об имени-отчестве, так и называют, и уж не забывают и не путают».

Если читатель был внимателен и вникал в рассказ не спеша, он поймет главную мысль: чем значительней слово, тем выше ценим его, чем важнее оно для нас – тем меньше и оснований пустить его в пустой оборот меж случайных людей. Степень достоинства выше по мере того, как узнаём человека в деле и по делам: *Сударь? – Гражданин! – Товарищ...*

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?»

Имя собственное

Имя собственное – «принадлежит себе», потому что в древнерусском языке *собь* – это 'собственность' (отсюда, между прочим, и слово *свобода*). Чужое имя – другая судьба. Язычники тщательно подбирали имя наследнику: не случилось бы чего плохого.

Имя человека – имя собственное, оно показывает, каков человек есть или каким его хотят видеть.

История же такова. В древности имён собственных было мало, зато у каждого человека личных имён накапливалось достаточно. Родился вторым в семье – *Другой*, неповоротлив и вял – *Леной* (ленивый), родитель верит в твою славу – *Ярославъ*, поп окрестил – *Петръ*... и так далее, в зависимости от судьбы, от того, как сложится жизнь. Одна дочь – *Румяна*, другая – *Беляна*, хороша и та, и другая... Именем собственным может стать также любое слово – если оно относится к конкретному человеку.

Мы сказали бы: не имена, а прозвища. Смысл слова *прозвище* ясен: *про-зъв-ище*. Корень *-зъв-* тот же, что в словах *зъвати* и *зъвъ*, и *призывъ*. Зовом призывают человека, зовут его. Важнее приставка *про-*, чередованием гласных связана она с приставкой *пра-*. *Пра-* – это то, что было: *прадед*, *прабабка*, *пращуры*... *Про- – это то, что будет, что находится «перед» чем-то*. *Про-* в движении (поэтому всегда при глаголе), *пра-* – выражает результат (всегда при имени). Того, что в будущем, нужно ещё достичь; то, что сбылось, уже отложилось в понятии, что уже п о н я т о, схвачено мыслью и закреплено в слове. Следовательно, *прозви-*

ще – то, что дают впрок, на всякий случай, чтобы не только звать человека, но и призвать на него все добрые силы. Потому имена давались хорошие, светлые, добрые.

Потом появилось отчество. Слово то же, что и *отечество*, то есть *Родина*... Было две формы: *родина́ и ро́дина. Родина́* – все родичи, вся родня, это люди; *ро́дина* – место, где ты родился. Старое слово *отьчьство* также дало две формы, и каждая рачительно использована. У одной остались оба гласных, обычно выпадавших в произношении (остатком их является наша буква *ь* – когда-то она произносилась); это книжная форма стала обозначать место рождения *отечество*. У другой формы в разговорной речи остался только один прежний краткий гласный: *отчество*. *Отчество* от имени отличается, посредством отчества человек показан прилагательным, которое как бы прилагается к человеку, ему полагаясь по статусу, выделяя в принадлежности не его самого, а весь его род. В именовании отчеством признание общественных заслуг всего рода.

Отчество есть «имя по отечеству», по отцу, семейное имя. Потому что отец в те далёкие времена был главой семьи и имущества рода. В Древней Руси «отечеством» могли называть и по матери: один из былинных героев *Настасьич* (от женского имени *Настасья, Анастасия*). Поначалу отчество давали лишь в торжественных случаях и знатным людям. У княгини подчас и отчество то по отцу, то по мужу. Была *Ярославна*, стала *Игоревна*! Выходит, в Древней Руси отчество исполняло роль современной фамилии.

Иностранцы, посещая Россию в средние века, удивлялись отчествам. Не понимали их смысла. Возникали слухи, ужасные, но – пустые. В XVI веке Ивана Грозного описывали как человека, который уже имеет личное имя (*Иван*) и прозвище, т. е. фамилию (*Грозный*). И вдруг выясняется, что к тому же он ещё и *Васильевич*, поскольку отец его царь Василий. *Иван Васильевич Грозный IV*. Пошли по Европе слухи, что Иван IV

«прозван Васильевичем за свою жестокость». Обычное для поспешных умов заключение, перепутали слово *Грозный* (гроза и жестокость) с отчеством *Васильевич* и, не понимая назначения отчества, соотнесли его с греческим словом *басилевс*, которое одновременно и значит 'царь, тиран', и является источником имени Василий. История поучительна тем, что показывает: для иностранцев того времени что отчество, что фамилия, что прозвище – всё едино.

Отчества давались в год возмужания, потому что «сказать на *вич*» – значит стать в ряд с отцами как взрослый человек. Этим гордились. У царя – царевич, у Москвы – москвич, у каждого в роде – родич. Притяжательные прилагательные самого общего значения, знак принадлежности к роду, к месту, к должности.

После того, как укрепилось на Руси рабское состояние многих (крепостное право при Петре), возникли и ранги «по отечеству». Самые знатные писались «овичи», кто попроще – «овы», а остальные обходились без отчеств. Иван Петрович, Иван сын Петров, просто Иван, а не то так Иванко, Ивашка, Иванище.

Фамилии сложились уже в Новое время, в XVII веке. В отличие от отчеств, фамилия с самого начала уже не семейное, а городское (социальное) имя, не отечество, связанное с отцовским правом, а прозвище (говорили: *прозвание*, *звание*), с каким человек предстаёт в глазах других людей, живущих вне данной семьи.

Тут возникало множество возможностей. Фамилией могло стать имя деда: Иван Петрович сын Петров. Фамилии давались по профессии, по принадлежности к определённому цеху, т. е. по труду, по делу. Фамилия *Кузнецов* до сих пор самая распространённая из тех, что восходят к названию профессий, хотя кузнецов сегодня не так уж и много; то же у англичан – Смит, то же у немцев – Шмидт. Фамилии давались и по прозвищам, причём у русских оказалось много прозвищ, связанных с птицами и животными. Осудительных или бранных среди них немного.

Фамилии стали признаком городской жизни, и это понятно. Чем больше людей в селении, тем больше путаницы с именами. Все могут быть Иванами, все – Петровичи, нужно как-то различать кузнецовых и плотниковых детей, а ещё и поповых, и прочих. Кузнецовы, Плотниковы, Поповы... В городе много Кузнецовых, Плотниковых, Поповых – нужны всё новые и новые фамильные имена. Такие фамилии и возникают, естественно развиваясь из разных источников, в том числе иностранных. У русских много фамилий нерусских или переделанных на русский лад. Лермонтов – что может быть более русским? Есть специальные справочники, которые объясняют происхождение русских фамилий. Такие фамилия редко придумывают, разве что писатели для своих романов.

Чичиков... Игра и смыслов и слов. *Чичика* или *чичига, чичина* – это длинный кривой валёк, которым взбивали срезанный и вымоченный лён. «Не мытьём, так катаньем», – гласит русская пословица; именно это и делает Чичиков в романе Гоголя, на протяжении всей книги выбивая из своих клиентов «мёртвые души». Кстати, *чичиговатый* значит 'упрямый, беспокойный, привередливый'; он никому не угодит, отчего в конце концов и попадает в неприятное положение. Фамилия, выдуманная автором, ведёт героя в его придуманной жизни. Добавим сюда и *чикнуть* (*чкнуть*) – 'стучаться, бить лбом', и *чичкаться* ('запачкаться'), и многие иные местные слова, – вот и готов собирательный портрет одного из славных героев русской литературы.

Чьих вы будете?

Насколько хорош и удобен в общении русский обычай называть человека не только по имени, но и по отчеству?

Сразу же скажу, что это – не научная проблема, вообще не проблема, поскольку п р о б л е м а – это

вопрос, требующий немедленного решения. Но вряд ли это самая важная сегодня проблема, а опыт показывает, что скоропалительное решение «проблем» приносит одни убытки. Достаточно вспомнить переименования улиц и площадей.

Это не научная тема, потому что наука решает, что истинно, а что – нет. Что правильно, а что нет – решает закон, а в нашем случае никаких законов нет. Наконец, то, что ценно, а что нет – решает время. Сохранять ли отчество при личном имени – это вопрос о ценностях национальной традиции.

Да, верно, мы привыкли обращаться по имени-отчеству, да ещё (в известных случаях) усиливая это эпитетами типа «наш дорогой...» Но как раз к народной русской традиции это не имеет никакого отношения. Русские, особенно близкие люди, всегда обращались друг к другу по именам, иногда добавляли и отчество – от чрезмерной уважительности, или окликали по фамилии – из озорства или неприязни. Мальчики у Достоевского зовут друг друга по фамилиям – чтобы казаться «взрослыми», но сами-то взрослые частенько обращаются по уменьшительным именам, которые в XIX веке вовсе не были уничижительными. Мы уже видели это на примере «Сонек» и «Машек» из рассказа П. Боборыкина.

Обращение с отчеством связано с «отечеством» в правах наследования по отцовскому праву. Исторически легко проследить, как, начиная с Древней Руси, по отчеству называли стольных князей, затем и удельных, мелких, позже – бояр (а в Новгороде раньше всего, тут боярство и было владетельным), ещё позже – именитых купцов («гостей-сурожан», торговавших с зарубежьем) и т. д. – по мере того, как соответствующий род получал властные права наследования по отцовской линии. Тем самым в законном смысле преодолевалась долго длившаяся у нас традиция матриархата, власти «матёрой вдовы» типа Кабанихи, известной нам по пьесе Островского. Деловые люди, купцы при Петре получившие право «называться по

отечеству», целовали руки своего императора за неизбывную честь, включившую их в ряды «новых русских» XVIII века. Об этом сочно рассказал Алексей Толстой в прекрасном романе «Петр Первый». У простого народа звание по отчеству всегда вызывало усмешку: «Мой-то Петрович – загуля-а-ал!» А в деревнях у всякого нового человека прежде всего спрашивали: «Чьих вы будете?» – какого рода-племени, как вас по батюшке, а не встречался ли я с ним (проблема репутации).

Это – о ценности. Теперь – об истине.

Частичка *-ич-* в «Петрович» – суффикс притяжательности. Именуется не лицо, а его принадлежность к какой-то, как принято ныне говорить, социальной «структуре», в данном случае к семье. Но сегодня не семья выступает в качестве основного социального звена. *-ич-* – «знак пустой», разве в отделе два Вани: один Иван, а другой Иван Петрович. Но и тогда обоих можно развести по другому принципу, используя варианты имени собственного («не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты...»).

Есть и другой суффикс, известный как знак принадлежности к роду, теперь он образует русские фамилии: Иван, сын Петров – это тот же Петрович, но с более древним суффиксом. Фамилии (по-латыни это слово обозначает «семья») вообще были редки на Руси, среди крестьян их вообще не знали. Есть исторический анекдот. На одном приёме в провинции Александр I переспросил представленного ему дворянина: «Как ваша фамилия?» – и тот ответствовал, не разобрав: «Моя фамилия дома сидит, не посмел представить вашему величеству». Между тем фамилия – дело нужное, прежде всего в государственном деле, «вот ежели, скажем, в паспорт записать – без фамилии как же? Кто *отвечать* станет, что ежели как?» – говорит герой одной бытовой повести XIX века. *Иванов, Петров, Сидоров*... Сидоров! Фамилия звонкая, у всех на слуху, но чтобы Сидором сейчас называли младенца – этого что-то не слышно. Понимаете, почему? Вот именно,

опорочено близким по звучанию словом. Значит, важно ещё, как звучит, какие смыслы таит в себе имя и производное от него отчество.

Фамильные – родовые – имена развивались постепенно. В старинных вариантах чаще всего это формы родительного падежа: *Дурново*, *Сухово* – из рода Дурновых, Суховых (и славянские формы того же рода: *Живаго*, *Мертваго*) или сибирские фамилии типа *Сухих*, *Чистых* и пр. Более поздние фамилии указывают и на место рождения, иногда сохраняя при этом и родовой суффикс: *Осип-ов-ск-ий*, *Петр-ов-ск-ий*.

Чётко представлен ритуал *вызывания имени*. Не одно и то же сказать *Саша*, или *Александр*, или *Александр Сергеевич*. Можно сказать *Александр Пушкин*, но трудно понять, о каком писателе речь, если сказать *Алексей Толстой*: Алексей Константинович или Алексей Николаевич? Если совпадали все три имени, добавляли: Первый, Второй, Третий... Старший – Младший (в роду Романовых Константин Константинович Старший и Константин Константинович Младший). Можно говорить *Александр Македонский*, но *Александр Филиппович Македонский* может произнести только герой Ильфа и Петрова, хотя у этого полководца отец действительно – царь Филипп.

Родовые и семейные имена русские люди получали по великой милости государевой и притом не все разом. Сначала семейные (по отечеству) – князья, Юрьевичи да Ольговичи (*Ольгово гнездо*, *Всеволодово гнездо*), затем бояре и богатые купцы, торговавшие с заморьем, – «гости-сурожане», позже дворяне и купцы победнее – при Петре Великом, и т. д. Потом родовые имена – и тоже сначала у людей *родовитых*, главным образом у выходцев из Литвы, Польши, из Орды, из других чужеземных краев. Многие родовые (по *дедине*) кажутся даже непочтительными: *Кобыла* был из самых знатных. Но это прозвище, а прозвище, пусть и худое, всё же лучше, чем звание по профессии: *Поповы*, *Кузнецовы* дети посадские – вон их сколько на Руси, а – Кобылиных? А *Сухово-Кобылиных*? О русских родовых

именах много написано книг и статей, каждая фамилия изучена и прописана по своему адресу: где возникла, как появилась и кто стоял за нею в самом начале пути...

Особенно трудно женщине: отчество по отцу, фамилия по мужу, а имя уже дано, его не изменишь, оно присвоено (слово «имя» того же корня, что «имать» – брать). Даже в грамматиках имеется имя собственное, а «собственное» значит *о-соб-ое*, принадлежит особе.

Рассуждение по части «истинное» показало, что только имя собственное – личное имя – всегда твоё, от него ты личность, и чего заслужишь, так тебя и нарекут: Иван, Ваня, Ванюша, Ванечка, Ванька, Ванёк... – ведь всё это разные имена!

Сегодня мы во многом подражаем деловитым американцам. Даже вместо русских слов частенько подставляем соответствующие английские. Так и с именами. У них там Боб, Джек, Джон и даже президент всего лишь Билли – и у нас похожее. Известная на Западе лингвистка Анна Вежбицка, описывая особенности русских личных имён в противопоставлении к американским, по её мнению «демократичным», заметила, что русский откликается на *Иван Иванович*, а американец откликнется и на *Джон*, причём в любом обществе, не обязательно среди близких. Более того, уменьшительные русские имена получают форму женского рода, они как бы смягчаются, становятся «домашними». Борис – Боря, Дмитрий – Дима, Митя, Станислав – Слава... Конечно, не уменьшительная это форма, а сокращённая; уменьшительные как раз мужского рода: Славик, Славчик, Славунчик (и Славочка) – они же и ласкательные. Между прочим, еврейские фамилии в России восходят именно к таким сокращённым именам: *Борин*, а не *Борисов*, *Митин*, а не *Дмитриев*, *Славин*, а не *Станиславский* и т. п.

В англо-американском жаргоне возникают формы типа *Боб* (это Роберт), *Дик* (это Ричард), *Алекс* (а это

Александр). Вежбицка полагает, что таковы энергично мужские, мужественные имена, в отличие от женственных русских. Поспешное заключение. И американцы могут сказать *Джонни*, *Джимми*, *Томми*, и русские не употребляют «женственных форм» в официальном общении. Тем не менее и у нас начинают подражать американской вульгарной традиции. Говорят, например, *Влад*, получая в имени «дополнительное мужское значение» (определение Вежбицкой), и тогда неясно, кто есть этот Влад: Владислав, Владимир или ещё кто? Человек скрывается за пустым звуком, образа и традиции не имеющим...

Именно тут и встаёт вопрос о «правильности». Правильно сказано или нет – это вопрос функции слова в речи. В одном случае скажешь так, а в другом иначе. Секретов нет – и ответов нет. Как обращаешься к другому, таков и ты сам. Параллельных этически проблем сегодня множество. «Как обратиться к прохожему? К незнакомой женщине?» Ответ всё тот же...

Не только по обстоятельствам жизни, или по рангу, но ещё и по вашему отношению к конкретному лицу. Вспомним классическую русскую литературу. Достоевский героев называет по именам, а очень ему симпатичных ещё и по отчеству (даже Настасью Филипповну), а отрицательных типов – по фамилиям. Ничтожного Башмачкина Гоголь утешительно именует Акакием Акакиевичем – с иронией. У Льва Толстого Болконский – князь Андрей, сестра его – княжна Марья – потому что жив ещё их отец, «старый князь». Пушкин для современников – Александр Пушкин, а сегодня мы говорим Александр Сергеевич (хотя и Грибоедов – тоже Александр Сергеевич), тогда как Есенин навсегда остался для нас Сергеем. Даже ударением в устной речи различались фамильные имена. Куприн писал, что солдат – Ивано́в (подчеркнуто отношение к роду), а офицер – Ива́нов (по личному имени Ивана). Вот был у нас актёр-режиссёр Никита Михалко́в, а сегодня он уже Никита Сергеевич Миха́лков, потомственный дворянин... и так далее, до бесконеч-

ности. Сколько лиц, столько и ликов-личин, и не имя создаёт личность. Хотя и имя – не последнее дело, обычно оно вскрывает некую сущность человека. Стремление же к троичному именованию по имени, отчеству и фамилии является остатком высокого стиля, отражающего триипостасность личности, его «приписанности» к трём координатам бытия: личной – семейной – социальной.

Ответ невнятен? Невнятна жизнь, пока ты сам не наполнил её смыслом. А смысл непременно – в слове. И только свобода выбора делает нас свободными.

Распорядитесь своей свободою сами. А мы поглядим, чего вы стоите. Вы, а не ваши предки (репутация вашей фамилии), не ваши родители (отчество и достаток отца).

Социологи подсчитали, что сегодня московские школьники в 80 процентах ситуаций, требующих формул речевого этикета, обходятся без них, 50 процентов мальчиков обращаются друг к другу по прозвищу (половина из них – обидные), 60 процентов школьников используют штампы при поздравлении учителей и родителей.

Нет ли тут какого-то упущения по части речевого этикета?

Ведь как обращаешься к другому – таков и сам ты в глазах остальных.

Семейные слова

Проходят годы, сменяются поколения, создаются и разрушаются государства – и всё это оставляет свой след на древнейшей ячейке всякого общества, на семье. Рушатся древние родовые связи, изменяются семейные отношения, никаких следов не остаётся уже от племенных отношений, но слова, когда-то выразительно обозначившие признаки семейных связей, остались. Некогда были они жизненно важными, а сегодня кажутся забытой экзотикой старого быта.

Мы забыли, например, как можно называть жену мужнего брата или брата жены мужнего брата; не знаем, почему невестка сегодня остаётся всё той же невесткой и по отношению к родителям мужа, и к братьям и сестрам его. Мужнего брата жена – *ятровь*, *ятровка* или *ятруха*, в древности слово звучало (в именительном падеже) ещё проще: *ятры*. «Но и жены братьев между собою ятрови», – добавляет Владимир Даль. Брат жены мужнего брата, *свояк*, – это более дальняя степень родства, не по крови. *Невестка* является невесткой лишь по отношению к братьям и сестрам мужа, для его родителей она *сноха*, а в этом старинном слове тот же корень, что и в слове *сын*. Она и есть жена сына. Очень сложные семейные отношения существовали в прошлом. Кого назвать *золовкой*, *деверем*, *свестью* или *шурином*? Разве сегодня нет близких нам людей, к которым можно было бы обратиться с такими словами? Конечно же, все они перед нами: сестра и брат мужа – *золовка* и *деверь*, сестра и брат жены – *свесть* и *шурин*.

Молодую жену вводят в дом и встречают её: девери хороши, но уж «золовка – колотовка», ревнивая и сварливая, колотит молодую. В народных песнях золовка – самая суровая противница молодой, самая злая родственница: «Золовушкины речи репьём стоят!»

Сегодня эти важные в прошлом слова настолько забыты, что даже писатели, которые могли бы и в словарь заглянуть, пишут о женщине, у которой есть тесть, и о мужчине, живущем у свекрови! На самом деле всё наоборот: тестя и тёщу всегда имел муж, а у жены были свекровь и свёкор. «Свёкор гроза, а свекровь выест глаза!» Традиции семейного быта породили множество советов, например таких вот: «Не жени сына на тёще, не отдавай дочери за свёкра!» – не давай воли ни тёще, ни свёкру.

Сегодня каждый человек незаметным образом включается в самые разные социальные отношения, множество различных признаков соединяет он в себе как личность, которая отличается от других людей по куль-

турным, национальным, политическим, трудовым и прочим связям. В далёком прошлом человек не мыслил себя вне рода или семьи. Он составлял частичку этого рода, и все его признаки сводились к определённой системе кровного родства или свойства. Социальные термины древнего общества – это семейные по преимуществу отношения. Родичи кровные (мать, отец, брат, сестра), по свойству (все «свои» – по браку) и по степени близости («ближние твои»). Степени родства ни забыть, ни спутать никак нельзя! Нарушишь все отношения и связи, существующие между людьми. Один и тот же человек одновременно мог быть и шурином, и сыном, и братом, и зятем, и дядей (да ещё с особыми словами при обозначении дяди по отцу и дяди по матери), и т. д. Он мог быть кем угодно, но обязательно находился в каком-то отношении к другому человеку. Сам по себе он ничто, не личность, а та самая частичка семьи, которая создаёт живую и чёткую систему отношений с обязанностями и правами каждого её члена.

Пока существовала надобность в точной системе отсчёта степеней родства, слова эти были святы. Сегодня они не у дел, вспоминают их редко, часто используют невпопад.

Однако в языке все эти термины по-прежнему имеются, при желании их можно употребить, когда возникнет нужда. Но понятны ли они? запомнили ли их смысл? Если запомнили – вот загадка:

Шел муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем – много ль всех?

И ещё:

Шуринов племянник как зятю родня?

Больше всего было слов для обозначения степеней родства по женской линии, это своего рода остатки матриархата. Однако такие слова обозначают очень конкретные отношения, очень личные связи. Слова, которые обозначали бы общее состояние женщины вне семейных отношений, редки. У женщин для этой цели существовали не различные по корню слова, а раз-

7 Зак. 207

личные формы одного и того же корня. Слова женского языка вообще не изменялись так быстро, как слова, обычные для речи мужчин. Женские слова стабильны, но очень часто варьируются, как варьируется мотив старинной женской песни. *Жена*, откуда и *женка*, а потом прилагательное *женский*, а от него и имя с суффиксом единичности *женьчина*, что в произношении быстро образует и привычную нам форму *женщина*. То же самое и с другим корнем: *дева*, а если маленькая – *девъка*, а ещё меньше – *девъчька*, откуда с новым суффиксом *девушька*, а ещё и *девица*, *девуля*, *деваха*...

Слова с уменьшительным суффиксом сначала показывали разницу в возрасте (*дева – девица – девочка*), а после XVI века они же стали употребляться в оценочном значении. Женская речь отражает положение женщины на женской половине дома, ведь домашний быт был как бы женской «специальностью», которая веками привязывала женщину к дому, сохраняя старину неизменной.

«Почему *берут* в жены, но *идут* замуж?» – спрашивают сегодня, также забыв смысл древних речений. «Почему говорят: *С законным браком*? Ведь брак – нехорошее слово: испортил дело – вот и брак, а люди-то любят друг друга!»

В этих выражениях важно не отдельное слово, а смысл всего сочетания их: именно в цельности своей они и складывались когда-то. Давным-давно появилась формула, которой в церкви скрепляли брак. Вопрошал священник: «*Берёшь ли ты в жёны* девицу Елену и обещаешь ли...» *Брать в жёны* – не значит, конечно, что у жениха гарем и что берёт он в свой дом уже не первую жену. Девушку переводят в брачное состояние женщины. Если говорить о терминах, то происходит как бы переход из первой цепочки слов (*дева – девица – девочка*) во вторую (*жена*...). До XVI века одно и то же слово *жена* одновременно означало все социально важные признаки свободной женщины: это и женщина, и супруга, и гражданка. *Брать в жёны*

включает в себя все такие значения, они потом распределились между производными словами *женщина, жена* и *жёнка* (теперь последнее из них не используется в значении 'гражданка').

Если «брали в жёны», употребляя слово в форме множественного числа, то «выходили замуж» – и тут обязательно в форме единственного числа. Тоже ничего хорошего: выходили не *за мужа*, как требуется сказать по правилам употребления одушевлённого всё-таки имени *муж*, а *за мужь*, как бы за неодушевлённое ещё нечто (ср. *за сына*, но *за пень*). Формула эта возникла так давно, что в ней ещё не отразилась свойственная нашему языку категория одушевлённости.

Вдобавок, и само выражение поначалу было совсем иным. «Сговорена *за мужь*» – эта формула брака соединялась затем с другой: «пошла за Ивана» (имя каждый раз подставлялось своё, заветное). Только в XVII веке возникло современное выражение «выйти замуж», и это – также социально важный акт признания за женщиной нового достоинства. Новое достоинство обычно внешне выражалось в изменении причёски, головного убора, платья и т. п. С г о в о р и с в а д ь б а составляли две обязательные и равноценные части брачной церемонии, но ещё и в XIX веке «выйти замуж» обязательно предполагало «повенчаться». *Сговориться о свадьбе* и *сыграть свадьбу* как самостоятельные выражения совместились в новой формуле *выйти замуж*. Кстати сказать, в крестьянских семьях «замуж выходили» и мужчины, если они переходили в дом жены. Это как раз и показывает, что формула просто обозначала п е р е х о д человека в новое состояние жизни. В этом смысле молодые тоже равноправны.

Однако форма наречия *замуж* всё-таки показывает безразличие к личности того, кто вступает в брак. *Берут* ли *в жёны*, *идут* ли *замуж* – в обоих случаях внимание устремлено на женскую сторону, мужской половины как бы и нет, она кажется совсем неважной. Социальная роль мужа ясна и без этого: он – владыка,

хозяин, господин. Именно женщина изменяет своё положение, входя в круговорот его дел и хозяйства. В этом и смысл старой пословицы: «Питер женится, Москва замуж идёт» – о столице Петербурге и старой столице – Москве.

Теперь вглядимся в слово *брать* («брать в жёны»). *Брак* как супружество – это слово, пришедшее из книжного языка, поскольку «законным» тогда мог быть только церковный брак. Корень в этом слове тот же, что и у глагола *брать*. *Братися* – вступать в брак, брать друг друга в супружество. На взаимность указывает частица *-ся*. Кстати, и слова *супруг*, *супружество* – слова книжные, они ведут своё происхождение от греческих текстов, переведённых на славянский язык. Восточные славяне предпочитали говорить *мал-жена*, а вместо слова *брак* был у них в обычае *посаг* (слово, по смыслу связанное со словом *осязание*) – некогда обряд сговора. Таким образом, *бракъ* – торжественно книжное слово, которое, кстати говоря, имело множество значений, одно из них 'пир горой'.

Что же касается слова *брак* в значении 'изъян', то это слово заимствованное, по звучанию оно случайно совпало со славянским словом *брак*. *Брак* 'изъян' – слово, пришедшее к нам из немецкого языка через посредство польского ещё в XVI веке (в немецком языке это слово значит 'перелом, поломка'). А такие слова, как *браковщик*, *браковать*, даже по своей форме являются полонизмами, и только со временем стали они словами русского литературного языка. Никакого отношения этот немецко-польский «брак» к славянскому *браку* не имеет. Да и не всякий брак завершается браком...

Москвичи и одесситы

У вольного на земле человека вообще много имён. Есть ещё имя по месту проживания. Такое имя вполне может стать и фамилией, если вдруг, по какой-то при-

чине, родового имени у него нет. От *Шклова* – *Шкловский*, от *Москвы* – *Московский*, от *Смоленска* – *Смоленский* и т. д.

Не всегда и ясно, какие существуют правила образования таких имён. У нас сегодня – по крайней мере пять основных типов именований по месту проживания: *москвич*, *петербуржец*, *киевлянин*, *тверяк*, *одессит*...

В действительности же таких суффиксов в русском языке за несколько столетий накопилось более десятка. Многие из них всё время изменялись. Например, жителя Москвы москвичом называют сравнительно недавно, а раньше это были *московляне*, *московцы*, *москвитяне* и даже, как известно, *москали*. Чем древнее город, тем больше – в истории его – различных вариантов: *смольняне*, *смоленцы*, *смоляки*, *смоляне*, *смольчане*.

Когда-то эти суффиксы имели разное значение. Суффикс *-яне* указывал на географическое расположение, да и не города, а всего племени, главным *местом* которого такой город был. Суффикс *-ец* связывал имя человека с территориально-политическим образованием, уже собственно не с племенем, а с городом. Суффикс *-ич* указывал на принадлежность к определённому роду-племени в социальном его смысле, к «отечеству» по праву рождения, ведь тот же суффикс имеют и мужские отчества: *москвич Лукич*. Эти три суффикса известны с давних времён, а вот суффикс *-як* в именованиях *пермяк*, *тверяк* и прочих появился позднее, он связан с прозвищами, и до сих пор в дразнилках названия жителей поминаются с таким суффиксом. Знаменитый наш путешественник XV века Афанасий Никитин ещё вполне *тверитин*, поскольку жили в Твери *тверитяне*, но завистливая к их благополучию Москва обездолила жителей княжества даже по имени, даровав им статус *тверяков*. Именования с этим суффиксом не утвердились в официальных обозначениях. Они оскорбительны примерно так же, как если польку назвать *полячкой*. Впрочем, дразнить могли и по «городскому

имени»: «Калязинцы – свинью за бобра купили! Вологодцы – толоконники: телёнка с подковой съели! Егорьевцы – рудометы: сам нож точит, а говорит: “Не бось!” Пошехонцы – слепороды: в трёх соснах заблудились, за семь верст комара искали, а комар на носу сидел! Тихвинцы – свято то место, где тихвинца нет!» О москале же столько присловий, что и места не хватит...

Если вдуматься в смысл суффикса, становится ясно, что подсмеиваются не над *народом*, а над городским обывателем. Присловия старые, на это указывают слова, теперь не всегда понятные: *толоконники* – любители толокна (но также и суматошливые люди), *рудометы* – буквально значит ’кровопускатели’, а *слепороды* – слепцы от рождения...

Что же касается совершенно новых обозначений типа *одессит*, суффикс *-ит* в них – греческого происхождения, у нас он не очень распространён.

В XVII веке складывалось Русское государство, и в обозначениях жителей городов как основной стал распространяться суффикс *-ец*, который является наиболее активным и в наши дни. *Петербуржец – петроградец – ленинградец – петербуржец*. В «женском» варианте сложнее: *петербурженка*, *петроградчанка*, *ленинградка*... совсем как и в других случаях, когда, например, говорят о деве: с вариантами суффиксов *девка*, *девушка*, *девица*...

В XX веке возникло много городов, в названиях которых использован суффикс *-ск*: *Комсомольск*, *Кировск* и др. Назвать жителя Комсомольска комсомольцем по общему правилу было бы неверно. И язык немедленно выполнил «социальный заказ», в качестве продуктивного суффикса ввёл в обиход ещё один, по происхождению самый новый: *-чанин*. В Судебнике 1649 года только два слова с таким суффиксом (*курчанин*, *кромчанин* от названий городов *Курск*, *Кромы*), теперь же такой суффикс распространяется: *комсомольчане*, *кировчане*... Возвращение к прошлому, почему и не всем эта форма нравится. А кому не нравится,

тот говорит по-всякому: не *курянин*, например, как в «Слове о полку Игореве» ещё в конце XII века, а – *курец*... или, наоборот, *калужанин* вместо *калужец*. Нужно только помнить, что внутренний смысл суффиксов сохраняется до сих пор; сложность не всегда в благозвучии того или иного слова, но и в потаённом его значении, немедленно проявляющем себя при неверном употреблении. Русский язык богат и словами, и оттенками смысла, и каждое слово заряжено энергией оценки. Скажешь: *курец* – и о ком же это? Лучше использовать официально утверждённые именования, которые всегда найдёте в справочниках. Один из них, «Словарь названий жителей СССР» под редакцией А. М. Бабкина и Е. А. Левашова, вышел ещё в 1975 году.

Такие же сложности возникают и в случае, когда мы называем иностранцев по их национальности (по отечеству). «Почему *датчанин*, а не *даниец*?» – подобные вопросы задают часто. Традиция. Традиция, которая сложилась на Руси в XVII веке, когда стали издавать Вести-Куранты, и на страницы газеты попали многие из этих именований. Тот, кто родился в Дании, там проживает, у кого там родные, кто по роду – тот *датчанин*. Вот разве что недавний туда эмигрант – *даниец*, потому что приехал в Данию и пребывает здесь. Но кто станет себя называть уничижительным словом?

Ещё одно недоразумение, оно касается всех нас.

Всё чаще стали нас называть *россияне*, по слову *Россия*, как известно, искусственному, в греческом произношении оно заменило исконное слово *Русь*. От *Руси* и *русский*. Россиянами называют нас потому-де, что вошли мы в мировое сообщество, а в мировом сообществе этнический термин – всегда имя существительное, а не прилагательное. *Грек*, *француз*, *немец*, *еврей*, даже *американец* – имена существительные, а *русский* – всего лишь приложение, некий эпитет. На этом различии основано множество поспешных суждений о русских, конечно, неблагоприятных для них. Между

тем и у нас всегда в обиходе было своё имя: *русичи*. И родовое, и местное, и по отечеству, и по отчеству. Его нас лишили, по имперским амбициям перейдя на термин *Россия*. И тогда – в ответ – стал называть себя люд: *русские люди*, *русский человек*, при сокращении – *русские*, *русский*. Вполне обычное дело в нашей речи: *столовая комната* – просто *столовая*, *учёный человек* – *учёный*. Тем, кто хотел бы видеть в имени *русский* некую «ментальную» ущербность, следует напоминать, что за этим словом стоит прекрасный подтекст, не у всех и бывший: *люди*, *человек* как личность, а не безликие *россияне*. За одним этим словом наши философы видели национальное своеобразие русских: скромность (прилагательное), верность предкам (Русь, не Россия: «Сплотила навеки великая Русь»), устремление к соборности духа – без выпячивания и похвальбы.

«Там, под Лиговом...»

Известная строчка поэта: *«Там, под Лиговом, смертный бой кипит...»* – также нуждается в оправдании. Иногда полагают, что газеты «пользуются разными диалектами» для того, чтобы об одном и том же (например, о празднике авиации) писать по-разному: *в Тушино* или *в Тушине*.

К разным диалектам подобные варианты отношения не имеют: это разница в поколениях, и связана она с историей нашего языка.

Традиционно названия населённых пунктов типа *Тушино*, *Лигово* склонялись, как и всякие имена существительные среднего рода, однако вот уже более полувека, как наметилась тенденция сохранять их в речи неизменными, не склоняя. Случилось такое прежде всего в профессиональной речи географов и военных, которые тем самым не хотели смешивать названия населённых пунктов с соответствующими им фамилиями (*о Репине*, но *о Репино*), но скоро такое

различение имён проникло и в печать (а Маяковский не склонял название *Пушкино* и в стихах – в отличие от Есенина: *под Лиговом*), что и стало обычным в бытовом разговоре.

Полвека назад восемьдесят процентов населения ещё склоняли подобные имена собственные, а сегодня более половины не изменяют их по падежам. Налицо какое-то стремление речи к аналитизму, когда связь слов в предложении зависит не от формы самого слова, а от сочетания с другими словами. Правда, до сих пор такое считается нарушением строгой нормы, однако колебания всё усиливаются. Академическая грамматика русского языка 1960 года рекомендовала их только склонять, в 1970 году та же грамматика соглашалась с тем, что всё чаще они не склоняются, а в грамматике 1980 года пришли, наконец, к самому правильному решению. Поскольку академикам сейчас некогда писать академические грамматики, примем за основу рекомендации последней по времени. Нормой по-прежнему остаётся склонение личных имён такого рода, однако они могут не изменяться по падежам, если название использовано как приложение к другому слову (*в посёлке Репино*, *в районе Тушино*) и особенно если оно совпадает с известной фамилией, которая склоняется (*от Комарово*, потому что *от Комарова*, *от Ре́пино*, потому что *от Репина*), или стоит в кавычках как название (*за «Гомонтово»*).

Газетный язык особенно подвижен и живо откликается на все изменения, происходящие постоянно в обиходной речи. Поэтому и возникают расхождения такого типа. В принципе ни одна газета, написавшая *в Тушино* или *в Тушине*, ошибки не сделала, но одна из них пошла на поводу у профессионального языка авиаторов. В старых сочетаниях склонение подобных имён закономерно. Лермонтовское *про день Бородина* навсегда сохранится в этой форме, поскольку полтора века назад только так и мог сказать грамотный человек. А классические тексты, которые мы учим в школе, – это образец высокого стиля. Таким он и останется.

Но важен вопрос о причине изменения окончаний у этих имён. Дело в том, что в русском языке исчезла грамматическая категория среднего рода, хотя сохраняются ещё формы его. Постепенно такие формы либо переходят в другие части речи (*хорошо, мало, сильно* и прочие стали наречиями), либо утрачивают склонение, переходя соответственно в другие типы слов. Каждый школьник знает исключения, связанные со словами *имя, время* и др., потому что в разговорной речи мы стали склонять их как имена мужского рода. Все новые заимствования в русский язык, получившие окончания как бы среднего рода, уже не склоняются (*пальто, кино, кофе*), и особенно это заметно на фамилиях (*Анни Жирардо*) или названиях (*Сорренто, Толедо*). С таким окончанием постепенно утрачивают склонение даже славянские имена типа *Соловьяненко, Демьяненко* или названия (*Гродно, Ровно*). В эту тенденцию упрощения речи укладывается и случай с *Тушино, Пушкино, Лигово.*

Такова тенденция, которая совсем недавно переступила порог дозволенного распространения нормы и тем самым получила право на исключения из правил. Вполне вероятно, что следующие поколения людей, говорящих по-русски, совершенно забудут о склонении этих слов – но только не в высоком стиле речи!

Грузин и гусар

Тоже постоянные сомнения: как правильно говорить: «Купил много *апельсин, помидор* или много *апельсинов, помидоров*»? Или в отношении имён одушевлённых: «Много *грузин, гусар* или много *грузинов, гусаров*»?

Если заглянуть в различные справочники и словари, окажется, что точных рекомендаций относительно употребления подобных форм нет. Между тем слова такого рода довольно часто встречаются в разговорной

речи, постоянно пополняясь, главным образом, за счёт заимствованных.

Исконно русские слова совершенно чётко различают формы изменительного единственного и родительного множественного падежей: *стол*, *лес*, *луг*, но *столов*, *лесов*, *лугов* у имён мужского рода; *стена*, *гора*, *река*, но *стен*, *гор*, *рек* у слов женского рода.

Однако мало-помалу склонение женских имён стало влиять на склонение имён мужских, и как раз в формах множественного числа, поскольку идея собирательной множественности исконно связана с «женскими» словами.

И вот постепенно во множественном числе различие между «мужским» и «женским» значениями слов стало утрачиваться. Осталась единственная форма — форма родительного падежа, по которой мы до сих пор ещё различаем грамматический род: *стен*, но *лугов*. По-видимому, такое различие — вопрос традиции и нашей привычки, да ещё, может быть, особая важность формы родительного падежа, которая в значении прямого дополнения должна выражать категорию одушевлённости у имён одушевлённых. *Вижу мужей* и *вижу жён*, потому и *вижу грузинов*, но *куплю помидор*.

Появились в XIX веке гусары, драгуны, гренадеры — и возникли колебания в произношении, которые мучили наших прабабок: *много гусар* или *много гусаров*? Проблема исчезла вместе с исчезновением гусар и драгун.

По правилам употребления слов мужского рода следовало бы говорить *помидоров*, *апельсинов*. Такова норма, но норму постоянно нарушают, в том числе и вполне грамотные писатели. Подсознательно они чувствуют, что между грузином и апельсином есть какая-то разница.

Вот почему уже полвека специалисты по русской речи, тяжело вздохнув, предлагают говорить так: *много апельсинов* — норма, *много апельсин* — разговорная форма. А «разговорная форма» всегда новая форма,

она отражает возникающие в языке тенденции его развития.

Можно сделать ещё одно уточнение. Употребляя форму *много помидор, апельсин*, мы указываем на собирательность упоминаемых плодов, их нерасчленённость. Говоря же *много помидоров*, мы как бы уточняем, что речь идёт о каждом отдельном помидоре на прилавке или в кошёлке хозяйки. Такое смысловое разграничение собирательности и расчленённости также поддерживает существование обеих форм. Это тоже – важная для нашего сознания категория; различаем же мы формы множественного числа *вóлосы* и *волосá*, *дýхи* и *духú*. Можно даже рискнуть и сказать, что обе формы имеют одинаковое право на существование, но при условии, что говорящий понимает смысловую и стилистическую разницу между двумя формами. *Куча сапог, пять аршин, отряд партизан* – всё это собирательность. Тонкие границы между двумя формами не всегда ясны, отсюда и возможные ошибки в их употреблении.

Петербуржцы, как кажется по личным наблюдениям, предпочитают говорить *много апельсин*, а не *много апельсинов*. Возможно, во всех падежах множественного числа имена мужского и женского рода окончательно совпадут в общих формах, и собирательность осилит конкретную множественность. В истории языка это решение прогрессивно, поскольку соответствует живому развитию мысли. Парадигма склонения во множественном числе совпадает с исконным склонением имён женского рода.

И почему бы это?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОТИВЫ

Белые ночи Петрополя

«Петербург – самый отвлечённый и умышленный город на всём земном шаре», – заметил Ф. М. Достоевский. И точно, писатель, подобный Достоевскому, или такой поэт, как А. Блок, могли возникнуть только в этом странном городе.

Таинственный и загадочный в любое время года и в любой момент суток, он притягивал к себе людей и... отталкивал, душил, выжимал из них жизненные соки. «...Среди болот Петрограда, где воздух физически столь же заразителен, как нравственно» (Ф. Ф. Вигель), все... чуть-чуть ненормальны. Петербургские повести Н. В. Гоголя и его последователей отражают эту жизнь, которая тенью проходит мимо, стушёвываясь в вечерних сумерках. В этом тумане Гоголь увидел Нос и чиновника, а Блок разглядел Прекрасную Даму. «Петербург» А. Белого передаёт всё ту же атмосферу напряжённых метаний человека, незримо, но крепко повязанного со множеством людей, подчас незнакомых, но косвенно влияющих на его жизнь – хотя бы фактом своего существования.

Известный писатель и юрист А. Ф. Кони как о реальности говорит о исповедях петербургских сумасшедших: «С Иисусом Христом он обедал, а на Васильевском острове встретил и чёрта, который ему объяснил, что и в будущей жизни есть служба и существуют все министерства». Да и что иное могло привидеться мелкому петербургскому чиновнику? При обилии лиц тут нет окончательной свободы – ты всегда на людях, и настроение, и язык незаметно проникают

одно в другое. Языки, настроения, мысли – русские, чухонские, польские, немецкие, французские... и в этой питательной среде рождается нечто новое – новое качество, которое надлежит определить. В 1882 году девица К. открыла Кони «тайну о том, что вследствие вмешательства одного из великих князей немецких безобразий стало меньше, но что всё-таки у нотариуса Серебрякова собираются немцы и немки и действуют посредством телеграфа, электричества и спиритизма, и в особенности одна гадальщица-чухна, с красной бородавкой на самом кончике носа, увидеть которую в креслах в театре значит ужаснуться и прийти в омерзение».

Скрывались в тумане дома и деревья, таились до времени новые понятия в непонятных и чуждых словах, которые множились и с помощью печатного станка расходились по России. Публицисту Н. В. Шелгунову совершенно ясно, что даже «и все мысли, которые производит Петербург, которые составляют его умственную атмосферу, носятся в его воздухе. Петербургская интеллигенция именно только дышит мыслями...»

Расплывчатость города отражена уже в его названиях. Их несколько, они легко сменяются в зависимости от настроения, смысла или интонации говорящего: «Петрополь, или Петербург, или Петроград», – говорит Г. Р. Державин в XVIII веке; «Петроград – Петербург – Санкт-Петербург», – пишет один из приятелей А. С. Пушкина в начале XIX века; «до Петрополя», – иронически замечает А. И. Герцен; «в Петроград, или по-немецки в Петербург» едет его современница. Эта неназываемость при обилии имён выдаёт столицу как чуждое русскому человеку образование, ещё не нашедшее своего места в народной традиции, хотя и влияющее уже на все его дела.

Таковы психологические основания всех тех взаимных влияний, которые оказали воздействие на развитие городской речи.

Складывается совершенно новый тип горожанина, которому нужен свой язык – с непривычными формами

речи, способами соединения слов во фразы... Вот один пример, типичный для северной столицы.

Белые ночи существовали всегда, но своё название они получили уже в наше время. Северные летние ночи писатели называли *светлыми* (Н. А. Радищев), *ясными* (Н. М. Карамзин), *прозрачными* (А. И. Куприн), *белыми* (Ф. М. Достоевский), выражая не просто их сходство с днем, но и вкладывая в это важный художественный смысл. В бытовой же речи жило множество описательных выражений; например, в «Дневниках» Е. Штакеншнейдер упоминаются и *весенняя голубая ночь*, и *майская ночь светла*, и *эти прозрачные весенние сумерки*.

Голубая, *светлая, прозрачная...* – определения есть, но термина нет. Известны, например, постоянно меняющиеся определения петербургской ночи и у И. А. Гончарова. У критика Ап. Григорьева есть и *такие ночи*, и *наши северные ночи*, и *роскошные ночи*. Поэтическая речь ищет признаки, по которым можно было бы назвать оригинальное явление природы, но... для Каратыгина это *наша петербургская ночь*, для Н. И. Греча – *светлая полночь на Невском*, а для Н. А. Некрасова – *светлые петербургские летние сумерки*. Да и позже, в 1880-е годы, столичный бытописатель М. Альбов говорит о «мутной мгле петербургской майской ночи», но тут же: «солнце отовсюду носилось в полусвете этой петербургской белой ночи – что-то напряжённо-томящее, что-то болезненно-страстное». Нет ещё термина, но есть множество описательных выражений, как бы готовящих появление «термина-образа» *белая ночь*. В XIX веке такое определение казалось необходимым! Какое отличие от XVIII века, когда М. В. Ломоносову достаточно было сказать: *Се в ночь на землю день вступил!* – без определений...

Символика белого как чистого, светлого, свободного пришла из Древней Руси (последнее значение осознаётся до сих пор: *белый вальс, белые стихи*). *Белый день, белый свет* отражают русскую символику слова: *белый* здесь противопоставлен *тёмному, чёрному*, и это

противопоставление мы ощущаем сегодня; вот как Е. Долматовский описывает посещение пушкинских мест:

Прозрачной ночью, белой ночью лета
На Чёрной речке побывали мы.

Толчком для сочетания *белые ночи* стало французское выражение *проходит белая ночь*: воин, удостоенный рыцарского звания, бессонную ночь перед посвящением проводит в каком-то священном месте, при оружии и в белом. В русской литературе начала XIX века сочетание *белая ночь* в этом «переводном» смысле известно (Д. В. Григорович, Ап. Григорьев), но Ф. М. Достоевский обыграл его в своей повести «Белые ночи», говоря о петербургских ночах, которые волнуют и тревожат, светят «на всё иным, особенным светом». Рыцарственное служение Мечтателя на фоне бессумрачных ночей есть своего рода *белая ночь*, посвящение в человечность: «Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь». Повесть вышла в 1848 году, но популярность получила позже, а выражение *белая ночь* в современном значении Достоевский употребил в дневнике 1877 года: «...в белую, светлую, как днем, петербургскую ночь». Это ещё не идиома, сочетание не вошло в общее употребление, и в академическом словаре 1895 г. его ещё нет.

Лишь на рубеже веков о *белых ночах* заговорили писатели, которых поразил Петербург: Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. И. Куприн, М. Горький (*В белые ночи он очаровательно воздушен*).

Мемуаристы, писавшие в начале XX века, вспоминая события полувековой давности, вполне определённо говорят о *белых ночах* (П. А. Кропоткин, П. М. Ковалевский, П. В. Засодимский, А. Г. Достоевская).

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова рядом указаны *белый день* 'светлое время дня' (как разговорное и устарелое) и *белая ночь* 'северная ночь с немеркнущей зарей'; затем это выражение закрепилось в словарях, но обычно употребля-

ется в форме множественного числа. Сама возможность переноса значения образовалась благодаря противопоставлению форм единственного и множественного числа. Судите сами: *белые ночи*, но *тёмная ночь*, а рядом *тёмные дни*, но *белый день*. Выражение *белый день* такое же образное, как и *белые ночи*, и возможным это стало потому, что *тёмные дни* и *тёмная ночь* уже существовали в речи, имея своё особое значение. В Петербурге вообще формы числа воспринимались подчас как самостоятельные. Достаточно вспомнить, что *Островом* здесь всегда называли только Васильевский остров, а *островами* – все остальные крупные острова, на которых располагались летние дачи. Что же касается светлых ночей, то значение прямое ('светлая') и переносные ('таинственная', 'бессонная') слились, образовав чисто петербургское сочетание, обозначающее ночи с «сомнительным фантастическим светом, как у нас, в Петербурге» (Ф. М. Достоевский). Таким образом, *белая ночь* – понятие книжное, литературный образ.

Таков путь развития каждого выражения в переносном значении составляющих его слов. Возникает оно в художественном тексте и впитывает в себя сразу несколько значений: белая ночь рыцаря, белый день, белый вальс... Но только когда слово со страниц книги сходит на простор площадей, лексикограф получает право внести его в свой словарь.

Медный всадник – литературный образ, а *северное сияние* – просто перевод немецкого слова *Nordlicht*. Справедливости ради заметим, что выражение это очень старое, было известно ещё древним грекам (которым, кажется, всё уже было известно!). Более тысячи лет тому назад известный богослов, французский епископ Григорий Турский использовал латинскую форму этого выражения: *Aurora borealis*, что значит 'северная заря', а позднее французский философ П. Гассенди ввёл это определение в качестве научного термина (отвергнув тем самым рекомендации физиков своего времени: в XVII веке предлагали названия *полярный свет* или *северный свет*). Конечно, тут важен не сам по себе

свет, а его сияние, тот словесный образ, который и был скрыт в старинном термине греков и латинян. Не термин научный, не значение слова, а именно образ казался общим у всех народов, на каком бы языке они ни говорили. И у нас названия были тоже, и ничуть не хуже, и существовали во множестве: *тбель по небу*, *пазори играют*, *лучи светят*, *столбы дышат*, *багрецы пошли*, *сполохи бьют*, *сполохи гремят*, *столбы наливаются*, *лучи мерцают*, *снопы рассыпаются*, да половина из них и получше скучного *северное сияние*. Ещё хорошо, что торжественное слово *сияние*, а не просто – как в немецком – *свет*. «Перевод» только кажется переводом с какого-то языка, на самом же деле в него – как в матрешку – вложились все какие ни были русские образы сияния, и потому это – русское выражение. *Играют... светят... дышат... пошли... бьют... гремят... наливаются... мерцают... Северное сияние.*

Грипп

Описание признаков этой болезни у нас известно издавна; войска Стефана Батория, осадившие Псков в конце XVI века, пострадали от неведомой местной болезни; особенно быстро умирали те, пишет очевидец, кому, по средневековым обычаям, лекари «пускали кровь»; остальные, промаявшись в горячке без пищи с неделю, возвращались в строй. Как и всякую болезнь, которая сопровождалась повышением температуры тела, русские и эту называли общим словом *горячка*.

С XVIII века в оборот вошел термин *инфлуэнца* – из итальянского сочетания слов с буквальным значением 'влияние холода'; через Италию Европа получала идущую из Азии болезнь. Но в быту слово было мало известно: «Самое начало оного [заболевания] ознаменовалось повсеместною перевалкою, и всё почти государство было больно кашлем, головною болью и ломом. Однако нельзя сказать, чтоб было много умирающих».

В течение XIX века новый термин утвердился и существовал долго; ещё и в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова показаны варианты его произношения: *инфлуэнца* (как произносят медики), *инфлюэнца* (как произносят интеллигенты) и *инфлюэнция* (народная форма). Искажением формы это слово хотели сблизить с другими, уже привычными, типа *облигация* или *мобилизация*. Основное понятие об инфлуэнце – горячка в морозы (т. е. это не всегда собственно и грипп).

Слово *грипп* появилось в петербургских салонах в конце XVIII века. В 1792 году в Европе разразилась эпидемия гриппа, известного как «русская инфлуэнца», и пошло гулять офранцуженное слово *хрип* как обозначение одного из симптомов болезни. Благодаря своей краткости и выразительности слово привилось, может быть, оттого, что и само французское слово *gripped* значит 'вцепляться, терзать'. Иногда полагают, что этим словом во Франции всегда и называли болезнь грипп, но это сомнительно, учитывая описательность выражения. Впервые как название известной болезни слово *grippe* отмечено в парижском медицинском журнале в 1743 году. (описывается всё та же эпидемия инфлуэнцы). Интересно, что во всех мемуарах, написанных в России по-французски (например, Екатерины II, Е. Р. Дашковой и др.), говорится о «сильнейшей и жестокой горячке», а не о гриппе.

Как всегда в таких случаях и бывает, любители иноземной моды приняли своё слово за чужое и пустили его в оборот. В первой главе романа Л. Н. Толстого «Война и мир» (о событиях 1805 года!) говорится, что *грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими*. Герой пьесы П. П. Гнедича «Холопы» хворал гриппом ещё в 1799 году.

Значение слова долгое время было неопределённо. А. В. Никитенко в 1833 году записывает в дневнике: «Азия посылает новый бич на Европу – какую-то язву»; «В городе свирепствует какая-то эпидемия: боль горла, головы, неприятное ощущение во всём теле –

вот признаки её; впрочем, она не опасна». «Эпидемическая болезнь, которую называют *гриппом*, многих засадила дома» (тут уже и название болезни), а вот и привычное нам сегодня выражение: «Наконец и меня прихватил *грипп*». Однако «Северная пчела» в 1837 году считала ещё необходимым разъяснять значение слова «1 января обнаружилась здесь болезнь, известная уже в России. Это *gripрe*, *грипп*». В последний месяц жизни А. С. Пушкина столица была охвачена гриппом, и горожане уже знали название болезни. П. В. Анненков вспоминал о В. Г. Белинском, который болел «обычными зимними дарами Петербурга – флюсами, гриппами и подчас жабами», – в общем ряду других выразительных именований стоит и наш грипп. Всё это пока образ х р и п («боль горла, головы» и пр.). Выражения *застудил грипп*, *вызвал грипп* – обычны.

Любопытно следующее. Новое слово осваивали в столице, а в Москве обходились домашними оборотами: «Он возвратился из подмосковной с лихорадкою» (И. И. Дмитриев); впоследствии вплоть до 20-х годов XX века предпочитали слово *инфлюэнца*. В Петербурге же наряду с этим итальянским словом известно и немецкое – *тиф*. Интеллигенты «немецкой» ориентации (А. А. Фет, П. А. Кропоткин и др.) предпочитают именно его. Но ни итальянское, ни немецкое слова не стали обозначать грипп, поскольку *тифом* стали называть совершенно иную болезнь, а слово *инфлуэнца* частенько использовали в его прямом значении 'влияние' (в романе А. Ф. Вельтмана это слово даже многозначительно выделено: «...это был начальный, безотчётный момент и н ф л ю э н ц и и гражданственности на нежные чувства»).

Впервые в академический словарь новое слово попало в 1847 году. Простонародный русский хрип и салонный *грипп* долго не поддавались литературной нормализации. С пушкинских времён известны формы *гриппа* (женского рода) и *грипп*, а написание *грип* сохранялось вплоть до 30-х годов XX века (только лица, знавшие, что во французском слове две соглас-

ные, писали *грипп*). Основное понятие о *гриппе* – 'катаральная болезнь дыхательных путей', т. е., может быть, совсем и не грипп. Прилагательные от этого слова долго образовывались по старинке, с русскими суффиксами: *грипный*, *гripповой*, и только в последние годы XIX века появилась форма *гриппозный*; к 40-м годам XX века только это прилагательное и осталось.

Глаголы, образованные от заимствованных слов, появляются обычно после того, как слово вошло в обиход. Сегодня известен уже глагол *грипповатъ*, которого не указывает ни один старый словарь или текст. В первых изданиях «Словаря русского языка» С. И. Ожегова его также нет, а в недавних он указан уже как «разговорное» слово: *Мария Федоровна простудилась немножко, грипповала* (В. Конецкий).

Тем самым закончилась история слова *хрип*, которое окончательно превратилось в *грипп* и стало термином. Уже у Ф. М. Достоевского был только *грипп*, однако и врачи, и журналисты, и лингвисты, как будто не желая пользоваться этим просторечным словом, продолжали говорить об *инфлуэнце*. Общего слова для именования болезни всё ещё не было, оттого и возникал разнобой в названиях и появлялись новые слова.

В 1920 году газеты Петрограда писали о том, что поэтическое слово *испанка*, с которым мы привыкли связывать девушку в мантилье с гитарой «при пламенном взоре», стало употребляться в значении 'грипп'. *Испанкой* именовался грипп, пришедший в то время из Испании. Но слово *испанка* не могло бы и со временем стать термином, который обязательно должен быть кратким, похожим на иностранное слово, не совпадающим по значениям с другими словами и притом по возможности интернациональным. Таким термином стало слово *грипп*.

Однако самое главное в истории слова *грипп* связано, конечно, с пониманием заболевания: не просто жар (*горячка*) или лихорадочное состояние (*инфлуэнца*), не обычное «острое респираторное заболевание»

(*хрип*), а «острое вирусное заболевание» (*грипп*). Отработка термина в языке шла параллельно с изучением и постижением самой болезни. Вполне возможно, что дальнейшее углубление в её сущность вызовет необходимость и в появлении других слов или форм слова.

История звукового наложения французского слова *grippe* на русское слово *хрип* в устной речи поучительна, но это не единственный пример создания новых слов подобным образом. Совпадение в звучании (просторечное *х* в Петербурге звучало жестче, «грубее» московского) и сходство или близость в значениях слов обеспечили «победу» нового термина.

Кажется? Выглядит? Смотрится?..

В современном словаре синонимов рядом стоят: *выглядеть, казаться* и *смотреть* – первое признано литературным, два других – разговорными. Все они одинаково значат 'иметь вид, казаться на взгляд'. Но во времена Пушкина литературным было только *казаться* (в этом значении известно с конца XVIII века), а в середине XIX века – *смотрит*.

Значит, то, что сегодня считается разговорным, уже было литературным. *Глядит плутовкой* – это А. С. Пушкин; *ты смотришь каким-то плохим городским мещанином* – это И. С. Тургенев. Без частицы *-ся. Смотреться* – значит смотреть на себя самого, рассматривать себя (например, в зеркало вод могут смотреться деревья). *Смотрится* также фильм или спектакль, в персонажах которого «узнают себя»; и это узнавание обязательно для того, чтобы иметь право сказать: *смотрится* или *хорошо смотрится. Он смотрится гоголем* – ваша точка зрения на него; *он смотрится* – уже переключение внимания с вас на него, так как вы – в стороне, вас нет, вы просто не нужны для этой речи.

Сочетание *хорошо смотрится* вообще бессмысленно, потому что сам глагол содержит в себе пред-

ставление о положительном качестве: *смотрится* – значит хорошо. То, что плохо, – не смотрится. Слово *смотрится* выражает вашу личную оценку того, что вы видите, на что смотрите. В этом его смысл, для того оно и возникло совсем недавно в художественной среде больших городов (актеры, художники, модельеры), а затем пошло гулять по свету. Только плохо, когда слово употребляется не к месту.

Но одновременно и *глядит плутовкой* в XIX веке изменилось: *выглядит плутовкой*. И. С. Тургенев назвал его «типично петербургским словом», и совершенно справедливо.

До конца XIX века почти все писатели пользуются только глаголом *смотрит*: *Он смотрел точно больным человеком*; *Он смотрел тогда ещё молодым человеком*. Однако во фразе из «Отечественных записок» *Она смотрела истинным олицетворением печали* московский критик счел нужным исправить *смотрела* на *являлась*. Мемуаристы второй половины XIX века предпочитают глагол *глядел* (*выглядывал*): *Он глядел красавцем*; *Он глядел меланхоликом*.

Если слово *казался* не нравилось примерно полвека, а к слову *смотрит* привыкали лет семьдесят, *выглядит* больше ста лет не могло попасть в литературный язык. Судите сами. Н. И. Греч, описывая петербургского немца, придворного, слово *выглядит* выделяет как необычное: «...Прислали к нему Николая Ивановича Демидова, чтоб посмотреть, как он в ы г л я д и т». А в 1839 году сын его, лексикограф А. Н. Греч, уже рекомендует: «Не довольно обруселые немцы, переводя с нем. *Sie sieht hübsch aus*, говорят *она хорошо выглядит* вместо *она хороша собой*... Слово *выглядеть* значит то же, что *разглядеть*, и отнюдь не может быть употреблено в значении, которое ему придают неучёные». Сорок лет спустя Я. К. Грот заметит, что слово это «противно как духу русского языка, так и грамматике». Почему же грамматике также?

Такую форму, между прочим, употребил А. П. Чехов: *Она выглядывает семнадцатилетней.* Очень

хороший стилист, А. С. Суворин в те же годы также пишет: ...*Он выглядывает очень крепким и здоровым человеком*. Однако это куда ни шло, решили критики начала XX века, «классик употребил провинциализм, который мог войти в литературную речь: вчера это была погрешность, завтра это закон; ничего не поделаешь. Но что Гаев (“Вишневый сад”), старый барин, помещик, помнящий крепостное право, говорит: ...*Ты, Люба, как-никак выглядишь лучше* – это промах художника. Чеховы так говорили, Гаевы – едва ли». Мнение странное, если учесть, что уже с 40-х годов XIX века писатели-петербуржцы М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский и другие пользовались словом *выглядит*, пользовались, несмотря на критику. Когда М. Горький написал не однажды осмеянную фельетонистами фразу *Лошади выглядели усталыми*, его поучали кто как мог. Например, указывали, что И. С. Тургенев сказал бы: *Лошади казались усталыми*. Вряд ли: Тургенев этому слову предпочел бы *смотрели*, не на немецкий, так на французский лад.

Причина подозрительности этого *выглядит* – в его исключительной форме: слово одиноко в ряду глаголов, но очень на них похоже. Было сделано несколько попыток его «русифицировать», приладить к нашей грамматике. Мало показалось форм *выглядит* и *выглядывает*, – стали их сравнивать со *смотрит* и *высматривает* (*После болезни он высматривает стариком*; *Она высмотрит на больную*). Близость между *глядеть* и *смотреть* настолько очевидна, что употребление слова *выглядит* в значении ’хорошо или плохо смотрит’ не должно удивлять. Немецкий глагол *aussehen* только скрепил русские глаголы *смотрит* и *глядит*, сделал из них *высмотрит* и *выглядит*. Но ещё в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова *выглядит* – германизм. Свидетели эмигрантской жизни Ивана Бунина передают: писатель требовал, чтобы говорили «у вас хороший или плохой вид», и считал недопустимым выражение «вы хорошо или плохо выглядите».

Тем не менее к слову привыкли. Но стоило ему стать литературным, в подчеркнуто эмоциональной речи неожиданно возникло новое словечко того же рода — *смотрится*. Видимо, есть в языке необходимость в подобных словах, раз они возникают. На этот раз слово появилось уже не в среде дворянских писателей (*смотрит*) и не в чиновной среде (*выглядит*), а в среде художников: *смотрится* и *ваза*, и *костюм*, и *платье*, т. е., другими словами, вещь гармонирует с чем-то. Специальное, нужное для каких-то профессий слово.

И снова: на первый взгляд как будто слово *смотрится* «продолжает» литературное *смотрит*, только с частицей *-ся*. Но, с другой стороны, налицо и влияние. Вот перевод с английского: *Молодой человек смотрится элегантным и искренним*, а в оригинале слово *appears* 'кажется, выглядит, представляется со стороны'. Со стороны!

Так что если вглядеться в двухвековую цепь эмоционально усиливавшихся замен: *является* — *кажется* — *смотрит* — *глядит* — *выглядит* — *смотрится*, — легко обнаружить единство в общем значении слов. Это смена впечатлений о том, что «кажется».

Является что-то реально: *кажется*, что взаправду.

Кажется — то, что показывается, выражая при этом внешний контур увиденного: и тут важнее не наш взгляд, а сама вещь или лицо.

Выглядит — внимание переносится с предмета на видимость вещи; в сыром воздухе Петербурга зыбко расходится контур предмета, он не *смотрит*, а только *выглядит*, и нет никакой уверенности, что выглядит так, каков он на самом деле.

Смотрится — не важен теперь ни сам предмет, ни его видимость, но важно ваше к нему отношение и то, как именно вы выражаете в нём себя.

В постоянной смене разговорных слов, придуманных и переведённых, — стремление всё точнее выразить субъективизм впечатлений. И только в этом — в философском смысле — можно согласиться с теми, кто возражает против употребления в речи слова *смотрится*.

Влияния проходят: со стороны французского – *смотрит*, со стороны немецкого – *выглядит*, со стороны английского – *смотрится*.

Подобных словечек много, мы их просто не замечаем в своей речи. Например, наблюдается постепенный сдвиг значений в выражениях *я так думаю* и *дело проясняется*. *Я так думаю – мне так кажется – мне думается*, выражая одну мысль, сменяли друг друга. Для народника П. Н. Ткачёва два первых – ultima ratio ('решающий довод') публициста, но четверть века спустя другой публицист уже полагал, что *мне кажется* («а не *думается*, как выражаются иные») всё-таки лучше. Лучше оно и сегодня: в нём нет стремления выдать за последний аргумент собственное чутьё. Вспомним ещё: *дело прояснилось* (само по себе) – *дело вырисовывалось* (на наших глазах) – *дело высвечивается* (перед нами, но только в наших глазах). Нет в языке пустых слов: они всегда выразят наши чувства, выдавая нас, если и захочется нам слукавить.

Калоши и галстуки

Слово *калоши* многим покажется архаичным: нужно говорить *галоши*. Но не забудем, что телефон у К. Чуковского зазвонил в Петрограде, а там ходили в *калошах*.

Поразительна устойчивость форм *калоши* и *галоши*. До середины XIX века носили только *калоши*. В «Истории двух калош» В. А. Соллогуба и немец сапожник говорит: *Kaloschen!*, и русский заказчик: *Бедные калоши!*, и сам автор: *Были это ещё кожаные калоши...*

Это очень странно, если учесть, что в немецком языке имеется слово *Galosche*, а во французском – *galoche* (оба с *г*). Петербургский немец, несмотря на влияние и немецкого и французского языков, предпочитает говорить *Kaloschen!* Немецкое слово восходит и к французскому, а то и к средневековой латыни: *gallicae* 'галльская обувь (для грязной погоды)'. Древ-

неславянское слово *колоча* тоже заимствовано из латинского, но соотносится со словом *calcea* 'штанина' (ср. современное украинское слово *холоша* 'штанина, обмотка'). Древнерусское произношение этого слова, как можно судить по написаниям XV века, – *колоша* (ещё без «акающего» произношения предударного гласного).

Итак, в Петербурге XIX века носили кожаные и резиновые *калоши*, и только *калоши*.

Со временем стали различать резиновые *галоши* и кожаные *калоши*. Появились и разъяснения: «*калоша* – надеваемая на сапоги, *колоша* – в горном деле»; «старинное русское *калоша (колоша)*, более принятое в наше время, рекомендованное и Гротом, не вытеснило, однако, чуждой народному языку французской формы *галоша*. Некоторые колеблются и теперь»: у Куприна *без калош – в высоких галошах*; «*Калоша* женского рода – нижняя часть брюк от колен. *Правая калоша, левая калоша*» и т. п. Всё время пытались различить *калоши* и *галоши*: то кожаные, то штанина, то краги, то ещё что... не хочет русское слово уйти без оглядки. И даже Игорь Северянин решается *окалошить ноги*, может быть, оттого, что в его время *огалошить* звучало бы не столь поэтично. Когда потребовалось слово высокого стиля, другой поэт, Н. Ф. Щербина, создал лжеславянизм *клаши* (но не *глаши*).

Между тем и *галоши* шлёпают по петербургским мостовым: о *высоких галошах* как особой обуви пишут Н. А. Добролюбов, И. И. Панаев, А. И. Куприн. Только в начале 30-х годов XX века специальным распоряжением по ленинградскому заводу «Красный треугольник» (который отливал калоши для всей страны) было приказано говорить и писать *галоши*, старинное слово *калоши* отменялось. Типично ведомственное распоряжение, поскольку в те же годы литераторы требовали обратного: говорить и писать *калоша*. Как бы то ни было, но ленинградские писатели предпочитали форму *галоша*, неленинградские – *калоша*: начальст-

венный приказ возымел силу, и русское слово *калоши* окончательно ушло.

Та же история с *галстуком*. Две формы существительного появились почти одновременно, при Петре I: *галздук* был заимствован из голландского языка, а *галстух* – из немецкого. И то и другое означает 'шейный платок'. О *галстухе* говорили А. С. Пушкин, К. С. Аксаков, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев и другие писатели до конца XIX века. Однако форма и тип галстука постоянно изменялись. Н. И. Греч описывал, как «шею обертывали бесконечною косынкою: это была последняя парижская мода, наистрожайше запрещённая нашим правительством». Позже стало модно носить толстые галстухи – высокие тугие галстуки на щетине...

В демократической среде 60-х годов XIX века неожиданно возникает и *галстук*. Отражая новое произношение, его заносят в дневники. У Л. Н. Толстого в «Детстве» мальчики повязывали *галстухи*, но в «Анне Карениной» носят уже *галстуки*. Немецкое произношение уходит, сменяясь русским, которое в 1895 году пытался обосновать и Я. К. Грот: «Многие, в точности держась немецкой формы слова, пишут *галстух*, но ошибочность этой формы в русском языке видна из уменьшительного *галстучек*: [х] по общему звуковому закону превратилось бы в [ш], а не в [ч]», как *галстучишко*, *галстучник*, *галстучный*. Не очень точное замечание: писали и *галстушек*! Сам Грот в словаре поясняет: «*Галстук* – шейный платок». Так платок (*галстух*) или собственно *галстук*? Справимся у очевидцев.

У Ф. М. Достоевского герой *стаскивал с себя галстух – совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уже тесёмку* – шейный платок. И. И. Панаев пишет по-разному: *поправляя свой шейный платок; белый галстух несколько раз обвёртывался кругом его шеи; длинные концы его узорчатого галстуха* – тоже шейный платок. В зависимости от того, о чём речь, *галстук* и *галстух* различают и Н. А. Добролюбов, и В. А. Соллогуб, и др. Но стоило шейному

платку стать французским *кашне*, мы утратили и *галстух*. Немецкое произношение уходит вместе с вещью.

Не забудем, что все эти слова – бытовые, чаще всего употребляются в устной речи, а здесь мы довольно свободно заменяем сходные звуки. Говорим, например: *Бога*, но *Бох* или *дорога*, но *дарк*. При отсутствии резких различий между вещами *галоши* и *калоши* или *галстук* и *галстух* тоже могли совпадать в произношении. Сравните варианты произношения других согласных, скажем, в словах *матрац* (из немецкого) и *матрас* (из голландского), *шкап* и *шкаф*. Русскому звучанию более свойственны длительные согласные на конце слова: так и появилось русское произношение *матрас* и *шкаф*. Или наоборот: произносим французское слово *винегрет*, иногда стараясь, по правилам русской фонетики, озвончить конечный звук *т* в формах склонения (*винегреда* – это ошибка, надо *винегрета*). Оказывается, в каком произношении ни получили бы мы иностранное слово, со временем приспособится новое слово к нашей обычной речи. А если так, то зачем нам два типа к а л о ш или разные г а л с т у к и?

Тем более, что галош не носим, а галстуки не в моде. Впрочем, говорят, что входят в моду.

Буханка и булка

В языке постоянно возникает необходимость создать «самое общее», родовое по смыслу слово. Вот пример, быть может, интересный. Он покажет роль иноземных слов в естественном (для зрелой мысли) развитии степеней отвлечённости. Даже если речь заходит о вещах простейших.

Многочисленность выпечных изделий требовала и слов, в которых соединялись бы некоторые общие для них признаки. Название целого хлеба, независимо от его качества и размера, в русском языке постоянно изменялось, в угоду выразительности речи или для уточнения понятия о самом изделии. Древнейшее на-

звание (с V века) – *хлеб*, затем – *хлебец*, с древности известны *каравай* и *коврига*, и вот уже больше века на берегах Невы покупают *булки*, а с недавних пор – и *буханки*.

По мнению учёных, и *булка* и *буханка* заимствованы из западноевропейских языков (т. е. опять-таки из латинского) через посредство польского. *Булка* – из французского слова со значением 'шарик'; первые булки были у нас только «французские», и не всегда круглые. *Буханка* – из немецкого слова со значением 'белый пирог'. Чужие слова своим звучанием и значением чем-то напоминали привычные русские, может быть, того же древнейшего корня, что и латинские: *булка* – как *булава* 'шишка', а *буханка* – как *бухоня* (по Далю – 'толстяк'). Уже в конце XV века «Домострой» описывал *хлебы квасны и бухоны. Бухонный хлеб* – пышный, хорошо заквашенный и испечённый, обычно духовитый, мягкий и тёплый. Выходит, ещё и не каждый хлеб мог стать буханкой, а только очень хороший. Поначалу это признак качества хлеба, а не формы, т. е. не имя, а определение.

В XIX веке разницы между хлебом и булкой, по-видимому, ещё нет. У А. Ф. Вельтмана героиня видит *булку*, но просит *хлеба*. Современники пишут о *французской булке*, о *сдобной булке*, о *кислой булке*, о *русской сайке*; при их покупке обычно спрашивают: *Каких желаете булок?* Особенно в рассказах о женщинах часто упоминаются булки, так что можно понять, что говорится именно о белом хлебе.

Чем дальше, тем непонятнее становится отношение слова *булка* к прочим «хлебным» названиям. Вот «Северная пчела» пишет в 1833 году: «Вы любите вкусные выборгские крендели? И как их не любить! – они прекрасны!.. Теперь здесь в Петербурге, у Семионовского моста на углу Моховой улицы есть русский булочник, которого крендели лучше выборгских! Он умеет делать и французские булки, ничем не уступающие тем, какими снабжают нас хлебники-немцы... Крендели Иванова напоминают пирожницу,

жившую тому лет двадцать на Васильевском острову и снабжавшую петербургских лакомок превосходными пирогами!» В начале XIX века была *пирожница*, которая пекла пироги, затем её сменили немцы *хлебники*, и вот теперь им на смену приходит русский *булочник*. *Пирожник – хлебник – булочник*... *Булка* – французская, *крендели* – выборгские, *пироги* – домашние – везде какое-то указание на особенность выпечки. Но Ф. М. Достоевский в «Бесах» говорит о *немецкой белой булочке*, русской *сдобной булочке* и *обыкновенном французском белом хлебе*. Булка эта по форме круглая, может быть и белая, всё же остальное ещё не вполне определилось. Л. Ф. Пантелеев говорил о *булке из первача* – из грубой муки. Ф. М. Решетников говорит уже о *пекарской булке* – каравае весом с полпуда; тут важно не качество, а форма: п о х о ж а на каравай.

В XIX веке в столице говорили: *коврига хлеба*, *каравай чёрного хлеба*, ещё раньше – *каравай ржаного хлеба*, просто *хлеб* – чёрный, ситный, печёный, чёрствый или мягкий. *Булка хлеба* или *буханка хлеба* – не говорили.

Кстати, словосочетание *чёрный хлеб* пришло из городского просторечия под влиянием речи нерусского населения. Это видно и по ранним употреблениям этого сочетания (обычно у писателей – обрусевших немцев), и по установившейся традиции обозначения хлеба, сохранённой, например, в «Пулковском мередиане» В. Инбер:

Не зря старушка в булочной одной
Поправила стоявших перед нею:
– Хлеб, милые, не чёрный, он ржаной,
Он ладожский, он белого белее...

Свой вклад в распространение новых определений внесли разночинцы. В мемуарах петрашевцев выражения *ел белый хлеб* и *купил булку белого хлеба* употребляются ещё как равноправные. В коммуне, созданной в 70-е годах XIX века писателем В. А. Слепцовым, «ссоры между женщинами начинались с того,

что одно и то же они сознавали по-разному»: одни говорили *белый хлеб*, а другие – с иронией – *булка*. Противопоставление *хлеба булке* становилось социальным знаком, и у Н. В. Шелгунова встречаем: *Мужик отлично знает вкус не только чистого ржаного хлеба, но и пшеничной булки*. Определения пока что обязательны.

Хотя писатели употребляли и слово *булка*, всё время уточняя его определениями, и слово *буханка* (Н. В. Гоголь – как украинское слово), лексикографы не спешили включать их в словари. Только В. И. Даль, говоривший о живом языке, упомянул *булку*, да в академическом словаре 1892 года встречается это слово. В 50-е годы XX века для составителей 17-томного «Словаря современного русского литературного языка» эти слова не существуют (признаны вульгарными). В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (30-е годы) есть только *булка*, а слово *каравай* признается областным, не литературным. У С. И. Ожегова (40-е годы) появилась уже и *буханка* 'формовой хлеб', а в последних изданиях (80-е годы) *буханка* как 'формовой, обычно чёрный хлеб' противопоставлена *булке* 'хлебец из белой муки'. Два слова как бы разграничивают понятия о белом и чёрном хлебе. Ленинградцы помнят блокадные буханки хлеба, которые были на вес золота. Булок – не было.

Стоило лишь утвердиться снабжённому суффиксом уменьшительности слову *булочка*, как старое *булка*, в которой видели только определённую булочку, стало использоваться и как родовое по смыслу. *Булкой хлеба* стали называть белый хлеб, но не в Ленинграде.

Как же употребляет эти слова современная печать? *Буханка хлеба* или просто *буханка* – для чёрного (потому что он не обязательно является ржаным), а *булка* – для белого (но без добавления слова *хлеб*). Быть может, имеет значение форма выпечки. Сдобные *караваи* – сдобные же *буханки*... Образ тот же...

Важным признаком включения разговорного слова в литературную норму является и появление произ-

водных. В этом смысле *булке* повезло больше, чем *буханке*, потому что *буханка* моложе *булки*. *Булочная* известна более ста лет, *булочник* – раньше, *булочки* взамен *булок* появились совсем недавно. Сегодня во многих городах можно видеть вывески *«Булочная»* или *«Булочная-кондитерская»*, что изумляет жителей прочих мест, которые привыкли к надписи *«Хлеб»*. Однако не встречается слово *буханочная*, да и *«буханочников»* нет.

В определении хлебных изделий сегодня мы пользуемся принципом, совершенно отличным от прежних: не дробность определений, а общее значение; не частные особенности выпечки, какими отличались тогда мастера, местности, традиции и т. д., а по самым главным признакам: белый – чёрный, формовой или нет.

Общее значение в родовом по смыслу слове языковеды называют г и п е р о н и м о м, т. е. сверхсловом. Речь горожан нуждается в гиперонимах, только с их помощью можно сразу назвать самые разные вещи и явления. Такие слова облегчают общение, их проще запомнить внове. Появление гиперонимов отличает от разговорной речи литературный язык города, новой культуры. Однако в жизни самого языка умножение гиперонимов – тоже тупик: в своём развитии дойдя до предельно общего смысла, мысль остановится в слове, поблекнет в нём образ и – сократится словарь.

8 Зак. 207

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ИСКОННЫЙ КОРЕНЬ

Труд и работа

Во многих языках различие между трудом и работой обозначается разными словами. По-английски, например, практическая работа (она же и физическая) называется *work*, работа в экономическом смысле – *labour* (лейбористы). Карл Маркс специально заметил, что в немецком языке подобного различия между двумя словами нет, и те, кому это выгодно, смешивают в своих речах понятия о вложенном в дело «труде» и о произведённой в результате этого «работе».

В русском языке труд и работа издавна различались. *Работать*, понимая дело по-русски, может не только человек, но и машина, учреждение, и всё на свете, это значит просто-напросто «действовать, функционировать»: *туалет не работает*. Можно сказать *станок хорошо работает*, *магазин не работает*, *время работает на нас*. Даже время – и то «работает», то есть производит некую работу. *Трудится* же только человек. Станок не трудится, магазин не затрудняется, время тоже не трудится, не говоря уж о туалете.

Из многих слов, обозначавших в древности конкретные виды трудовой деятельности, в современном русском языке сохранились три: *труд*, *работа*, *дело*. Делом называли самый важный, но и самый тяжёлый, физический труд, прежде всего труд земледельца, который *делает пашню*. Это созидательный труд, основа общественного богатства. Трудом называли напряжённую и длительную творческую работу, которая утомляет человека не физически, а эмоционально. Работой же назывался подневольный и тяжкий труд раба

(работа в переводе с древнеславянского и значит 'рабство'). Дело делали по желанию, труд исполняли по долгу, работу по обязанности и нужде.

Разница в значениях этих слов отчасти сохранилась в древних текстах, а также в пословицах. *Дело мастера боится,* но *работа не медведь, в лес не убежит* – уважительное отношение к делу и неодобрительное – к работе. Труд же во все времена был связан с использованием ума и чувства человека, он требовал знаний, опыта и выдержки: *терпение и труд всё перетрут.*

Благодаря исключительной важности всех трёх слов, значение их постоянно изменялось в связи с изменением классовой структуры общества, социально-экономическим развитием и новым отношением человека к самому труду. Навсегда, как нам кажется, исчез рабский труд – и потому отчасти изменилось значение слова *работа.* Физический труд теперь часто связан с навыками творческого дела – и потому изменилось значение слова *дело.*

Однако старое противопоставление слов сохраняет силу и теперь. В нашей литературе терминологическое значение слов *труд* и *работа* уточнили философы и социологи. В афоризме Фридриха Энгельса «труд создал человека» не случайно в русском переводе использовано слово *труд.* Речь идёт о сознательном, творческом труде, который организует человеческий коллектив, развивает его возможности, человека делает человеком. Это не подневольная *работа,* но и не привычное *дело.*

Мы говорим: *это дело всей его жизни,* если оно делается, но – *это труд всей его жизни,* если он создаётся (например, пишется). Мы можем сказать о рукописи: «этот труд лежал на столе», или проще: «эта работа лежала на столе». Но сказать: «это дело лежало на столе» – значит говорить уже о чём-то совсем другом (*личное дело,* т. е. досье: приходится однозначным иностранным словом пояснять многозначность слова русского).

Примерно так же изменяли своё значение прилагательные и глаголы, связанные с этими словами. *Делать, дельный, деловой* отличаются от *трудный, трудовой, трудиться*, как слова с выражением «деятельного» значения отличаются от слов со значением напряжённо-длительного, сосредоточенного процесса деятельности.

Кроме того, слова с корнем *дело* характеризуют исполнителя, а слова с корнем *труд* определяют качество самой работы. Объективная и субъективная характеристики трудового процесса как бы разошлись, и теперь каждая из них выражается собственным словом. *Дельный человек* сделает и трудную работу, а *деловой* человек легко организует трудовой процесс. Слово *работа* постепенно утрачивает свои исконные значения, но и в нём ещё можно обнаружить следы древних смыслов. Мы говорим о «грязной работе» (это плохо исполненная или безнравственного содержания деятельность), тогда как выражение «грязное дело» несёт совершенно иной смысл (это – подлость), а «грязного труда» вообще не существует, потому что труд – всегда творчество хорошего и полезного.

Чем древнее слово, тем больше изменений в нём произошло. Самым древним из трёх является слово *дело*. Землю пахать стали много раньше, чем творить поэмы. С формами слова в единственном или множественном числе связаны разные значения, а обилие суффиксов, возможных при этом корне, позволяет «играть словами», намекая на самые неблаговидные дела и делишки. Вот как пишет Федор Достоевский о знаменитом в его время издателе: «Напротив, не делая литературного *дела*, а обратив его в *дела*, Андрей Александрович тем самым *обделал* и свои *делишки*... и, хотя и *говорит не дело*, но, говоря это *не дело*, воображает, что успевает *обделать другое дело*, которое наиболее *считает за дело* и которое отлично могло бы *устроить его дела*». Все выделенные здесь выражения связаны с одним, вполне определённым смыслом, весьма неблаговидным, так что, пользуясь един-

ственным словом, писатель успевает рассказать о многом... не говоря уж о том, на что он попросту намекает.

Слова изменяют свои значения, впитывая в себя те оттенки смысла, которые накладывает на них время. Сто лет назад самым важным из трёх всё ещё оставалось слово *дело*. Например, народники и революционные демократы употребляли его при обозначении самых важных своих действий. И революция для них – Дело. Потом у нас всё чаще стало употребляться слово *работа*: *пойти на работу*, *работа у нас такая*, *сидим без работы*... Сегодня на первый план выходит слово *труд* – именно оно оказалось связанным с обозначением свободного, творческого, всегда нового дела, в котором сам исполнитель заинтересован и которому он отдаётся целиком, несмотря на трудности трудового процесса. Именно такой труд создал человека и, надо полагать – создаст и *современного* человека.

А тот, кто работает, – *работник*... *работник* или *рабочий*? Тот, кто трудится, – *трудник*... *трудник* или всё же *труженик*? И вот неожиданность: в русском языке нет слова, которым можно обозначить того, кто *делает дело*. *Делатель* – очень старое слово, теперь его не употребляют, хотя ещё Николай Некрасов напомнил о русском крестьянине, обращаясь к России: *делатель твой и хранитель*. Сохранились и всё время образуются новые, одни лишь неодобрительные по смыслу слова, вроде таких: *делец*, *деляга*, *делаш*, а то уж и просто *бездельник*. Случилось так потому, что словом *дело* в наши дни стали обозначать результат труда (*дело сделано*, *будет сделано!*), а исполняющего его человека называют с помощью других слов: *работник*, *труженик*.

Старинная форма *трудникъ* сменилась причастием *трудящийся*, чтобы сильнее подчеркнуть мысль о деятельности, о действии. В наши дни уважительное отношение к старательному работнику подчеркивается новым, по форме совершенно русским, даже разговорным словом *труженик*. То же и относительно слов

работник и *рабочий*. *Рабочий* всегда на физических работах, *работником* может быть и лицо «умственного труда».

На то, что наши словесные корни ещё живы, указывают всё новые образования, которые возникают на их основе. *Трудяга* – трудолюбивый человек, старательный работник; в отличие от *работяги* он не «тянет работу» рабства, а «живёт свободным трудом». *Трудоголик* – слово, образованное по типу других, например как *алкоголик*; трудоголик постоянно в трудах и заботах. Не удивительно ли – тоже от корня *труд*?

Делец и делаш

Дело – русское слово, которое всегда употреблялось при обозначении самого необходимого для общества труда. Земледелец занимается делом, кормит мир. И любой человек, который трудится на общую пользу, – действователь, работник, трудник.

Однако труд трудом, дело делом, а не всякий желает трудиться на общую пользу.

Старинный русский корень стал родоначальником многих слов, в которых движение словесного образа происходило с помощью суффикса – невзрачной, кажется, части слова, но необходимой для выражения разных оттенков смысла. В том числе и отрицательного.

В 30-е годы XIX века петербургское общество бурно спорило: *деятель* или *делатель*? Слово *деятель*, только что вошедшее в русскую речь, осмеивалось и порицалось. В. И. Даль навсегда остался при этом мнении и предпочел слово *делатель* – однако через одно поколение, в 60-е годы, *деятель* окончательно победил и ушедшего навсегда *действователя*, и дряхлеющего *делателя*.

Какой смысл был в замене слов, которые в Академическом словаре 1847 года и стоят-то рядом, и значат почти одно и то же: *действователь* – действую-

щий, *делатель* – делающий, *деятель* – делающий или производящий что-нибудь? А разница есть, и немалая.

Разница в идеологии. Формой слова, почти не изменяя корня, сумели показать изменения, происходившие в характере человеческой деятельности и действия: *действователь* – тот, кто действует, *делатель* – тот, кто делает, *деятель* – тот, кто трудится, производит, работает, работает надо всем, занимается всем, деятелен. Совершился поворот мысли от идеи о действии к идее о самом работнике.

Поначалу всякий выдающийся чем-то работник – *деятель*, но ведь дело-то может быть разное, тем же словом можно назвать необязательно трудягу и труженика; сегодня *деятелем* (как бы в кавычках) мы спокойно называем совершенно бесполезного для общества гражданина, который, однако, в личных интересах деятельно суетится.

Пожалуй, только в конце XIX века *деятель* стало словом, вызывающим некоторое недоверие. С одной стороны, конечно, «выдающийся деятель», но обязательно в сочетании с определением; отдельно *деятель* – как-то странно. Известный шестидесятник Л. Ф. Пантелеев, вспоминая события 1862 года, писал об одном чиновнике, который «был в Вологде перед тем вице-губернатором, потом *деятелем* в царстве Польском за время Милютина». Слово это автор даёт курсивом, желая обратить внимание читателя на необычность его значения. И мы понимаем: не очень хороший был *деятель*.

Этим дело не кончилось – объективное представление людей, говорящих по-русски, относительно работника развивалось. И вот как эту линию продолжил разговорный язык, не совсем удовлетворённый ироническим значением слова *деятель*.

От существительного *дело* образовались определения: *дельний* и *деловой*. Опять вроде бы разница незаметна, но разница тонкая и важная. *Дельный* – способный к работе, которая и составляет, прямо ска-

зать, сущность человека, толковый работник. *Деловой* с работою только с в я з а н, может быть внешне, иногда и совсем неясно – как именно. «Лучший способ стать дельным человеком – не выходить из круга ясных понятий», – заметил критик М. А. Антонович, который сам чаще употреблял всё же слово *деловой*. *Деловой человек* у него встречается как бы с неким сомнением, как и у Ф. М. Достоевского, говорящего о «девизе настоящего делового человека».

Двусмысленность *делового* сказалась и на последующей истории слов. Для всякого русского *деловой* – занятый делом, но и в воровском жаргоне словечко прижилось: не *дельный*, а именно *деловой* там означало «способный жулик». С точки зрения смысла – полная противоположность *дельному*.

Образное представление о *деловом* концентрируется в имени. На первых порах слов, обозначающих «делового», множество: *деловец*, *деловик* и др. *Деловец* пришел из XVIII века, так называли дельцов известный писатель и учёный А. Т. Болотов и его современники. Слово неприятное. О педагоге Д. Ушинском писал его ученик: «Работал чуть не по 20 часов в сутки, труженик; сильный, трезвый ум этого настоящего деловика, очень образованного...» Слово *деловик* хоть и овея но положительной эмоцией, но очень неуклюже.

В середине XIX века появился *делец* – и тоже поначалу как вполне приличное слово. В дневниках цензора А. В. Никитенко *делец* – деловой, деятельный, энергичный человек, прежде всего капиталист, но не только капиталист. Журналист или правительственный чиновник, деятельно участвовавшие в жизни, также именовались *дельцами*. Да и вообще официальные лица почитают его вполне приличным обозначением делового человека, например известный нам АБ, который и сам чиновником был, да притом из важных. Но в обиходной речи людей демократической среды *делец* с самого начала получило неодобрительный смысл. С осуждением поминают его критик и писатель

А. В. Дружинин, петербургские бытописатели; для Вс. Крестовского в его «Петербургских трущобах» *дельцы* – «мастера» в шулерском доме, тогда как чиновников, «деловых людей», он же постоянно именует *делягами*. Так, в самом слове *делец* обнаружилось нечто неприятное, но таково уж свойство русских слов: пристегнули соответствующий суффикс, значит – сразу же зарядили слово новой экспрессией, в данном случае отрицательной. *Мерзавец, подлец, стервец... делец*. Сегодня для нас делец – совершенно неприемлемый тип деятеля, хуже, чем *деятель*...

Можно проследить, как сто лет назад в обществе возникало представление о дельце. Мемуары описывают не только лиц и события, они выражают и дух своего времени, а дух этот лучше всего заметен в предпочтительности того или иного слова. Мемуарист-аристократ К. Ф. Головин и публицист-демократ Н. В. Шелгунов видят это по-разному.

У Головина рядом: «Были, правда, и встарь *деловитые* люди» – хозяева в деревне, каждый мечтал «о биржевой спекуляции и воображал себя *дельцом*»; а вот и по поводу провинциалов: «Узнал я кое-кого из местных так называемых *деятелей*» – и это «были не только *деловые* люди, но прямо "*дельцы*" в тесном смысле слова, смотревшие на городское благоустройство с точки зрения своего личного благосостояния». *Дельный – деловитый – деловой – деятель* и *делец*, да ещё в «самом узком значении слова», – всё тут есть, но хорошо видно, что *делец* лишь тот, кто «около» настоящего дела. Понятие о настоящем деле тоже постоянно меняется, так что многие мемуаристы на рубеже XIX–XX веков в ранг «дельцов» возводят последовательно бюрократов, затем финансистов и после всего политиканов.

А вот свидетельство Шелгунова из 1880-х годов: «Люди дела, т. е. теперешние деятели – *дельцы*». Значение ещё положительное: в демократической среде уважают деловых людей. С осуждением говорится о других: «наши деловики» – о финансисте, банкире,

аферисте, дельце, потому что все они, «собственно, дельцы практики, но с особенным умственным оттенком», «практические дельцы» (такие, кого мы сегодня называем практиками). Пока связано было слово с корнем *дело*, оно сохраняло и положительный смысл: люди дела, люди практики – нужные люди. Но жизнь вторгалась в суть деловых отношений, и истинное, высокое д е л о отходило на задний план. Человек оставался «при деле», ничего не делая.

Потом появился *деляга*. Поначалу слово обозначало вполне приличного человека, если, конечно, оно не стояло в кавычках. В словаре Ушакова (1935) это слово хотя и описано как разговорное, да ещё и фамильярное, но – «деловой человек, хороший работник». Хороший работник!

А сегодня? Словарь Ожегова: «*Деляга* – (простореч. неодобрит.) – человек узко деловой, озабоченный главным образом непосредственной, ближайшей выгодой»; «*Делец* – человек, который ловко ведёт свои дела, не стесняясь в средствах для достижения своекорыстных целей». Тут, по крайней мере, всё ясно: *деятель* – *делец* – *деляга* обозначают разных лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда, и язык сам, переносным значением слов своих, поворачивая эти слова так и эдак, пробуя их разными суффиксами и определениями, обнажает в самом именовании «творческую суть» подобных лиц.

Были и другие слова того же корня, и так уж сложилась его судьба, что каждое новое приращение суффикса повергало его всё ниже на шкале нравственных оценок. В 1910 году писатель П. Д. Боборыкин в своих мемуарах неоднократно говорит, например, о слове *делячество*: «отвращение ко всему, что отзывается «делячеством», сделками, исканием денег...», «высмеивание культа моды, шика и *делячества*», – и каждый раз выделяет слово как новое, как непривычное. И оно действительно новое; в более ранних частях дневника, ещё из XIX века, он пишет иначе: «деляческая игра» или даже *трипотаж* – из фран-

цузского *tripotage* (тёмные делишки). Вот вам источник – французская буржуазия подарила нашей отечественной и слово, которое сразу получило отрицательную оценку: *делячество* из *трипотажа*.

Кажется, все? Но нет. В газете «Правда» в статье Д. Гранина встречаем ещё одно подобное слово – всё с тем же корнем, но в современной звуковой упаковке. О людях с сомнительной репутацией писатель говорит «всякого рода “делаши”, спекулянты». Как точно и образно схвачен коренной смысл «деяний», не подвластных уголовному кодексу! Тоже вроде от глагола *делать*, но вместе с тем не делать в смысле «править дело, творить, созидать», а *делать* в уклончивом своекорыстном и жаргонном – *«Сделаем! Бу-сделано!»* Даже высокое и чистое *делать* мещанин понимает в проекции сделки – *сделать*. Заглянем для верности в последнее издание словаря Ожегова: нет там слова «делаш». Значит, оно ещё даже не вульгарное, а тем более не просторечное, оно – жаргон, специальное слово «своих», посвящённых. Кто-то совсем рядом по старинке *делает* добро, а эти – *сделают*. *Делаши*!

Голова и уголовник

Слово *голова* типично славянское; кроме славян его знают ещё прибалты. Корень тот же, что в слове *желвак* (утолщение, опухоль), сравните с утраченным ныне словом *желвь*, означавшим черепаху по твёрдому её панцирю. *Голова* – *желвь* – и твёрдость опухоли, и шишка, и череп, который служит для хранения... чего же? Миф не говорит об этом, но мы-то знаем: только священное по смыслу слово, с которым связано множество ритуалов и символов, остерегались произносить понапрасну, без дела, заменяя его другим. Запретным было и название головы, причём не только у славян. В родственных им языках голову также сравнивали то с горшком, то с кочном капусты. Да и поздние как бы «переводы» выражения «у него дур-

ная черепушка», «котелок не варит» шутливо выражают ту же мысль.

В древнерусских памятниках *голова* – убитый человек. И в сказке Пушкина *Голова* на поле брани – это символ сражённого богатыря, в котором теплится жизнь до поры, пока не исполнит он предназначенный долг – не передаст Руслану меч для сражения с Черномором.

Головьникъ в старом нашем языке и значит 'убийца'. Однако современный русский язык простых терминов не любит, ему обязательно нужна смысловая связь с глаголом, у которого и признак особенный – приставка. Так появляется слово *у-головьникъ*. Было ещё и слово *головьщина* – плата «с головы», то есть по-нашему штраф (современное слово *уголовщина*).

Вот какая сложная цепочка образов-созначений является в древнем слове *голова*: и хранилище жизненной энергии – и мертвец, полностью такой энергии лишённый, жизнь и смерть. Всё рядом, вместе, переходит из одного в другое... Слово *голова* действительно связано с обозначением и жизни, и смерти: *он может пройти по головам* – снять головы, уничтожить людей в угоду своей карьере; *сложить голову за идею* – как символ жизни, после которой – смерть. Древнерусское выражение *быть голове* значило 'быть мертвецу', кто-то умрёт...

Что же касается символического значения, связанного с обозначением главного (*глава государства*, *сельский голова*), так это влияние греческого языка, в старинных переводах передавшего нам и символическое значение власти. Счёт по головам предшествовал счёту по душам... В обоих случаях перед нами метонимический перенос значения по важному признаку, с помощью части обозначают целое – человека. Всякие новые выражения вроде «дурная голова» и прочее – тоже переводы, но уже с западноевропейских языков (немецкое *dumpf Kopf*).

Обилие подобных переносных по смыслу и заимствованных выражений отчасти разрушило исконный

символический смысл славянского корня, так что и современное слово *уголовник* стали понимать как-то странно, говоря о «главном» преступлении.

Главное же – понятие растяжимое...

Заштатный и захолустный

«Теперь уже исчезло слово *захолустье*», – считал писатель Федор Гладков много лет назад. Не потому ли и встречаешь в сегодняшней газете выражение «маленький заштатный городок»? Не употребляется ли здесь слово *заштатный* как вежливая замена «устаревшему» слову *захолустный*?

Достаточно какому-нибудь герою романа выехать из столицы в районный городок, как тот уже называется *заштатным*. Задумаемся: справедливо ли это, верно ли? И чем *заштатный* отличается от *захолустного*?

Слово *заштатный* известно с конца XVIII века, но первоначально так называли только монастыри, из которых многие при Екатерине II расформировались. Заштатный монастырь – ещё не распущенный, но уже без «набора» новых монахов, доживают в нём прежние, и только. Вымирающий, обречённый на исчезновение, потому что оказался за штатом, стал ненужным. Штат же со времён Петра I – утверждённая роспись служащих или учреждений. *Заштатный* – вне штата.

Административная мысль продолжала действовать, и вскоре действительно появились в обиходе *заштатные города* и даже *заштатные генералы*. Первые – не имеющие административного значения, существуют сами по себе и волостью не управляют; вторые – ещё не уволены в отставку, но должности уже лишены. Общий образ остаётся всё тем же: сверх штатов, уже устаревший, уже ненужный, хотя ещё существует. После Октябрьской революции этот термин исчез, и с 30-х годов все словари отмечают его как «официальный»

или «устаревший». Но поскольку печальный образ заштатного существует, поддерживаясь литературными источниками, сохраняется и это слово.

Ясно, что заштатный город и существует где-то на окраине, куда не достигает бдительное око администратора. Более «мягким» вариантом того же понятия стало слово *захолустный*, т. е. глухой, отдалённый, окраинный. В Словаре Академии Российской (1794) *захолустьем* называется не только окраинный город, но также и дальние городские окраины, даже Гавань или Пески в Петербурге, не говоря уж об отдалённых местах Петроградской стороны. Это слово – также чужое, но заимствовано оно не из немецкого, как *заштатный*, а из старославянского, книжного. *Захолуга* в нём – изгородь; корень слова, сохранённый некоторыми славянскими языками и ныне, означает заросли мелкого леса и кустарника, в каких не пробраться. К. Ф. Рылеев, имея в виду именно это, писал: «Всё в том захолустье и мертво, и глухо». Оно вместе с тем и тихое место, затенённое, спокойное, а отсюда уже один шаг и до переносного значения – «запущенное, неразвитое, отсталое». Только в начале XIX века это переносное значение получило своё развитие; русские писатели наполнили книжное слово содержанием и сделали его русским. О захолустных нравах, захолустной жизни, о нравственном захолустье и душевном захолустье писали Белинский, Гоголь, Писарев, Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский и другие. Для поэта А. Фета *захолустье* – всего лишь деревенское уединение, не больше, для перечисленных авторов – символ николаевской России с её отрешённостью от современной жизни. Слово получило социальный смысл: им порицали. Такое отношение к нему сохранилось и теперь. Районный центр, конечно, нельзя назвать заштатным, но захолустным он может быть, хотя и трудно сегодня представить себе такой город. Не забудем, что классики наши использовали слово в своё время, и в обозначении этом слышится горький привкус прошлого.

Иногда сближают с этими словами и слово *затрапезный*. Оно также теперь не в почёте, однако напрасно словари помечают его как устаревшее; в бытовом разговоре, впрочем, слово это ещё очень распространено, но употребляется в отношении к человеку, особенно к ребенку.

Был в XIX веке фабрикант по фамилии Затрапезнов, который выпускал дешёвенькую пестрядь, годившуюся лишь для простого домашнего платья. Довольно быстро возникло переносное значение слова: *затрапезный* – обыденный, повседневный. Словарь 1847 года даёт уже такое значение слова. Повседневный, простецкий – вот образ этого понятия, как он сложился в русском сознании. В известном смысле, некая связь представления от официального *заштатный* через сатирический *захолустный* к бытовому *затрапезный* есть. Тем более, что и приставка во всех случаях одна и та же – *за-* (то, что лежит за пределами). Однако полагаться на внешнее подобие форм не приходится, потому что фамилия купца произошла от другого слова: *за трапезой*, т. е. за едой. В одном из старых словарей даётся и прямое значение слова *затрапезный* – «застольный», это *затрапезный* к купцу-фабриканту и его пестряди никакого отношения не имеет. *Застольный* – простой перевод церковного слова *затрапезный* на русский.

Сегодня любое из рассмотренных слов в отношении к городу даже при самой буйной фантазии применить трудно. Официального термина *заштатный* не существует уже давно, *захолустный* изменил значение, *затрапезный* вообще сюда не относится. Оставим на совести журналистов постоянно возникающие в их сознании образы. Ведь пишут же они сегодня о «подворьях» колхозника и даже о *подворьях* – садовых участках! Между тем *подворье* искони было обозначением дома-представительства монастыря в каком-нибудь большом городе. Смысла в выборе слова в современной практике понять невозможно: неудобно сказать *двор*, потому что д в о р а - нет? но почему же *подворье* – лучше? Не потому ли, что подворье «представляет»

на земельном участке чью-то городскую квартиру? Слишком мудрёно, чтобы сразу понять!

Что же касается современных обозначений отдалённых от административного центра поселений, то на смену прежним словам пришли новые. Их много, и сегодня в известном смысле конкурируют русские слова с заимствованными. Значит, не установился внутренний образ современной провинции, периферии, глубинки... «Люди из захолустья» (название романа А. Малышкина, 1938) стали «людьми с периферии», «людьми из глубинки», но эти, слишком образные, выражения казались очень конкретными, и с 1920-х годов всё шире, заменяя их, стало употребляться заимствование *провинция. Провинция* в переводе и значит «место», поэтому слово долгое время активно отвергалось. «Провинция по-русски *область*; употреблять первое вместо последнего нет причины», – резонно заметил в 1890 году журналист, подписывавшийся псевдонимом НГ. В те годы слово это всячески обыгрывали: многие изучали латинский язык, знали значение нового слова и не видели смысла в замене им русских эквивалентов. «Провинция! Но что такое провинция?» – спрашивал в 1885 году Н. Шелгунов, предлагая и русские обозначения: «Живём мы совсем в *затолочье*, и таких *затолочий*, лежащих вдали от городов, в России десятки тысяч»; и люди, здесь живущие, – *затолочные*, т. е. те же *захолустные*, но вне городов («вот какие у нас дела в деревнях и в городских *захолустьях*», – уточняет писатель). Позже возникло естественное желание *затолочье-провинцию* приблизить к термину, переведя на родной и всем понятный язык. Стали говорить *на местах* («представители с мест», «делегаты с мест» и т. д.). Весы социальных симпатий ещё раз качнулись в сторону русского слова, смывая следы и оценочно русских (*глубинка*, *захолустье*), и обобщённо иностранных (*периферия*, *провинция*), которые под влиянием русских эквивалентов в свою очередь стали восприниматься как оценочные. *Место*, *места* – та же «глу-

бинка» и та же «провинция», но пока ещё без образного подтекста.

Тем временем газетная речь продолжает множить обозначения отдалённых от больших городов мест. Экспрессия разговорной речи также поторапливает литературный язык, вводя для выражения старого понятия всё новые обороты. Сама уже множественность их неоправданна: не понятие стремятся выразить, а своё к нему отношение, которое постоянно меняется.

И вот оно, выпорхнуло из Москвы: *субъекты федерации*, *регионы*...

Худой художник

Вот обычное заблуждение относительно близкозвучных слов. По сходству звучаний заключают о сходстве значений. Говорят, например: «Художник – творец прекрасного, создатель изящного искусства. Художественные вещи – произведения красивые, даже прекрасные. Но в слове *художник* корень *худ* означает 'худой, плохой'. Непонятно, почему творец прекрасного называется художником...»

Эта фраза не выдумана, она из письма читателя, соблазнённого сходством слов.

Худой и *художник* – слова не общего корня, а вот *худощавый*...

Людская молва соединила эти слова общим значением, но вины языка в подобном смешении нет никакой. Слово *художник* восходит к древнему корню *худогый*, который славяне заимствовали давно, у древних германских племён. У готов слово имело значение 'искусный, ловкий, сведущий, удачливый', то есть дельный и мастеровитый человек, но «себе на уме», по-нашему *мудрый*. Слово родственно всем известным словам – английскому *hand*, немецкому *Hand* и др. – 'рука'. В древних наших текстах находим производные, которых много: *художивый* – это 'способный', *художество* – это 'знание, деяние, опыт, ремесло',

а *художник* – просто ’мастер’. Наличие производных – верный признак того, что слово стало славянским.

Работу делали мастера, всякая работа была ручной, исполнялась в одном экземпляре, а красота дела ценилась даже больше, чем польза самой вещи. До XVIII века называли у нас художником всякого ремесленника – будь это плотник или скульптор. В узком значении ’живописец’ слово *художник* стал употреблять знаменитый русский критик Владимир Стасов, так что значение слова является самым новым. Ремесло и искусство теперь разделились, но старое слово сохранило верность красоте искусства, а не пользе ремесла.

Но *худощавый*...

Слово было неодобрительного значения, в нём два корня: *худ-сýч* (*-авый* – суффикс и окончание). Второй корень в том же произношении сохранился, например, в словах типа *щи* или *щавель*.

Так что *худо-щавый* буквально значит ’худосочный’. Слово *худосочный*, также известное русскому языку, появилось очень поздно, оно как бы переводит на современный язык образный смысл старинного сочетания двух корней. В отличие от нашего времени, худощавые люди некогда воспринимались как «лишённые жизненных соков» и не внушали особого доверия. Только *дородный здоров*, он может работать и – должен жить.

По своему исконному смыслу слово *худой* – «размолотый до ничтожно мелкого состояния», а потому и значит, собственно говоря, ’мелкий, ничтожный, скудный’, а отсюда уже и оценочно ’плохой, дурной, злой’. *Худой* – убогий, тощий, ничтожный, а с добавлением второго корня значение сложного слова *худощавый* становилось ещё унизительней, чем даже кажется нам сегодня (ведь мы не осуждаем ни тонких, ни стройных).

Только в одном случае книжный корень *худог* и славянский *худ* пересеклись, создав при этом внешне сходные формы имён: *художество* ’искусство’ и *художество* ’убожество’. Возникало присущее русскому со-

знанию желание «поиграть словами»: «Вот так художество!» – и художник доволен – «Надоели твои художества!» – и ребенок перестанет шалить.

В истории наших слов важно, как постепенно изменяется, выделяясь в корне, существенный признак человека. Каждый раз возникают всё новые определения, уточняющие мысль. Сначала словом *худой* обозначается свойство вещи, ей присущее ('измельчённое'), затем замечено качество вещи ('мелкий, скудный', т. е. всё, что размельчено) и, наконец, выделяется признак его оценки ('плохой'). Всё дальше определение отходит от выражения объективно существующих свойств и качеств самого предмета, всё сильнее выражает личное отношение человека к такому предмету. Отношение изменяется и к предмету, и к слову, которое обозначает предмет.

Через слово, отчуждаясь от вещи, человек становится настолько субъективным, что уже и сам не понимает, что есть мир, а что – всего лишь его представление об этом мире.

От хлыща до стиляги

В тех словах, которые мы только что рассмотрели, хотя бы смысл, переносное значение развивается на основе образа, вынесенного из дали времён. Но есть и слова-знаки, самим существованием своим осуждающие пустоту прожигателей жизни, ничем не интересующихся и социально бесполезных лиц. Названия их в разговорной русской речи не было. В XVIII веке придумали было называть их *щепетинниками* – от слова *щепа*: плывет бесполезная стружка по воле стихий, и все. Слово в нашей речи не укрепилось, и тогда обратились к испытанному средству: к иностранным словам. Вот проходят они перед нами в бытовых повестях XIX века: *моншеры*, *шикари*, *форсуны*...

В том же ряду *хрипы* – выразительное изобретение одного гусара; по свидетельству П. А. Вяземского,

«слово “хрип” означало какое-то хвастовство, соединённое с высокомерием и выражаемое искусственною хриплостью голоса». Хрипели, свистали и сплевывали на петербургские мостовые многие поколения этих молодцов-удальцов, и вглядитесь, чей это портрет – уже в наши дни: «Шалопаи сновали по улицам, насупивши брови, фыркая во все стороны и не произнося ни одного звука, кроме “го-го-го!“» (М. Е. Салтыков-Щедрин). Каждое время воспринимало таких по-своему, отмечая тот или другой выразительный признак.

Например, понятие «золотая молодёжь», постепенно наполняясь серьёзным и притом, как теперь говорят, престижным содержанием, прошло путь от *вивёра* – прожигателя жизни и такого же легкомысленного *жуира*, через *фешенебелей* и *денди* до *джентльменов*. Само отношение к подобным словам показывает, что рождались они в особой среде и среди «своих» получали всё более положительное значение. При этом «французское» медленно поворачивалось на «английское»: не прожигатель жизни *вивёр*, а расторопный *джентльмен*.

Не всякий денди мог выдержать «тон», многие сбивались на вульгарность. И они получили свои имена, особенность которых в их исключительной краткости и вместе – в некотором презрении. Пошляк, при отсутствии вкуса, но с претензией – *пшют... хлыщ... фат...* Наверное, и современное *пижон* из той же стаи, хотя это французское слово мы и заимствовали из воровского жаргона. В нём *пижон* – голубь (с распущенными перьями, иронично – «голубок»).

Интересно слово *хлыщ* – в отличие от прочих оно, как ни странно, русское, придумано нарочно. И. И. Панаев в 1854 году говорил: «Это слово сорвалось у меня с языка... Нам всем очень понравилось это слово; мы приняли его без возражений и пустили в ход. Теперь оно по нашей милости начинает распространяться». Чтобы слово распространилось, мало было пустить его в кругу петербургских литераторов. Нужно было ещё

и «освятить» обличительное слово в каком-то популярном тексте – и тот же Панаев пишет повесть о петербургских пшютах, хлыщах в журналистике, Боборыкин – о хлюстах и петербургских жуирах, Л. Толстой – о фатах и т. д.

Чем выше эмоциональный накал какого-то слова, тем скорее оно тускнеет. Трудно понять красочность образа, который сложился в подобных словах и что-то значил для наших дедов. Всё время необходимы слова новые, и они рождаются с каждым поколением. Из недавних, с 1949 года, – *стиляга*. Особенность слова – в иностранном корне, русский же суффикс выразительно передаёт наше отношение к человеку, которого можно назвать стилягой.

Скоротечность явления уничтожает и слово. *Стилягу* или *пижона* не приняли бы в XIX веке, а *фата* и *пшюта*, эти классические фигуры из прошлого, просто не можем себе представить мы.

Но вот что примечательно: в череде подобных словечек, как бы много их ни было, почему-то всегда остаются, хотя и меняя своё значение, только такие слова, которые были русскими или на них похожи. До сих пор ведь мы можем кого-то назвать и щеголем, и хлыщом. Все же прочие куда-то бесследно исчезли... Но может ли исчезнуть русское слово?

Чепуха и вздор

До петровских времён не было в разговорной речи слов, выражающих то, что не заслуживает внимания или противоречит здравому смыслу. Говорили серьёзно и только о деле.

В петербургских гостиных XVIII века мало-помалу стали приспосабливать к возникшей нужде слова из народного быта: *сдор* – сор и стружки, отбросы от дранья дерева, то же, что *дрянь*; *чепуха* – от *чепа*, такая же мелкая щепка, оставшаяся от работы по дереву.

Ещё у Ломоносова *вздор* и *чепуха* выступали в исконном значении «мусор, сор, ненужные отходы». Как разговорные слова они попали и в литературу: *вздор* часто встречается у Пушкина, *чепуха* – у Тургенева, *дрянь* – у кого угодно. С конца XVIII века появились и выразительные заимствования: *галиматья*, *белиберда*, *ахинея*. Явилась и *чушь* – непонятное слово, скорее всего из немецкого *Stuss* – слова такого же приблизительного смысла; появилась и *гиль*, и много подобных слов. Но – странное дело – в каждом кругу излюбленным было только что-то своё, особое, отличное от других.

Вздор и *чепуха* навсегда остались русскими, поскольку русскими они и были. Заложенный в них словесный «образ» как бы живёт и сейчас: случалось, например, слышать о каком-то фильме: «мусор»... А это ведь и есть всё та же *чепуха* или, если хотите, *дрянь*. Образ живёт, порождая всё новые выражения, которые освежают сам образ и наполняют его подобающей случаю экспрессией. Скажу «чепуха» – улыбнутся, «мусор» – обидятся. А если именно и нужно обидеть? Обидели же зрителя, показав этот фильм!

Из семинарского языка поступили во всеобщий оборот и искусственное *околесица* (кто же несёт околесицу, как не болтун, не вникающий в суть дела?) и особенно *ерунда*. Некрасов в примечании к рассказу 1845 года ещё оговорился: «лакейское слово, равнозначительное слову *дрянь*», но к концу века вошло оно даже в активное употребление. Использовал его и Чехов, хотя и противников у слова было много. Это искажённое нерадивыми учениками латинское слово *герундий*, которое и произносилось сначала как *герундá*, например, у Лескова. Однако, несмотря на «лакейское» происхождение, слово неожиданно получило вес, и даже недоброжелатели отмечали это: «По гадательным предположениям, это дочь *герундиума*, которая, поглотив почти без остатка *чушь*, *чепуху*, *гиль*, *галиматью*, *ахинею*, *дребедень*, *белиберду*, ярко оправдала своё властное происхождение. Соревнования не переносит, да

и нет молодых соперников; раздаётся по временам откуда-то писк некоей *абракадабры*, но дитя это являет мало едкости (по беззубию), чахло и недолговечно. Да, сильно опустела нива изящной словесности; хоть бы посеяли что-нибудь новое да позабористее, а то чем же пропитается наше полемическое красноречие», – иронически заканчивает своё обвинение наш незнакомец АБ. Позабористее – пока не нашлось.

Да ведь и нехорошо без нужды разбрасываться пустыми словами, походя обижая всех окрест. В 1821 году молодой петербургский дворянин, находясь в Париже, в разговоре с французским сверстником употребил выражение Cela n'est pas vrai – что-то вроде нашего «чепуха», но помягче: «Это не так!» – и был удивлен, когда наутро явились за ним секунданты. Личная честь не позволяет выражений вроде этого! «Как часто в разговоре мы употребляем выражения *чушь*, *вздор*, *пустяки* и другое, и никто не думает оскорбляться, а ведь в этом дурной тон, дурное обращение, – вспоминал уже в старости оставшийся в живых этот дворянин, – француз научил меня никого не оскорблять подобными ответами и никому не позволять сделать их мне» (Д. Свербеев).

Образность термина

В нашей речи можно также встретить и употребление терминов, утративших исконный свой образный смысл. Термин отличается тем, что он однозначен, а образное значение слова способно прирастать новыми созначениями и в художественном тексте, и даже в простой речи. Ведь слово – просто знак, исходный смысл которого нам известен с детства, а уж мы с этим словом и делаем всё, что хотим не всегда безвредно для слова.

В своё время даже споры возникали, каков основной смысл того или иного слова: природно русский или тот, что в терминологическом употреблении дали ему

нынешние учёные люди. Например, очень частые ныне слова *гололедица*, *значимость*, *зверь* и другие, приобретая смысл термина, как бы утрачивают первоначальный свой образ.

Гололёд и гололедица

Часто спрашивают и так: «В передачах по радио в сводках погоды употребляют слова *гололёд* и *гололедица*, причём даже в одном и том же сообщении; но нет ли тут разницы?»

Разница, конечно, есть, и возникла давно, с тех пор как два слова существуют в нашей речи.

Учитывая исключительную важность заключённых в нём понятий, слово получило множество вариантов: *гололёд*, *гололёдка*, *гололедь*, *гололедица*, в древнем языке были ещё *голоть*, *железица* и др. Как раз древние формы и позволяют расшифровать смысл исходного корня: *гололёд* – не просто «голый лёд», а лёд смёрзшийся, наледи, потому что и *голоть* обозначало холод, мёрзлость. *Голоть* – лёд, а *гололёд* – смёрзшийся в одну сплошную массу лёд. Само слово *гололёд* всего лишь как бы перевод на современный язык (с понятным «образом») устаревшего и вышедшего из обращения слова *голоть*; но всякое уточнение словесного образа приводит и к смешению с родственными корнями. В данном случае происходило сближение нового слова со словом *голый*: чистый лёд без снежного покрова, наледь.

Слово *гололёд* вместо *голоть* появилось только в XIV веке, *гололедица* известна с конца XVII века. Каждый раз появление нового слова было оправдано хозяйственной необходимостью, потребностью выделить в прежде слитном смысле символа всё новые и новые понятия, которые становились ясными. Даже по движению смысла слова в современных словарях можно проследить путь, которым шло развитие таких понятий. Судите сами.

В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова (1935 г.) и в словаре С. И. Ожегова первых изданий (с 1949 г.) слова *гололёд* нет, только *гололедица*, но в разном значении. Для Ушакова *гололедица* – это «морозная погода без снега, при которой земля покрыта скользким обнажённым слоем льда», а для Ожегова – «время, когда земля покрыта скользким слоем без снега, а также сама эта поверхность». Не просто голый лёд, но погода, поверхность земли. Это сегодня языковеды решаются сказать, что *гололёд* и *гололедица* «абсолютные синонимы» в литературном языке, и только метеорологи различают *гололедицу* – лёд на дорогах, и *гололёд* – корку льда на деревьях, на проводах и т. д. В действительности же в естественном своём движении происходит перенесение смысла слова по метонимической смежности: морозная погода без снега – время действия такой погоды – результат её действия в виде поверхности, покрытой... и т. д.

В начале было слово *гололедица*. Это естественное обозначение погодных условий в зимнее время, по общему типу выражений вроде *метелица*, *непогодица*, *распутица*, *заряница*, *поземица* и пр. В русском языке слова женского рода с суффиксом *-ица* связаны с обозначением временнуго отрезка длительности какого-то состояния (например, *косовица*), в том числе и погодного. Вторичность слова *гололёд* помогает в его распространении, оно заменяет слово *гололедица*, вытесняя его как собирательно общее по смыслу, но одновременно и более «понятное» современному человеку. Замечательный русский метеоролог А. И. Воейков в 1914 г. развёл по смыслу эти слова в специальной научной литературе, но предложенное им слово *ожеледь* в смысле 'гололедица' не привилось. А ведь это было бы терминологически логично: явление погоды – *ожеледь*, а её проявление – *гололёд*. Тогда бы и путаницы не было, потому что *гололедица* слово родового смысла, включает в себя и то, и другое.

Почему же такое движение смысла «естественно»? Да потому, что в русском языке символические зна-

чения слов постоянно как бы расшифровываются, уточняются метонимическими, по смежности значений, переносами. И только в наше время потребовалось различать погоду особого рода (*непогоду*, потому что *погода* – всегда хорошая погода, *пригодная*, *пригожая*), т. е. *гололедицу*, и поверхность со сплошным прозрачным или смёрзшимся кусками ледяным покровом – *гололёд*.

Такого разделения не было ещё в XIX веке. Известные нам по литературе тексты показывают нерасчленённость смысла в слове *гололедица*, вот несколько наудачу: «Снегу не было, погода была ветреная и гололедица», «ранней весной, в гололедицу...», «<Глупов> на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается», «о гололедице пишут»... Мы можем встретить у Гоголя собирательное слово *гололедь*, оно обозначало поверхность земли, а не погоду. Теперь это слово признаётся просторечным, но в русских народных говорах оно довольно распространено, как и слово *гололёдка*, которое обозначает обледеневший снег, падающий жгучей крупой.

Итак, между словами *гололёд* и *гололедица* различие есть. После оттепели наступает *гололедица*. Но – осторожно: на дорогах *гололёд*! Причина и следствие в нашем сознании последовательно различаются посредством различных слов. Тем самым и развивается логически точное мышление на основе традиционных символов-слов.

Значимость

«Почему-то слово это так любят ныне в печати, в речах и на радио. Отчего это слово *значение* позабыли? В довоенных книгах всюду встречаю только *значение*, *значимости* и следа нет», – пишет мне ветеран.

Но слово *значимость* и у Даля, и в «довоенных книгах» вполне возможно, поскольку оно отмечено

в академическом словаре 1907 года. И *значение*, и *значимость* одинаково книжные слова (так их и определяет известный словарь под редакцией Д. Н. Ушакова) и появляются в нашей речи достаточно поздно. Первое из них, *значение*, – в XVIII веке в связи с новыми, научными представлениями о з н а к е. Значение – производное от глагола *значить*, как и отвлечённое по смыслу слово *значимость* – от страдательного причастия *значимый*. Причастие всегда вторично в отношении к другим глагольным формам и образуется после них. Поэтому когда термин *значение* оказался переполненным переносными смыслами (а это грозило нарушить его цельность и точность), язык и прибег к привычному уточнению смысла с помощью производных слов. И тогда слово *значение* сохранило исходное своё содержание ('смысл, содержание знака'), а значение, понятое как 'важность', стало обозначаться с помощью слова *значительность*; значение третье – как 'ценность' – словом *значимость*.

Есть речи – значенье темно иль ничтожно... – значение,

Дело большого политического значения – значительное дело,

Эта мысль потеряла всякое значение... – свою значимость.

В современном представлении «значение» вообще – смысл, содержание чего-то, а «значимость» – скорее не само по себе значение, а просто указание на его присутствие, наличие. Объективно само значение (чего-то) и наше отношение к нему как бы разведены самостоятельными словами, чтобы мы случайно не смешивали реальность с нашей её оценкой. Вот только человек малограмотный не понимает этого, так и норовит смешать значения близкозначных слов, на первый план выставляя самого себя: *значение* имеет он сам, *значимость и значительность* слов и дел пропуская через то же самое слово.

Подобных аналитически разведённых по тонкому смыслу слов в языке достаточно много. Язык подска-

зывает нам трезвое отношение к тому, что есть, а что только кажется нам и нашему природному любопытству... Вот, кстати, ещё пример.

Любопытным по определению может быть событие, вещь, вопрос – для человека, который их наблюдает, исследует или поднимает. О самом человеке сказать так нельзя: *любопытный человек* бывает не сам по себе, а для нас, его изучающих. Объект любопытен, субъект – *любознателен*. Тем не менее сплошь и рядом мы говорим и пишем, и даже в словарях определяем так: *любопытный* – и 'возбуждающий интерес, занимательный, необычный', и 'исполненный интереса, проявляющий любопытство'.

Все современные европейские языки строго различают понятия значения и значимости, причём в каждом из них для этого служат самостоятельные слова, а не производные от общего корня, как у нас. Возможности для совмещения смыслов там минимальны, даже при неосторожном обращении со словом. Зато в таких языках нет представления о внутренней выводимости всех оттенков смысла из общего корня-символа: ведь значение имеет значимость, а потому, быть может, и столь значительно в глазах... любознательного.

Зверь и скотина

Ещё письмо, которое остановило моё внимание: «В последнее время чуть не о каждом лесном жителе стали говорить “зверь”. А ведь среди них есть и не хищники! Когда о лосе пишут *зверь* (как Юрий Нагибин), – это как-то режет слух. Так козу и корову скоро станут называть зверями!»

Действительно, эта проблема становится социально важной. За изменениями в названиях животных общим, родовым по смыслу словом исторически часто скрывалось различное отношение к лесным обитателям, к природе, к её охране.

В древности всякий «зверь» был животным диким, в отличие от домашних животных, которых называли словом *скот*. Кстати, тот же Юрий Нагибин и чуть ли не в том же рассказе скотом именует собак и кошек — но столь же иронично, что и лося — зверем; видимо, вспомнив древнюю пословицу «всего скота — собаки да кота». Собака и кот — *животы* (*животные*), но не *скот*. От XII века сохранилась пословица «Не скот в скотах коза, не зверь в зверях ёж». Однако наши предки всегда выделяли особо хищников. Уже Владимир Мономах тогда же писал о *лютом звере*, поминался и *дивий зверь*, говорили о *диком звере* и пр. Прилагательное как бы проясняло коренной смысл корня, а корень слова восходит к древнейшим и сам по себе значит 'дикий'. Подобные сочетания слов, разъясняющие смысл термина, сохранились в крестьянских говорах до нашего времени, причём в разных местах России пугающим словом *дикий зверь* называли преимущественно какого-то одного хищника, наиболее опасного для здешних мест: медведя, волка или рысь.

В Академическом словаре начала века *зверем* признаётся только «животное четвероногое, млекопитающее, преимущественно дикое, плотоядное, хищное», хотя как специальный термин слово *зверь* могло относиться к любому млекопитающему, и не только к лосю, но и к человеку тоже. Писатели XII века показывают изменения в значениях слова по известному нам принципу метонимического переноса по смежности: 'животное' — '(дикое) животное' — 'дикий (человек)'. За этим расширением смысла слова стоит символическое представление об апокалиптическом «звере» из библейских текстов.

В современных словарях определения почти не изменились, хотя в нашем обыденном сознании всё большую роль играют как раз переносные значения символического содержания старинных слов.

Представление о свирепости и необузданной дикости в значении слова *зверь* осознавалось всегда, поэтому-

то для русского человека переносное значение неодобрительное: *зверский*, *зверство*, *звереть*, *человек-зверь* (так о садисте говорили уже в XII веке – а это время расцвета древнерусской культуры). Обратным образом переносные значения стали влиять и на исходные значения, в том числе и при обозначении животных, которые никакого «зверства» не несут, у которых и нет ничего «зверского». И тогда нам кажется, что для всякой безобидной живности слово *зверь* оскорбительно. Заметим, однако, что и слово *скот* получило неодобрительное значение, которое применительно к домашним животным как-то и не замечается. Применительно к человеку – иное дело. В переносном значении *скот* говорят о непорядочном, грубом, грязном насильнике. Разница в оттенках, но слово *скот* само по себе собирательного значения, поэтому в этом случае говорят «*Скотина!*» как бы выделяя единственный экземпляр подобного скотства; у слова *зверь* есть особая собирательная форма *зверьё* – и тут *зверина* не нужна.

Изменяются представления о формах социальной жизни, о присущих ей признаках и качествах, происходит и уточнение бытовой терминологии. При этом важно, что научная терминология не допускает переносных значений слова, а художественная литература и разговорная речь активно ими пользуются. Но так как и термины образуются на основе разговорной речи, насыщенной переносными, не всегда приятными с о з н а ч е н и я м и, возникают нежелательные пересечения функционально разных смыслов одного и того же русского слова. Изменяются ведь и обстоятельства. И человек по приведённому выше словарному определению – такой же «зверь», однако для нас оказывается удобным выделить человека в общем ряду живых существ. Быть может, волк поступил бы так же, имей в запасе возможности языка.

Важна и эмоциональная атмосфера высказывания. Иногда любое домашнее животное хозяин ласково назовёт *зверем*, вкладывая в это некий особый смысл. Особенно часто так поступают писатели. У Виктора Ас-

тафьева, например, о сохатом или медведе говорится просто *зверь* (медведь ещё и *лютый зверь*), а вот как о комаре, вовсе уж не «четвероногом млекопитающем», но «хищном»: *долгоносый зверь, зверина*, иногда ещё *тварь* – с явным отвращением, а не то так и уважительно – *эта махонькая скотинка*. Важна интонация в обращении к «зверю», и тогда даже переносных значений слова оказывается недостаточно. Писатель использует десятки суффиксов, так что и дети для него *зверята*, могучий лес – *зверина*, а лесной поток – *зверушечка*. Родовой термин *зверь* рассыпается множеством производных слов, которые обозначают, конечно, не само животное, а наше к ним отношение.

Наконец, бывают моменты, когда самое смирное животное просто по требованию природы становится зверем: так и лось по весне становится *лютым зверем*, с которым не мог совладать и Владимир Мономах на лесной охоте.

Почему бы такого лося и не назвать *зверем*?

Сенокос

Вот ещё письмо, в котором просят «объяснить, откуда образовалось слово *сенокос*, ведь сено не косят, косят траву? Слово *покос* относится сюда же, это понятно, но выражения “не скосили ни одного килограмма сена” я не понимаю: почему килограмма, а не гектара?»

Дело в том, что в старинном выражении изменился внутренний образ слова. В старом языке *сено* – не только скошенная и высушенная для хранения, но вообще всякая *съедобная* трава. Словом *трава* называли как раз негодную для пищи зелень, *зелье*, отсюда и *отрава*, и *травить*, и даже *трын-трава*. А сеном и сегодня можно назвать, например, овощной салат, да так и зовут его в переносном смысле, незаметно для себя припоминая древнее значение слова.

По этой причине в древности сенокос называли *сеножатью* или *сеносечью*: указывалось место и время заготовки, ибо важно было подчеркнуть само действие – траву жнут или секут.

Слово *сенокос* заменило их лет двести назад, когда появилась коса. Образовалось оно из привычного сочетания *сено косить* по типу *паро-воз*, *лесо-воз* и др. В таких словах мысль останавливается уже не на обозначении действия, а на объекте действия, на его результате, внимание переносится на само «сено». Корень *сено* в слове *сенокос* перешел из *сеножати*, потому что одновременно во множестве явились специальные слова для обозначения места покоса (*косить-ба* в XVI веке) или времени косьбы (*коситва* как жатва).

В современном языке *косьба* означает всякое кошение, особый страдный труд. В XIX веке это было единственное литературное слово, которым пользовались Некрасов, Тургенев, Толстой. Слово же *сенокос* обозначало тогда только место и время кошения, в художественной речи его использовали мало, по крайней мере до появления словаря В. И. Даля, в котором *сенокос* противопоставлен *косьбе*, как место и время действия противопоставлено самому действию. В южных говорах бытовало другое слово – *косовица*, постепенно именно оно и входило в литературный язык через произведения писателей-южан. В словаре Д. Н. Ушакова слово *косовица* признаётся ещё «областным» (1935 г.), но современные словари считают его вполне литературным, хотя и широким по значению: обозначает не только косьбу, но и жатву (*косовица сена*, *косовица хлебов*). Теперь ведь чаще косят не косой, а косилкой.

Если слова *сенокос*, *косьба*, *покос*, *косовица* употребляют в каком-то одном говоре, взаимное их соотношение всегда различается по смыслу. В разных местностях слово *сенокос* может обозначать место, время или действие, которые связаны с заготовкой кормов. Но интересно, что в конкретной хозяйственной дея-

тельности оказывается важным разграничивать все стороны дела, и старинные русские слова, располагаясь в порядке, точно отражают возникшие в жизни различия. Цельность общего представления о страде – *сено секут* – рассыпалась на множество частных значений, выражающих наше о т н о ш е н и е к такому процессу в его деталях, в связи с тем что любознательности современного человека пределов нет: всё-то ему нужно знать, и место, и время, и вес, и способ, и само по себе это действие тоже. А на килограммы сено никогда не считали, но и гектарами также: только пудами и притом на глазок и253 вприкидку, по-русски, а также мерой площади – *покосами*, *укосами* и прочими, ныне позабытыми мерами.

И если сейчас мы говорим об этом – в том числе и городскому жителю, – так это затем, чтобы на примере увидеть ещё раз: язык не застыл, язык создаёт всё новые и новые значения даже в тех областях знания, которые некоторым обывателям кажутся излишними.

Говорят мне: «Теперь сенокосов нет, забудьте!»

Это для кого же их нет? Для городского жителя, не видевшего коровы? Для «крутого», «заверченного на башлях»?

Есть и *покос*, и *сенокос*, всё-таки есть. Потому что дело осталось, забота осталась – у тех, кто способен заботится.

9 Зак 207

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«НЕ ГОВОРИ КРАСИВО!»

«Друг мой, Аркадий...»

Восторженность тона в сплетении высоких слов производит странное впечатление на людей уравновешенных. И всегда так было. Базаров у Тургенева брезгливо говорит товарищу: «Друг мой, Аркадий, не говори красиво!» «Сделаем вам красиво!» – идёт от одесских парикмахеров.

Известной красивостью речи может стать и старинное выражение.

Типичной ошибкой современного словоупотребления является неверное произношение старинных образных оборотов, которые стали чем-то вроде речевых клише. По происхождению все они выражения высокого стиля, поэтому являются образными, однако используются они как понятия, следовательно, представляют собою формы стиля среднего. Наш современник почему-то полагает, что в слове и фразе важен смысл – а стиль присутствует постольку-поскольку...

В этом и заключается ошибка. Потому что смысл слова сгущается постепенно из стилистических различий в тексте.

Смешение в стилях приводит к нарушению смысла речений, а допускающий это человек – показывает своё невежество.

Особенно участились такие ошибки в наши дни, когда старинные формулы высокого стиля снова допущены в разговорную речь, а современная полуинтеллигентная «образованщина» не понимает её смысла. О таких случаях, как неправильное использование глагола *довлеет* (надлежит), уже и речи нет, его путают

с глаголом *давит* почти все. Но библейское (в славянском переводе) выражение *довлеет дневи злоба его* значит: «каждому дню надлежит его (собственная) забота».

Сегодня употребление идиом высокого стиля становится признаком, по которому можно судить о степени гумантарной образованности человека, и с подобными выражениями приходится быть особенно осторожными. Лучше их не употреблять, если не знаешь точного их смысла. Несколько примеров покажут «градус искажений» в значении наиболее расхожих в наши дни выражений. Искажения вовсе не зависят от конкретного человека – они стали фактом нашей культуры. Мы разучились использовать ресурсы высокого стиля нашей речи. То иронизируем над ним (или с его помощью), то просто пренебрегаем его возможностями. Это омертвение пафосной стороны нашего общения, сведение к усреднённому стилю «коммуникативного задания» по-своему обедняет смысл наших речений и мешает развитию самого языка. Ведь язык органично развивается только потому, что все три стиля, известные нам из школьных программ, – высокий, средний и низкий – соотносятся друг с другом и совместно формируют н о р м у речевого общения.

Почивать на лаврах

Одно из читательских писем: «Как в печати, так и в устной речи всё чаще употребляется выражение *почивать на лаврах* вместо *почить на лаврах*, т. е. как бы “спать на лаврах”; полагаю, что такая подмена неправомерна».

Действительно, мы смешиваем значения слов с более широким по смыслу грамматическим значением тех же слов. Ведь каждое слово одновременно и лексема-слово, и определённая часть речи.

Древнее книжно-славянское сочетание *почить на лаврах* в середине XIX века, первоначально в речи

разночинцев-демократов, а затем всё больше, даже в литературных текстах, стало использоваться с новой формой глагола – *почивать на лаврах. Почивать* так же относится к глаголу *почить*, как, скажем, *сливать* к форме *слить*: разница здесь в глагольном виде, совершенном или несовершенном. Но важен и стиль. Глаголы с суффиксом *-ва-* почти все разговорно-русские, и мы можем сказать, что появление сочетания *почивать на лаврах* сто лет назад стало грамматическим средством «обрусения» церковнокнижного оборота. Одно дело упокоиться раз и навсегда, другое – постоянно и неоднократно успокаиваться на достигнутом – не приступая к новой работе.

Этому способствовало и предшествующее расшатывание формы глагола введением непривычных сочетаний, которые казались красивыми, более точными или просто понятными: *почиет на лаврах* (Пушкин) или *почив на лаврах* (Михайловский). Появилось множество такого рода «переводов» на современный язык глагола, ставшего непонятным или даже двусмысленным. Начиная с Сергея Аксакова всё чаще употребляли разговорную форму *отдыхать на лаврах*, или *величественно успокаиваться на лаврах*, или даже *слишком рано садиться на лавры*. Распространение в быту лавра как пряности в свою очередь уничтожало смысл старинного выражения, потому что лавровый лист както не связывался уже в сознании с лавровым венком лауреата (*лавреата*). Возникли попытки переложить на понятный всем язык и второе слово, как в шутливом объявлении Герцена 1840-го года: «Но можно ли при современном состоянии цивилизации отдыхать на лаврах или на миртах – всё равно?»

Таким образом, *почить* или *почивать* оказались в одном ряду и по этой причине одинаково признаются толковыми словарями. Они обозначают одно и то же: 'успокоиться, предаться полному покою, бездействию' – это значит одинаково и умереть, и уснуть (а древние вообще не делали разницы между смертью и сном).

В современном литературном языке мы уже различаем стилистически высокое слово *почить* (умереть) и просторечно разговорное *опочивать* (заснуть). Однако идиома сохраняет те значения входящих в нее слов, которые были живы в момент сложения (или перевода с другого языка) всей формулы. Устаревание составных частей её проходит обычный путь: либо «освежением образа» путем замены более понятными словами возрождается образный смысл, либо грамматически уточняется понятийное значение слова.

Общий смысл остаётся неизменным: «успокоиться на достигнутом» – в русской ментальности это всегда вызывало ироническое неодобрение со стороны окружающих.

Краеугольный камень

Ещё письмо – на этот раз от читательницы: «*Краеугольный камень* в переносном смысле – тот ли самый, который нужно положить *во главу угла*? Прочла заголовок газетной статьи “Краеугольный камень во главе угла”...»

Что поделаешь, газетные «новации» высветляют ущербность культурного общества...

Но и они не всегда виноваты. Отлучённые надолго от высокого стиля, но привыкшие к «нетривиальным» заголовкам, современные журналисты нашли новый источник для «образной» игры словом.

Оба выражения – переводы двух греческих идиом, восходящих ещё к древнееврейским формулам общего смысла. В славянских текстах с самого начала сочетания слов *краеугольный камень* и *положить во главу угла* получили переносное значение, выражая нечто самое важное, и не только при постройке конкретного дома. Когда говорят, что «учение о прибавочной стоимости есть краеугольный камень экономической теории Маркса», попросту образно и кратко подчеркивают, что теория прибавочной стоимости – суть учения.

Когда переводили эти выражения на славянский язык, не учли, что в греческом языке *краеугольный* обозначал одновременно верхний, наружный, крайний, нужнейший в конструкции угол здания (все эти значения присутствуют в греческом слове со значением 'край'), который и является его основанием. В е р х н и й и о с н о в н о й тут одно и то же. Во втором сочетании соответствующее греческое слово толкует о «голове» (*во главе*), т. е. в переносном смысле уже и не об о с н о в н о м, а о г л а в н о м. Противопоставленность двух противоположных образов – основного и главного – в смысле самонужнейшего проходит через всю средневековую культуру, отражая конфликт между земным и небесным, материальным и духовным, между подданными и властью.

В русской книжной традиции довольно скоро *глава угла* потеряла всякую связь с *камнем*, поскольку главное – *голова*, *глава* – всегда наверху, где нет места камням, а выражение *краеугольный камень* сохранилось в полном виде, хотя тем временем изменилось значение слова *край* (когда-то оно означало всего лишь 'конец'). Это камень, лёгший в основании всей постройки. По легенде, его сначала выбросили, но затем он-то и оказался важнейшей частью несущей конструкции, как сказали бы мы теперь, с *края* перейдя *во главу угла*.

Выражение *ставить во главу угла* с XIX века стало быстро разрушаться. Происходило размывание древнего образа, ставшего неясным; говорили просто *ставить во главу* (без всякого упоминания об угле) или *у меня непочатый угол* (без всякой главы), т. е. разрывали оба слова устойчивого сочетания или смешивали сочетание с другим, *краеугольный камень*. По словам известного педагога XIX века В. П. Острогорского, в 1840-е годы «родному языку отводилось в гимназиях первое и почётное место, он ставился, так сказать, в край угла».

Нужно заметить, что для разрушения словосочетания или его искажения была всё-таки важная причина.

До середины XIX века подобные выражения вообще не допускались в светскую литературу цензурой. Но мало-помалу, изменяя свой облик, они распространились в виде намекающих выражений типа *краеугольные идеи, краеугольные проблемы* и пр. Переносные значения слова, только напоминающие об исходном, полузабытом церковном образе, распространялись, например, с помощью бывших семинаристов, которые пополняли ряды разночинной интеллигенции. Определение *краеугольный* – искусственно образованное прилагательное, которое, впитав в себя множество образных и переносных значений, стало обозначать очень важный, существенный признак, на котором держится всё остальное. Суть мысли или дела.

Таким образом, камень *во главе угла* и *краеугольный камень* оказываются одним и тем же по переносному смыслу «камнем» и тем самым отличаются от *камня преткновения* (и соблазна), хотя и такого же книжного происхождения, но прямо противоположного им по смыслу: это препятствие, которое мешает движению вперёд.

Милосердие

Не старомодное ли это слово – *милосердие*? Ещё недавно подобный вопрос возникал, но сегодня... все говорят о милосердии, не всегда понимая смысл старинного христианского термина. Известный писатель договорился до того, что поставил знак равенства между «милосердием» и «бескорыстием».

Милосердие – искусственное книжное слово, составленное в старославянских переводах с латинского и греческого языков для передачи выражения, которое описательно можно передать как «внутренняя жалость». Впоследствии словом стали переводить и другие слова – типа *филантропия* или *гуманность*, которые на самом деле имеют значения ’челове-

колюбие’ или ’сочувствие’. До милосердия человеколюбию далеко.

Однако на сходстве корня происходило сближение слов: до XVII века книжно-славянские *милосердие*, *милосердство*, *милосердствие* значат то же, что и вполне русские слова *милость*, *милостыня*, *милый*. Вызывающий и, главное, заслуживающий сострадания. Различие между теми и другими состояло лишь в указании на субъекта, оказывающего милость: *милосердие* приписывается Богу, человек же может оказать *милость* («сделай милость»).

Последовательное перенесение прежде столь возвышенных качеств и способностей на земного человека – и притом всё ниже по социальным рангам – приводило к переосмыслению старинного слова, которое ещё в наше время словари почитали «книжным». В русском народе оно всегда сознавалось как однозначное словам *со-жаление, со-чувствие, со-страдание*, т. е. обозначало *со-участие* в чужой беде, выражало деятельное чувство человека.

Милосердие есть душевное расположение к человеку, независимо от качеств его и его положения. Доброта в её наивысшем проявлении. Происходило совмещение заимствованного слова и народного представления о милосердии-милости. Милосердие возвышает, но доступно оно не каждому. Милосердие есть естественное проявление душевной и нравственной чистоты тех, кто оказывает его. В противном случае оно всего лишь милостыня, которую не всякий и примет, самолюбование своим бескорыстием – то есть на самом деле корысть.

Интересно читать словари, которые отразили метания общественной мысли в поисках смысла этого символа-слова.

У Даля представление о людском милосердии сопровождается «переводом» книжного слова на народный язык: «сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, жалостливость, мягкосердечность». В 1938 году в словаре Ушакова это всего

лишь «готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней нуждается» (пример всего один: *сестра милосердия* – в устойчивом обороте). Всего лишь готовность, но не личное чувство необходимости дела. Эпоха яростных классовых битв к милосердию оказалась немилосердной, выражения «милосердие должно быть с кулаками», «милосердие – тяжкий труд души» и прочие стремились развенчать это чувство как недостойное сильной личности и великих её преобразований. В популярном словаре Ожегова первых изданий милосердие тоже всего лишь готовность помочь кому-то из человеколюбия; в последних изданиях редактор прибавил: «или простить кого-нибудь». Возвращение к исконному значению находим в академическом четырёхтомнике; здесь оказывается, что милосердие есть «готовность оказать помощь, проявить снисхождение из сострадания... а также сама помощь, снисхождение, вызванные такими чувствами». Готовность переходит в действие!

Единство личного чувства, общественного представления о добре и зле – и активного действия личности, совестью своею делающей выбор между добром и злом, вновь сходится в старинном слове *милосердие*, преисполненном глубокого чувства активной доброты во имя личного искупления. *Милосердие* – всегда жертвенность, милосерден всегда не «чистый», как говорили русские философы, имея в виду праведников, а сам столь же бедный, грешный и низкий, как и тот, к кому милосердно обращается.

Беззаветно

Есть несколько слов в высоком стиле речи, которые как бы утратили природный свой смысл и выступают в несвойственном им значении.

Например, недоумение у многих вызывает слово *беззаветный*, употребленное, между прочим (об этом письма у меня на столе), в надписи на Пискарёвском

мемориальном кладбище жертв ленинградской блокады. Спрашивают: «беззаветные герои» – это те, которые не признают «заветов»?

Такой вопрос задаёт человек, знакомый с библейскими текстами. Библия состоит из двух частей: дохристианского *Ветхого* (старого) *Завета* и христианского *Нового Завета*. *Завет* в церковном смысле – это договор о взаимных обязательствах (Ветхий Завет), заповедь и обет (Новый Завет) – в обоих случаях данных как з а к о н. Слов *беззаветно*, *беззаветный* в этих текстах нет. Трудно и представить себе отрицание Завета человеком прежних времён. *Беззаветный – беззаконный*: именно в смешении таких значений слова и состоит смысл вопроса. Однако подобные прилагательные с *без-* довольно позднего образования, и слово *беззаветный* впервые является только в словаре В. И. Даля, в котором значит 'на что нет завета, завещания или запрета'. Это вовсе не *беззаконный*, с которым смешивают смысл слова *беззаветный*. Беззаконно то, что противозаконно («противно правде», – добавляет Даль), а беззаветно то, что просто не предусмотрено таким «законом», моральным или юридическим, так что каждый человек сам за себя решает, как поступить в трагическом случае. Сдаться на милость коварного победителя или стоять до конца. Беззаветность героев не обет, данный, скажем, Родине в расчёте на ответную благодарность, а переход за пределы всех мыслимых и немыслимых деяний, на которые только способна воля человека в безответном стремлении к высшей правде. Поэтому показанное в современных словарях значение слова *беззаветный* как 'чуждый всякого расчёта; самоотверженный' точно выражает суть русского понимания «завета» и безусловно верно употреблено в памятной надписи.

Такого же происхождения и слово *безвременный*. В нашей традиции употреблять высокого стиля выражение *безвременная кончина*, а не *преждевременная кончина*. Не *прежде* времени (время невозможно обогнать), а именно *без времени, до времени* («не в свою

пору», – говорит Даль), когда это должно было случиться, но также «нежеланный, несчастливый, бедственный» (Даль). Этот эмоциональный оттенок смысла слова очень важен в каждом русском слове, образованном не с помощью отрицания *не*, а с приставкой и суффиксом *без- -ный* (грамматики такой «опоясывающий» суффикс называют к о н ф и к с о м). Такие прилагательные не отрицают наличие качества, например, в человеке и его судьбе (*беззаветный*, *безвременный*...), но показывают нежелательность подобного поворота дел. Кстати, об *обете*. Читателю, не изучавшему историко-филологических наук, непонятны и выражения типа *земля обетованная*. Слова *обетована*, *обетование* часто используют не по назначению, смешивая со словами *надежда*, *упование*. *Земля обетованная* – обещанная, *обетование* – торжественное обещание, которому, конечно, можно верить и доверять, но надеяться, *уповать*... Да и слово *обет* означает не просто обещание, хотя оба слова и одного корня. *Обетованный* – тоже не просто обещанный, но и предназначенный. *Обетованная земля* – место, куда влечёт человека или народ некий неуёмный дух и высокая цель. Приведённая автором письма газетная фраза «Арктика... была духовно обетована и поморами...», по-видимому, должна значить, что сама Арктика как бы вела поморов на подвиги, таинственно и неизбежно направляя их шаги. Сказано это не совсем понятно и чётко, читателю нужно расшифровывать смысл метафоры, основанной на скрытом подтексте *земли обетованной*. Слишком сложный образ и не доходит до читателя сразу. Кроме того, и краткое причастие вместо привычного в данном выражении полного несколько странно.

С причастиями тоже случаются странные вещи.

Особенно любят употреблять устаревшие, высокого стиля причастия вместо привычных разговорных форм. *Весомый* вместо *веский*. Страдательное причастие книжного происхождения, которое развивает переносные значения именно под влиянием русского прилагательного *веский*. Однако *весомый* всего лишь

’обладающий весом’, а отсюда и переносное значение ’ощутимый, значимый’, тогда как *веский* это ’тяжёлый, т. е. имеет большой вес при малом объёме’, а отсюда и переносное значение ’значительный, убедительный’. Видно же, что два слова не только различаются по значению (поскольку относятся к разным частям речи, что важно), они и оттенки смысла имеют разные. Поэтому употребление обоих слов в книжной речи вполне допустимо, а странное на наш слух слово *весомый* очень любил Горький, да и все русские классики, получившие семинарское образование, которое и дало им знание этого слова.

Как же правильно говорить? – вопрос, который интересует наших вдумчивых современников. Да так, чтобы точнее выразить мысль! Можно сказать и *веское слово* – оно убедительно, но можно и ответить *весомыми делами* – они значимы и ощутимы.

Все приведённые здесь примеры взяты из писем внимательных читателей книг по культуре русской речи. Но подобных случаев сотни. Основное их свойство в том, что на пространстве одного слова сталкиваются сразу и стилистический ранг (слово высокого или среднего стиля), и смысл исконного корня, и грамматическая характеристика формы (причастие показывает возникающий признак, а прилагательное – уже готовое качество). Трудности в распределении слов налицо, и понятно, что культурный человек, владеющим родным языком, у ч и т с я в ы с о к о м у с т и л ю так же, как учится он иностранному языку, но, конечно, без того напряжения и траты времени. В подсознании мы уже знаем ответ и сами (ведь корни слов те же самые, да и грамматика общая), но нужно убедиться в том, что интуиция нас не обманывает. Л и т е р а т у р н о м у языку учат в школе, и ошибочно думать, что учат там «русскому языку, который я без того знаю». Богатство форм, выражений, слов, представленных нашим языком, – это богатство нашей культуры.

«Вопрос не простой»

Сегодня мы переживаем тот момент в развитии речевого поведения людей, который уже знали наши деды в XX века. Вторжение стилистически непотребных слов в нашу речь – и высоких, и низких по эмоции – называют теперь «демократизацией», но это вовсе не упрощение за счёт использования народной речи, красивой и ёмкой, нет. Это (на иностранный термин ответим тем же) – *либерализация* языка. «Освобождение» от тягот литературной нормы и речевого стандарта, призванных служить формой правильного поведения в человеческом обществе. Подобное освобождение происходит по всем направлениям.

Во-первых, «помутнение языкового сознания» (слова одного публициста) происходит за счёт описанного здесь возвращения полузабытых слов высокого стиля; культура их использования утрачена, а щеголять хочется.

Во-вторых, иностранное слово заступает на место слов высокого стиля. И это тоже – «большой вопрос», если учесть, как много звуковых совпадений с русскими словами. Английское слово *cash* 'наличные' (наша *касса*) в произношении совпадает со словом *каша* – возникает неведомо откуда значение 'навар', и каждый понимает, что это за *навар*.

В-третьих, оскорбление слуха происходит за счёт пошлостей речи бытовой, в словах вроде *он психует, она переживает, ни в какую* и прочих. «Русскоязычные» писатели просто очарованы русским словом подпольной репутации и свой выход из подполья освящают таким словом, даже его удваивая. Юз Алешковский, по-видимому, неверно понимая смысл слова (значит 'медлительный человек'), окончаниями различает *мудила* – ругательно, *мудило* – ласкательно.

И наконец, в-четвёртых. Это п о з а, в которую становится современный деятель на людях, ф р а з а, которой он обволакивает слушателей, п у с т о т а за словом, не подкреплённым делом. Потоки словесных пусты-

шек, выдаваемых за свободу слова. Не голос, а гласность. Об этом пишет Василий Белов: «Помню, слушая перестроечных цицеронов, я просто возненавидел эти “не просто” и “не простой” (когда Горбачеву нечего было сказать, он начинал так: “Вопрос не простой”), возненавидел так же, как тошнотворное слово *проблема*. Установить бы для ораторов такую норму: слово *проблема* использовать в выступлении не больше двух, в докладе не больше трёх раз. Всё демократическое косноязычие и пустозвонство сразу оказалось бы как на ладони».

В ряду мёртвых и оттого ядовитых терминов стоят, как готовые, выражения «во всех цивилизованных странах», «мировое сообщество», «миротворческие силы», «ближнее и дальнее зарубежье». Для демократических ораторов весьма характерно пресловутое «ни для кого не секрет». И так далее. Не говоря уж о невежестве авторов иных статей: «Как Онегин – с корабля на бал!» (спутали двух Александров Сергеевичей: Пушкина и Грибоедова). Или заголовков: «Срубить собственный сук» предлагают «Аргументы и факты» (неизвестно, как аргументировать этот факт).

Но если собрать всё это вместе – и получится та самая «красивая речь», которая так не нравится трудягам Базаровым.

Что же, «вопрос не простой». Причина явления понятна. «Сюрприз торжества газетного языка» и «лите-ратурная рвота» современных «писателей» – в одновременном «распаде интеллекта и народности», – в те самые годы начала XX века говорил Михаил Пришвин, русский незаметный мыслитель. Глубокое замечание. И страшное предупреждение.

Вопрос не простой – и составляет проблему.

К ней и вернёмся.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

НАРЕЧЁННЫЕ СЛОВА

Есть в нашей речи словечки, лишённые всякого смысла, которые употребляются людьми, обычно теми, кто в силу своего характера или темперамента не в состоянии делать паузу в момент размышления. «Держать паузу» – большое искусство, а вот сдобрить речь словами-затычками куда как просто: *воот*, *значит*, *это*, *так ска-ть*, *паньмашь*... или просто *э-э-э*... Даже в свободном разговоре такие эмоциональные вставки производят на слушателя неприятное впечатление, а уж в официальной речи – тем более.

Как ни странно, но существенными для речи могут оказаться и такие слова, которые по смыслу или по стилю кажутся совершенно пустыми и даже грубыми, настолько общие, неопределённые и двусмысленные по характеру своему, что лучше бы их не употреблять часто. Они вообще второстепенны во фразе, не обозначают ни предмет как имя существительное, ни действие как глагол, ни качество как прилагательные. Среди этих слов на первом месте – наречия, то есть, по исходному смыслу переводного этого термина, слова наречённые, служащие для определения глагола (*речью* в старых грамматиках назывался глагол как часть речи). Наречие – приглагольное слово, при глаголе оно то же самое, что имя прилагательное при существительном. Но когда наречие отрывается от суженого ему глагола – тут и начинается самовольное его блуждание по речам и текстам. Наречие становится двусмысленным по содержанию, и даже по стилю выбивается из своего ряда.

Воспользуемся письмами внимательных читателей и рассмотрим несколько наречных форм, сорвавшихся

со своих смысловых орбит. Получив обобщённое значение, такое наречие становится столь малоинформативным, что в сущности как бы и бесполезным.

Отнюдь

«Откуда в русском языке появилось слово “отнюдь”, и что оно значит? В разговорной речи людей грамотных и не грамотных, начитанных и не начитанных слова “отнюдь” не услышишь».

Мало кто употребляет его в лекциях и докладах, не бросается оно в глаза и в художественной литературе. А вот в газетных статьях – довольно часто. Хотелось бы знать, какая нужда писать именно «отнюдь», а не что-нибудь другое.

Сильное влияние разговорной речи на литературный язык вызвало и обратную реакцию: сегодня и книжные, даже устаревшие слова проникают в просторечие, становясь признаком эмоционально окрашенной речи.

В слове *отнюдь* совпали две древние формы: *отъинудь* – ’единственно’, т. е. ’совершенно’, и *отънуду* – ’отовсюду, со всех сторон’, т. е. также в конце концов ’вовсе, совсем’. За десять веков каждая из форм четырежды изменяла своё произношение, постепенно вышла из склонения и свернулась в неизменяемую форму наречия; в XVII веке они совпали в форме *отнюдь*, а с XIX века стали проникать и в разговорную речь. В пособиях столетней давности не рекомендуется произносить ни *отнюд*, ни *отнють*; значит, старались ещё произносить «по-писаному»: *отнюдь*.

Вместе с изменением в произношении изменялся и смысл слова. Сначала оно обозначало пространственные отношения (’всюду’), затем – временные (’всегда’), и, наконец, стало качественным обстоятельством (’вовсе’). С XIX века «отнюдь» употребляется всегда только в сочетании с отрицанием и выражает категорическое отрицание того, о чём идёт речь: «отнюдь не есть», – говорил Белинский, «отнюдь нет», – говорил Гончаров,

«отнюдь не», – говорил уже Куприн и говорим обычно мы. Склонный к преувеличениям Чехов в одном из писем употребил сочетание, выражающее высочайшую степень категорического отрицания: с отрицанием *ни* и притом поставленным перед наречием: « – Правда ли, что наши дела идут дурно? – Ни отнюдь».

В литературном русском языке сохранились и используются сочетания *отнюдь не* (наречие) и *отнюдь нет* (усилительная частица) в значении «совсем, вовсе, никоим образом не...»

Впервые встречая это слово, каждый школьник воспринимает его как иностранное. Благодаря многим изменениям оно действительно утратило все связи с другими словами русского языка. Сегодня уже неясно, что *отнюдь*, *один*, *инде*, *всюду*, *иной*, *инорог*, *иноходь* и многие другие – однокоренные слова. Так старое слово стало «русским иностранцем», не помнящим своего родства.

Однако в публицистике подобные сочетания слов используются довольно часто. Необходимость в них возникает, когда автору важно употребить высшие степени отрицания, и он по ходу дела не может ограничиться нейтральным и безликим *не*. В эмоциональной устной речи его также употребляют для усиления высказывания, особенно в тех случаях, когда говорящий «спорит сам с собою», просматривая свои собственные аргументы.

Высокое книжное слово оказалось необходимо в самой разговорной фразе и потому постепенно «оживает». Примеров такого возвращения старых слов в нашей истории много.

И не только слов высокого стиля.

Ладно

«Ещё мой отец, провожая меня в школу, говаривал: “Не нужно говорить *ладно* – так говорят только рыночные торговки, говори *хорошо*”... А теперь только

и слышишь: ладно да ладно!» – это пишет потомственная петербурженка.

До революции только в речи купцов, мещан да бедного городского люда встречалось простое слово *ладно*, известное издавна. У бытописателей много примеров: – *Теперь выпьем! – Ладно* (Н. А. Лейкин); – *Ладно, ладно, – отвечал он. – Помолчу!* (А. Ф. Вельтман). И А. П. Чехов частенько вставлял в свои рассказы речь такого рода публики, и М. Горького упрекали за изобилие подобных вульгаризмов в прозе.

Даже у В. И. Даля не встречаем *ладно* как утвердительную частицу в значении 'хорошо, согласен, пусть будет так'. Отмечает он слова *ладненько, ладновато, ладнушко* как характерные для речи русского крестьянина, с некоторым любованием старинным корнем: *рядком да ладком*. И слово *ладно* он употребляет в его исконном значении – 'подходяще, удобно'. *Ладно* в значении 'хорошо' (и усечённая форма *лады!*) возникло в воровском жаргоне столицы в XIX веке. Его восприняли близкие к этим деклассированным элементам слои городского населения и понесли дальше. Слово казалось выразительным, не в пример заменяемым им *изрядно* и *хорошо*.

После революции слово упорно стремилось в круг литературных. Если словарь под редакцией Д.Н. Ушакова называл *ладно* просторечным словом, то словарь С. И. Ожегова считает его разговорным, т. е. почти литературным; в современном четырёхтомном «Словаре русского языка» слово *ладно* тоже охарактеризовано как разговорное.

Одновременно в том же значении входили в оборот и такие старинные слова, как *прекрасно, отлично* и др. Судя по стилистическим пометам, С. И. Ожегов слово *прекрасно* ещё предпочитал слову *ладно*; слово же *отлично*, известное героям А. Н. Островского и Л. Н. Толстого, в сознании долго связывалось с иностранными словами (по всей видимости, это и есть перевод английского слова). Выходит, постепенность включения слова в литературную норму объяснялась

конкуренцией вариантов, пришедших из разных социальных слоев общества. *Ладно* долго «прилаживалось» к книжным *прекрасно* и *отлично*, вбирая в себя их значение, но сохраняя собственные эмоции.

Чтобы судить определённее, отметим последовательность смены обращений в послевоенные годы: «Возвращайся пораньше! – Хорошо, папа», потом: «Ладно, па!» и наконец: «Отлично, отец...» Каждому времени – свой стиль, но ошибется тот, кто подумает, будто между первым ответом и последним большая разница. Вовсе нет, если оценивать их с позиций того времени, когда они зародились. Лишь с течением времени и под воздействием постоянно возникающих «свежих» эмоциональных вариантов, обладающих ещё новизной и выразительностью, прежние слова и выражения смиренно уходят в прошлое, и кажется нам тогда, будто слова эти – такие обычные, простые, знакомые.

Даром

Типичное для русского языка наречие, образованное от слова *дар* (подарок) в форме творительного падежа: *даром*. В XIX веке всегда употреблялось с префиксом *за-*, вот как у Салтыкова-Щедрина: «стремление отличиться задаром». За что? *за даром*... Но так в литературном тексте. Словарь В. И. Даля показывает, что форма *задаром* (и *задарма*) – на Руси повсеместно, а *даром, дарма* – диалектное слово. Значило одно и то же: 'безмездно, бесплатно, подарком; за ничто, нипочём, задёшево; ни за что, без вины, напрасно; без пользы, тщетно, втуне...' И употреблялось слово обычно в печальных контекстах: *пропал задаром... ни за что*...

Что слово было простонародное и совсем новое, ясно из тех выделений и пояснений, которые делали авторы XIX века. Употребляли они это слово только в письмах и в мемуарах. «Много добра пропадало даром, как говорится в просторечии – *кинью*» (москвич Д. Свербеев); «Он подчивал всех даром!» (актер Кара-

тыгин); «Затем Шармер (тогдашний первый портной) приходит брать с него мерку и шьёт ему платье, до фрака включительно. Даром» (публицист князь Мещерский), и т. д.

Сегодня, кажется, это слово воспринимается как обычное, оно даже расширило сферу своего применения. Но по-прежнему сохраняется некоторая двусмысленность: с одной стороны, безвозмездно, с другой же – бесполезно и тщетно. Таков уж исконный смысл наречия, отражающего представление русского человека о том, что получено даром: подозрение относительно качества, сомнение в нужности, неуверенность в пользе.

И уж, конечно, форма двойственного числа, давно утраченного русским языком – *задарма*, – используется только в ироническом смысле. Тут второе значение налицо – и только оно.

Вообще и в общем

На письме, поддаваясь скороговорке, эти слова иногда смешивают друг с другом. Да и вообще... когда говорят: «Ну, ты вообще!..» – не очень понятно, но недовольство чувствуется.

«Какое это ужасное слово – *вообще*! – восклицал Станиславский. – Сколько в нём неряшества, неразберихи, неосновательности, беспорядка.

Хотите съесть чего-нибудь “вообще”? Хотите “вообще” поговорить, почитать? Хотите повеселиться “вообще”?

Какой скукой, бессодержательностью веет от таких предложений...

“Вообще“ – поверхностно и легкомысленно... “Вообще” – хаотично и бессмысленно... “Вообще” – всё начинает и ничего не кончает».

В общем – суровый отзыв.

Вот именно так: *в общем* и *вообще* – слова одного корня, того же, что в словах *общий*, *община*, *общество*.

Уже у новгородцев в XVI веке слово *вообще* известно в форме *вобче*, *вопчи* – согласно русскому произношению (церковнославянское *во-обще*). Это сочетание прилагательного *общий* в предложном падеже с предлогом *в*, и значило оно 'нераздельно вместе, все заодно'. Современное значение 'в целом, не входя в подробности' появилось во второй половине XIX века. Долгое время новое значение как бы подтверждалось дополнительным словом: *в общем и целом*, *в общем итоге*...

Таким образом, известные основания для смешения двух наречий имеются. Однако для нашего сознания они не равноценны. *Вообще* более неопределённое выражение, а *в общем* – как бы перевод его на современный язык, но только в значении 'в общем, не входя в подробности' или 'в целом, ничего не выделяя'.

Наверно и наверное

«Я иногда затрудняюсь, как писать или говорить: *наверно* или *наверное*. Все пишут это вводное слово по-разному». Что же ответить на это письмо?

Ещё Пушкин оба слова употреблял с общим значением 'наверняка, несомненно', например: «Знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши». В современном же употреблении они имеют прямо противоположное значение: 'кажется, по-видимому, вероятно', и стали вводными словами: «Он, наверно, не знал», «Он, наверное, не знал». В промежуток времени, прошедший после Пушкина, это были как бы два различных по смыслу слова. Наречие употреблялось в старом значении 'несомненно, наверняка', а вводное слово использовалось уже с оттенком сомнения.

Полная форма *наверное* меньше похожа на наречие и потому скорее утратила прежнее значение уверенности, убеждённости, тогда как *наверно* сохраняло ещё такое значение, что многими ощущается и сегодня.

Казалось бы, странно такое переосмысление слова – от значения полной убеждённости до абсолютной неуверенности, предположительности. Однако в развитии литературного языка такое случается часто. Возможность подобного переосмысления в очень употребительном слове объясняется и его происхождением. Слова *наверно*, *наверное* обозначают то, что принято на веру, само же представление о том, во что верить или не верить, никогда не являлось окончательным аргументом в любом споре – научном ли или бытовом. Отсюда и двойственный смысл этих слов, нередкий, как мы заметили, у наречий. Они ведь происходят от имён, но относятся-то к глаголам! И тем угодить – и этим. Не случайно в пушкинские времена эти слова и употреблялись обязательно в сочетании с глаголом, обычно при глаголах *знаю*, *полагаю*, *думаю*... «Знаю наверное», – говорит Пушкин устами Троекурова, имея в виду, что знает не абсолютно точно, примерно.

Сочетания такого рода чутко реагируют на изменения общественной жизни и новыми своими значениями отражают изменившееся отношение к точности и достоверности мысли. Читатель, письмо которого процитировано, судя по его вопросу, тонко различает смысловые оттенки русского языка, что очень радует.

Волнительно и волнующе

«Всё чаще слышу: *волнительный*, *волнительно*. Раньше говорили *волнующе*, *волнующий*. А как правильно?» В этом вопросе содержится уже и ответ. Он заключается в том, что нельзя говорить «как правильно», если сталкиваются в речи разностильные формы. Как лучше, предпочтительнее.

Скажем о четырёх словах сразу, потому что слово *волнительный* в русских словарях появилось в 1704 году, а слово *волнительно* – только в самом конце XIX века. Один из героев романа Федина «Необыкновенное лето» говорит: «Волнительно! Я ненавижу это

слово! Выдуманное, несуществующее, противное языку...» Ненавистников этого слова много и в наши дни, хотя уже Л. Н. Толстой и А. П. Чехов употребляли его, правда, только в письмах. В современных же словарях *волнительно* упоминается, хотя и с пометой «разговорное».

Волнующий, волнующе – формы книжные, это слова высокого стиля, которые в разговорной речи и стали заменять равнозначными им, но по произношению русскими словами *волнительный, волнительно*. Существуют ведь однотипные слова: *обаятельно* и *обаятельный, зрительно* и *зрительный, общительно* и *общительный* и др. Ощущение неудобства, странности и даже известной манерности слов *волнительно, волнительный* создаётся оттого, что, как разговорные, они противопоставлены торжественно высоким своим конкурентам, и нет между ними средних, нейтральных по стилю слов, которые бы снимали столь резкую разницу и помогли стать словами литературного языка. Разрыв стилей мы и воспринимаем как ненужность самого слова, а это неверно, необъективно: мы словно пугаемся нового слова, вполне понятного и даже русского по происхождению.

Не важно, из какой среды приходит новое слово. *Волнительно* пришло из артистической среды, потому что именно там впервые появилась потребность выразить сильнейшее эмоциональное впечатление. Однако, попав в общую для всех нас речь, слово чуть-чуть обобщило своё значение, так что словарь указывает теперь: *волнительный* – 'волнующий, вызывающий тревогу', следовательно, не одно лишь восхищение, но и известную настороженность также.

Простой способ проверить значение нового слова в языке – поставить его в различные сочетания с другими словами, построить типичную фразу. Можно по старинке сказать «волнующе прекрасен», «она говорит волнующе», сказать же «мне было волнующе» невозможно, потому что в разговорные конструкции высокое слово не вставишь. Да и смысл-то изменяется: там

говорили о ком-то (об объекте), – теперь говорим о себе (о субъекте). Однако сегодня уже привычны сочетания типа «мне было волнительно», «это волнительно». Кстати, и образ, который возникает при использовании слова, также важен. В том же письме читатель заметил, что слово *волнительно* в его представлении связывается с «волной». Вполне вероятная вещь, однако следует помнить, что на значение слова *волнительно* оказали своё влияние значения французских слов того же «артистического» жаргона.

Всё в ажуре!

Не простое тяготение к иноземным словам, но и необычное для русской речи стремление к описательным выражениям, которые подменяют собою отдельное слово, да ещё с выразительным суффиксом, стало замечаться в последнее время, особенно в разговорной речи молодёжи. Понятно огорчение родителей, заявивших: «Удивляет меня какая-то обтекаемость мысли, как будто скользит он по поверхности переживания, особенно в речи школьников: скажет лишь бы сказать, иногда в полном несоответствии с истиной: – Как дела? – Да нормально!»

Нормально в этаком неопределённом смысле – как раз то, о чём я сейчас говорю. Каждому хочется иметь в запасе словечко, которым можно было бы при случае «запустить» в собеседника в ответ на чисто формальное его «как дела?» да «как поживаешь?» – когда ведь и ответа от тебя не ждут... Что спросили – то и получили, не правда ли? И нет ничего за таким ответом, и требовать не с кого. Почему же именно *нормально*? Потому что понятие нормы, того, что в норме, стало в наши дни самым обычным словом для выражения полного порядка, так что, выходит – *всё в порядке*?

Передо мной словари. В словаре Ушакова слова *нормально* нет, у Ожегова, который составлен на основе этого словаря, *нормально* – 'то, что соответствует

норме’: «Как себя чувствуешь? – Нормально!» Нормальная температура, потому и нормально. В полном согласии с реальным положением дел. В значении слов ничего переносного.

Простой разговор.

Но в новейшем кратком академическом словаре приведено уже (впервые для всех!) и разговорное значение ’так, как полагается, как нужно’, добавлена особая форма: «в норме».

Было ли прежде равное ему выражение? Конечно же, было, только теперь, при возникновении новых, оно нам не кажется таким уж крамольным. Совершенно нейтральное, даже невыразительное *в порядке, порядок*. От Куприна до Симонова пользовались им безотказно многие писатели. Слово старинное, русское, со многими вариантами, от самого раннего «в порядке вещей» до новейшего, только что занесённого в словари *порядочек*! *В порядке вещей – всё в порядке – в порядке – порядок – порядочек!* За полвека солидное сочетание слов проделало путь «включения»: смысл целого сочетания слов, сохраняясь в одном-единственном (все прочие исчезают в беглой речи, как бы усыхая: они служебные), включает в себя смысл всех опущенных слов, обогащается содержанием, становится энергичным по форме и выразительным по стилю.

Всё в порядке – порядок!

Всё в норме – нормально! ,

Всё в ажуре – полный ажур!

Те пометы, которые мы находим сегодня в словарях при этих словах, верны: *в ажуре* – это разговорное слово, *порядочек!* – просторечное, *нормально!* – стоит без помет. Нормальное слово, однако задумаешься, прежде чем скажешь: не всякому и не всегда.

А на подходе всё новые и новые в том же роде...

– *Однозначно!*

Энергия оптимистического утверждения предстаёт как точка приложения сил: она развивает идею, которая вся – в эмоции.

Целиком и полностью

На первый взгляд это выражение кажется «маслом масляным»: не одно ли и то же *целиком* и *полностью*?

Это сочетание слов действительно является новым; оно распространилось в 1930-е годы и впервые отмечено в словаре Ушакова. Составилось же оно из русского наречия *целиком* и книжного его варианта – тоже наречия *полностью*. Форма *целиком* отмечается в словарях с XVIII века и хорошо известна по классической русской литературе, где употреблялась самостоятельно и значила 'в целом виде, без членения на части'. Это остаток одной из грамматических форм древнего слова *целик* – 'нечто целое, цельное, нетронутое', например земля, лес, скалы. И *целик*, и *целиком* указаны в «Толковом словаре» Даля, тогда как слова *полностью* в этом собрании русских слов нет. До конца XIX века обычным могло быть выражение вроде употреблённого Римским-Корсаковым: «“Каменный гость” исполнялся целиком» – а не полностью, как сказали бы мы сегодня.

Самый суффикс в слове *полностью* выдаёт его книжное происхождение, *полностью* встречается с XI века в древних текстах и значит 'отменная полнота'. В современном языке можно найти разные формы слова *целик* (*по целику, на целике*), но никогда не встретишь таких форм у второго слова – только *полностью*; оно и пришло к нам в этом обличье.

Из торжественно-книжного языка наречие *полностью* попало в литературный язык только в XX веке и, поскольку оно обозначало почти то же самое, что и *целиком*, часто стало употребляться с последним в общем сочетании *целиком и полностью*. Такое сочетание встречаем во многих речах и выступлениях довоенного времени, а также в прозе публицистов, например у Вс. Вишневского. Новыми сочетаниями слов в то время пользовались в целях большей выразительности речи; они как бы усиливали эффект высказывания, совместно сплетая понятный смысл русского слова

с торжественным пафосом его книжного двойника. От частого употребления подхваченного выражения постепенно происходило взаимное «перетекание» оттенков смысла, так что со временем оба слова стали казаться одинаково русскими, тем более что есть ведь и русское слово *полный*.

Строго говоря, окончательного совпадения в значениях двух слов так и не произошло. Ведь *целиком* по своему смыслу значит 'быть целым', а *полностью* – 'быть полным'. Сегодня только в разговорной речи мы смешиваем эти два значения, а на самом деле, выступая вместе, они как бы дополняют общую характеристику действия: сделать *целиком* – в целостном виде, сделать *полностью* – в законченном исполнении. Выходит, что новое сочетание продолжает древнюю традицию русских сочетаний такого типа, в которых оба слова окончательно в своих значениях не совпадают: *стыд и срам*, *радость и веселье*, *горе не беда*.

Чтобы понять особенность выражения как приемлемого литературного факта, сравним его с другими, внешне похожими сочетаниями слов. Они также возникли недавно.

В общем и целом как канцелярско-административный жаргонизм отмечается с 1920-х годов, но это не русское образование, а перевод с немецкого «im grossen und ganzen» – чужой оборот, холодный и официальный; он не смог органически приладиться к нашей речи всем составом своих частей, хотя в публицистике и известен с конца XIX века. Правда, поначалу выражение ещё очень конкретно: «Рассматриваемая с исторической объективностью, в общем и целом, личность Некрасова является перед нами очень выдающеюся, мало того – очень замечательною, весьма крупною и чрезвычайно даровитою» (М. Антонович), – повторение характеристик (*очень – весьма – чрезвычайно*) допускает и повторение смысла в нашем сочетании, хотя общее – не совсем то, что целое. «Журналист» 1925 года резко осуждает этот «газетный

штамп» – потому что через язык газеты он и входил в массы. Разница между объёмностью выражения *целиком и полностью* и сухостью в *общем и целом* до сих пор осознаётся в стилистических их расхождениях.

Вместо выражений могли прийти в нашу речь и отдельные слова того же общего смысла. Неоднократно упоминавшийся в этой книге АБ в 1889 году осуждал новое слово *всецело*: «Слова *совершенно, вполне* нередко сторонятся перед ворвавшимся не очень издавна в наш язык семинарским *всецело*, не заключающем в себе и подобия благозвучия. Не в видах ли прикрасы слога он так настоятельно нужен?» *Всецело* и сейчас ещё не вошло в разговорную речь как естественная её краска. Являясь внешне словом, на самом деле это сжатый оборот: 'весь целиком'. Сокращённое слово со своим эмоциональным зарядом, хотя и не таким уж красочным.

Порядок дня и повестка дня

Слово *порядок* в значении 'режим' употребляется в русском языке с середины XIX века – от Тургенева до Чехова; это перевод французских или немецких сочетаний типа *старый порядок, порядок жизни* и др. Сто лет спустя эти сочетания получили уже и русскую форму: *распорядок жизни* или *старые порядки.*

Порядок дня – перевод немецкого выражения, впервые употреблённый в публицистике. Ещё в 1939 году словарь Ушакова считал это сочетание (в значении 'вопросы, предназначенные для обсуждения на заседании') сугубо официальным, но вскоре оно утратило официальность и породило несколько новых: «в порядке дня стоит вопрос», «поставить в порядок дня», т. е. поставить на очередь для рассмотрения и разрешения, причём не обязательно в заседании.

Увлечение новым выражением после революции было повальным. «Журналист» в 1928 году писал: «Постоянно стоящий на повестке *порядок дня* навязал

всем выражение *в порядке*. Мы говорим: *в порядке вопроса*, *информации*, *обсуждения* и т. д. Один очень хороший оратор в публичной речи выразился даже так: "В то время многие кончали с собой в порядке самоубийства"!» Оттуда же, видимо, и словечко *порядок! порядочек!* Как часто бывает, серьёзная формула, пущенная в обиход, затаскалась и вылиняла. Спасло её только то, что связана она была со многими другими, вполне литературными выражениями.

Отчасти пересекалось сочетание *порядок дня* с известным церковнославянским выражением *злоба дня, на злобу дня* – существенные вопросы, подлежащие общественному обсуждению (книжное слово *злоба* значит тут 'забота'). Однако сочетание было чужим, книжным, со временем обозначилось стремление создать собственно русские, разговорные варианты с тем же самым смыслом. Прежде всего попытали известный авторитет – французский язык – и нашли в нём сочетание, которое перевели так: *вопрос дня*. «У нас в Москве вопрос дня, если можно так выразиться, – Рашель», – писал о гастролях французской актрисы «Пантеон» в 1853 году. «Галлицизм, – педантично замечает на это "Москвитянин", – по-русски сказать – *повсюдный*, господствующий вопрос».

Русская замена оказалась не столь уж и удачна. «Свисток» иронизировал над новым сочетанием слов, говоря, что ныне (1860) все имеют слабость «отыскивать вопросы» или «ставить вопросы».

Злоба дня постепенно отходила в высокий слог. В «Отечественных записках» 1880 года совершенно серьёзно употребляется и выражение «несколько слов по поводу вопросов злобы дня» – и старое и новое вместе, одно как бы поясняет другое, ещё непривычное. В публицистике в распавшееся сочетание пытаются подставить всё новые уточняющие смысл слова: «в практических требованиях дня» (Н. Михайловский); «от повседневных вопросов, составляющих задачу и злобу дня»; «да и что такое вопросы времени или совершенно просто – как люди дня, они не за-

глядывают на завтра и от сегодня берут все» (Н. Шелгунов). Видимо, такое разрушение старого сочетания было характерно для печати тех лет. Вот и у Достоевского встречаем: «газета следит за интересами дня»; в «Дневнике писателя» самым разным подбором слов он пытается вскрыть эмоциональную и логическую сторону старого и нового выражений, сошедшихся вместе: «Я прочел три-четыре страницы настоящей «злобы дня» – всё, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и социальных вопросах и как бы собранное в одну точку. И главное со всем характернейшим оттенком настоящей нашей минуты, именно так, как ставится у нас этот вопрос в данный момент... Такой злобы дня я не ожидал, она признаётся насущной темой для разговора, связана с самой главной злобой обвинения...» Выделенные слова показывают, какие оттенки смысла и чувства ищет писатель для раскрытия запутанной ситуации, которая возникла в русской жизни более ста лет назад.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«НЕЛЕПЫЕ ГЛАГОЛЫ»

Непечатные слова

Ещё совсем недавно, когда на радио и телевидении существовали передачи, посвящённые русской речи, слушатели и зрители живейшим образом интересовались вопросом о грубых словах, справедливо полагая, что их употребление входит в проблему речевого поведения. «Например, в разговорную речь широко вошли такие слова, как *блат, хана, шпана, усёк* и т. д., а некоторые другие, известные слова стали употребляться со смыслом, совершенно не соответствующим их содержанию: *заткнись, рубануть, до лампочки*, и т. п. Почему вы не касаетесь этого вопроса?!»

Заметили, какие «грубые слова» приведены в этом списке?

Сегодня в обиход входят до неприличия грубые, просто скверные выражения. Признаюсь, меня удивили слова молодого провинциального воеводы, поставленного в Москве на державу, когда в одном из первых своих интервью он выразил смущающую душу мысль с радиологической откровенностью (тем самым показывая себя с известной стороны): «Лучше всего о загадочности и неординарности русских слов можно прочитать у Ильфа и Петрова. В каком месте? Во всех. На меня сильное впечатление произвела их ироничная манера изъясняться по-русски. По-моему, эту манеру нельзя воспроизвести в переводе на другие языки... Но особый колорит языку придают непечатные слова».

«На меня сильное впечатление» произвела вся тирада — абсолютно безграмотная с точки зрения син-

таксиса и подбора слов. Что касается смысла – тут особый вопрос.

Подобное жеребячье восхищение русским крепким словцом характерно для многих, нечутких на русское слово, людей. Чем-то оно им близко по мироощущению и по собственным их природным задаткам. Только в таком слове и через него они способны углядеть богатство и мощь языка, в котором им волей судьбы довелось существовать, поскольку родного они не знают, а английский поспешно учат, чтобы не отстать в карьере. Но чему удивляться? Конечно, великий народ, обладающий ярким и красочным языком, не оплошал и здесь, поражая иноземцев изысканностью выражений и бесконечной их цепью. Но тот, кто видит в русском языке только этот его пласт, выдаёт себя с головой, выставляя свои комплексы. Как подросток, воровато выводящий в туалете заветное слово.

Обвиняют в ханжестве тех, кто брезгует этим словом.

Остановимся. Обдумаем. Ответим.

Очевидная ложь, подтасовка фактов.

Во-первых, нормальный человек не станет на люди выносить интимные подробности быта, и даже в отвлечённом смысле, как крепкое слово, оскорбляющее слух других людей, русский человек употребит по делу: «Неестественная ругань у русского человека начинается только тогда, когда у него уже нет аргументов», – заметил Достоевский.

Во-вторых, история наша сложилась так, что литературный язык (а именно о нём мы и говорим) получили мы не из подворотни. В основе литературного языка лежит высокий стиль, по происхождению церковнославянского языка, а в том языке, как языке культа, неприличные слова не культивировались. Необходимый их минимум остался непереведённым греческим словом. Любимое выражение американских сериалов, смягчённое нашими переводчиками: «Иди ты в задницу!» – звучало весьма академично с помощью звучного и наполовину непонятного *афедрон Сатаны!*

Такова основа нашего литературного языка, «система его», а что касается утка́, которым вышивала на этой основе фантазия народного слова, то он в своих творческих поисках пренебрегал данным пластом бытовой речи принципиально. В литературную речь поступали слова отборные, лучшие, красный товар, как тогда говорили; это язык поэзии, который, между прочим, издавна на Руси стал преимущественно женским. А в женской речи, как известно, «таких слов» нет. Долгое время, до XX века, основными читательницами беллетристики были именно женщины, и призыв писать так, чтобы *читали дамы*, не пустой звук.

В-третьих, полагают, что на Руси «старинные лаконические выражения времён Батыя и Чингисхана» появились после монголо-татарских нашествий XIII века, и в своём переносном значении такие славянские выражения стали как бы переводами слов из языка насильников. Иные из них были связаны с некоторыми языческими культами и входили в потаённый мужской язык. Во времена крепостного права, а это «петровские времена», старинные слова переосмыслили, стали использовать как ругательные. До того, свидетельствует «Домострой», на Руси чётко различались сквернословие, срамословие и ругательство. В. И. Даль писал, что сквернословная брань известна лишь в южных русских («акающих») говорах, на Севере она представлена как исключение, занесённое с юга беглецами от неволи. Понятно, почему: на русском Севере не было татарщины и крепостничества. До сих пор там сохраняется родниковая свежесть русского слова; писатели-«деревенщики» своей речевой манерой связаны с этой стихией. С утверждением крепостного права различные типы бранных слов смешались в обиходной речи на почве своего рода «производственной их необходимости».

И вот только тут резко изменилось отношение к ним.

Как только ни назывались подобные речения! В самом обилии синонимов особый смысл. Оказыва-

ется, в русском сознании не укладывалась сама идея «ругательного» – бранного – слова, не возникло регулятивного термина, который определял бы меру и силу подобных слов как общий термин инвариантного (родового по смыслу) содержания. «Два ненужных, неприличных слова» у Льва Толстого, «все тонкости крепкой русской речи» у Н. Греча, «ругательные слова» у Вигеля, «бранные слова» у Сергея Аксакова, «непечатные выражения» у А. Потебни, «нецензурная брань», «невозможная брань» и просто «хорошие слова» в противоположном смысле слова «хороший» у Н. Шелгунова, «энергическое слово» у Добролюбова, «дурные слова» у В. Соллогуба, «неподобные слова» у князя Кропоткина, «позорные слова» у поэта Брюсова, «крепкое словцо» у А. Михайлова, «крупные слова» у актёра Каратыгина, «площадная брань» у публициста Елисеева, «хульные слова» у насмешника Салтыкова-Щедрина (столь же намекающее выражение «забористые слова» у Елены Штакеншнейдер), «матерные слова» у издателя А. Суворина, а у Владимира Набокова просто «похабные слова». Издавна такие слова и выражения назывались у нас «нелепые глаголы», то есть некрасивые слова. Когда лингвист И. А. Бодуэн де Куртене в начале XX века выпустил подготовленное им третье издание словаря Даля, дополнив его подобными непечатными выражениями, это справедливо было воспринято как покушение на нравственность, и профессору пришлось отвечать на вопли печати и общественности. Это прежде всего некрасиво, и потому непонятно, а следовательно, и неполезно, словом – неприлично.

Ни психологически, ни логически, ни исторически, ни даже лингвистически ментальность русского человека не может быть осуждена за наличие подобной лексики в его языке. «Русский народ вовсе не сквернословен, – заметил Достоевский. – Я не хочу унижаться ни до одного ругательного слова». *Унижаться* – унижать себя. С какой стати?

Объясняя причину нынешнего смакования грубых слов, особенно в печати, да и в устном изложении также, хочется припомнить высказывание умного человека, умевшего видеть причины и следствия. Причина эта – в деянии, в намеренном оскорблении чувств и мыслей других людей – стремлении унизить другую духовность под маской ментальности. Вот эти слова:

«Подрастает хулиганское поколение, которое не знает высшего закона, чем самоутверждение. Поколение это отдано во власть самолюбия и корыстолюбия, и знакома ему только религия самообоготворения и самообожания. Окончательно потерялось сознание ценности человеческой жизни, и неуважение к личности достигает размеров чудовищных... Всякое хулиганство, всякий нигилизм, всякое разложение благородных, сверхчеловеческих чувств есть укрепление насилия и деспотизма, есть как бы оправдание для беснующейся власти...

Найдём ли мы настоящие слова, будет ли жить божественный Логос в нашем слове, провозглашается ли правда, изобличается ли ложь? Пока мы этого испытания не выдержали. Волна хулиганства хлынула на нашу освобождённую печать и залила её. Мертвящий шаблон и условная ложь царят даже в лучших органах нашей новой прессы, истины боятся пуще всего, так как не уверены в её полезности и безопасности. Народился новый слой газетных литераторов, очень-очень левых, радикальных..., без всяких идей, без святыни в душе, – дельный продукт мещанской демократии. Прежняя чистота русской литературы, её своеобразная аристократичность, заложенная в ней тоска по правде – всё это быстро исчезает, забивается общим потоком в уголки...» – Николай Александрович Бердяев, 1910 год.

1910-й?!

Не всё так безнадежно, оказывается, и всё уже было, и такое уже переживали, и повторяется так не случайно.

Остаётся одно: не доводить до нелепости то, что н е л е п о.

Рассуждая в столь же общем виде, напомним, что «литературный язык» и «язык литературы», даже художественной, – не одно и то же. Современный литературный язык в своей норме возник на основе среднего стиля речи, поэтому и высокие книжные (старославянские) слова, и разговорные («подлые») одинаково воспринимаются как нежелательные. Кстати, и известное слово, именующее распутницу, по происхождению – высокий славянизм, и до XV века оно имело значение 'лжец, обманщик' (что связано с общим значением корня, того же, что и в слове *заблуждение*).

В прямом значении оно употреблялось долго, но во времена бироновщины исчезло из книг как слово непристойное. Академические словари его не включают, но «Словарь русского языка XVIII века» даёт его со всеми производными, оговаривая, что после 1730-х годов оно стало непечатным. Почему-то решили, что относится оно к Елизавете Петровне и Екатерине и оскорбляет «их величества». Так же обстоит дело со многими словами, которые постепенно выпали из словаря, потому что общество признало их грубыми, заменило эмоционально нейтральными иностранными терминами.

Не то в языке литературы. Даже такой стилист, как И. А. Бунин, может употребить в своём рассказе «неприличное» слово. Вероятно, и современными писателями руководит желание резким словом обрисовать образ, вызывающий омерзение. Но одобрить это нельзя. Традиции изящной словесности в общем следуют за литературной нормой, и нарушения редки. Даже классики, пытавшиеся «чёрные» слова ввести в литературный язык, не преуспели в этом. Это не ханжество – это целомудрие, культура речи, уважение к собеседнику.

Экспрессия враждебных станов

В политических сражениях нашего времени логики доказательств уже мало. Политики и их приспешники действуют на людей эмоцией чувств, вкладывая в обычные слова яростные оттенки экспрессивности. Известный славист А. Д. Дуличенко, работающий в Эстонии, издал в Германии большую книгу, в которой, между прочим, на примере нынешнего «языка» печати показал «десоветизацию» идеологических клише, штампов политической речи. Например, сохраняется обилие эпитетов при слове *социализм*, но изменяется их смысл:

в начале перестройки:	в разгар перестройки:
обновлённый	*государственный*
демократический	*административный*
гуманный	*командно-административный*
настоящий	*казарменный*
хозрасчётный	*бюрократический*
«с человеческим лицом»	*бездуховный*
бесправный	*примитивный*, и т. д.

Не станем уж говорить, что новые определения давались теми же людьми, которые до перестройки питали нас «терминами» типа *реальный социализм*. Пустозвонство словес осталось и теперь, так что в каждом отдельном случае нужно отдавать себе отчёт в смысле сказанного. Но следует знать модель, по которой умельцы способны настругать бесконечное число оскорбительных выражений.

Каждый термин типа *социализм*, *коммунизм*, *капитализм*, *фашизм* – им несть числа в истории нашей – это символ. От понятия символ отличается тем, что не имеет собственного значения; он указывает на что-то, что такое значение имеет, и тем самым обретает собственный смысл. Немцы не случайно называют символ «образным понятием», однако п о н я т ь символ можно только через образ, сложившийся в данной культурной среде.

Образное значение символу и придаёт прилагательное-эпитет, каждый раз новое определение, с помощью

которого пытаются понять коренной смысл слова-символа. *Реальный социализм* такое же личное понимание социализма, как и *социализм бездуховный*. Их лучше оставить без внимания, потому что у каждого человека есть своё представление о символах, и он сам способен определить их понятием. И только принадлежность к определённой партии, движению, образу мыслей даёт нам право ограничиться тем кругом определений, их «парадигмой», как говорят лингвисты, который выработан для этого идеологами. В сущности, ничего кроме этих толкований общекультурных символов, у современных политиков нет. Такова болезнь современного интеллигентского сознания: вместо реальных дел и действий, связанных с миром вещей, явлений, событий и лиц, оно предпочитает оперировать фантомами словесных символов. Ведь определение предлагает один-единственный признак – признак освоенного понятия, тогда как символ многомерно объёмен, не поддаётся одноразовому истолкованию посредством понятия. Одновременно в газетах разного направления мы встречаем формулы прямо противоположного по экспрессивному заряду содержания. Описаны, например, такие (первое выражение в патриотической печати, второе извлечено из печати демократической):

русские предприниматели	*российские промышленники*
русские специалисты	*российские программисты*
русские писатели	*российские литераторы*
русское государство	*российская государственность*
русская жизнь	*российская действительность*
русская идея	*русский империализм*, и т. д.

Никакого комментария здесь не требуется, формулы говорят сами за себя. В одном случае явлён смысл национально-духовного характера, в другом – административно-командного (именно с административно-командным стилем руководства «боролись демократы»). Вместе с тем заметно переключение мысли в абстрактно-уклончивую сферу отношений

(не *жизнь*, а только *действительность*, не *государство*, а именно *государственность*, и т. д.). Даже в сферу писательской деятельности попадают все, к т о п и ш е т, – конечно же, журналисты не могут забыть о себе самих.

Разумеется, есть и такие формулы-перевёртыши, которые обслуживают все партии, в зависимости от их партийной точки зрения. В таком случае у нас *разведчики*, *добровольцы*, *вооружённые силы*, *временные внутренние трудности* – *демократия*, тогда как «у них» соответственно *шпионы*, *наёмники*, *военщина*, они испытывают *кризис* – словом, *диктатура*.

Языковая избирательность присуща в общении каждому человеку, поэтому собственным опытом, разумом и знанием подобных формул человек и должен, читая текст, представлять себе ту меру истинности, которой можно доверять в любом восприятии информации.

Пошлые банальности

Банальность – слово понятное, оно обозначает избитое, лишённое всякого смысла, опустошённое выражение, некогда вполне пристойное, может быть, но теперь п о ш л о е, серое.

В Секторе древнерусской литературы Пушкинского дома можно было видеть на стене объявлений большой список слов и выражений, которые сотрудники предлагали выбросить из употребления в научных работах, да и вообще «из жизни». Все такие внешние признаки интеллигентности («образованность свою хочут показать») действительно широко распространены. Когда слышишь их или видишь написанными, немедленно возникает некая душевная изжога, и автор становится неинтересен. Особенно, если таких выражений у него много.

Припомните, как сами вы относитесь к таким оборотам: *где-то около пяти часов*, *в районе пятого часа*,

порядка двадцати, блестящий анализ (защита, работа, высказывание), *потрясающий текст, практически невозможно, шедевр литературы, по линии месткома, в плане нашей инициативы, в адрес юбиляра, морально-нравственный, морально-этический, человеческий фактор, научные* или *заграничные контакты, контекст не в своём значении, скажем ниже, говорилось выше* и пр. Или к словам не в своём значении: *качественно* в значении 'высококачественно', *абсолютно* в значении 'полностью, целиком, совершенно', *информация* в значении 'сведения, сообщение', *уникально* (и *уникальность, уникальный*), *впечатляюще, переживание, ареал, регион, обговорить, обсказать, задумка, настрой, поэтично, волнительно, содержательный* (*содержательно*), *значимость, позиция* (в смысле пунктов перечисления «по позициям»), *обсказ, фото* вместо *фотография, пошив и попис* (коллективных трудов: есть и такое выражение у учёной братии, глухой на русское слово!), *упругий* (о линии, форме или цвете в произведениях искусства: *упругий рисунок*) и пр., не говоря уж о таких, как *комплексно, система, мне думается.* Примеры можно множить бесконечно, но каждый раз, встречаясь с ними, вы безошибочно чувствуете пошлость выражения, может быть, вполне оригинальной мысли. Оригинальная мысль и в форме предстаёт своеобычной, свежей. А все приведённые примеры – ложные метафоры, которыми насыщают нашу речь поэты от науки, неудачники своего дела.

Правильно пишет мне читатель, предлагая выход: «Для начала можно было бы авторитетно и на виду у общественности заклеймить хотя бы такие ошибки наших воспитателей-журналистов и обозревателей:

– хорошо замаскированные тавтологические выражения вроде *на сегодняшний день, как всегда по традиции, город Ленинград...*

– форменный бенефис неприлагаемых прилагательных: *пожилой возраст, дешёвые цены, важное значение, культурные новости...*

– безграмотное употребление числительных (а это один из самых известных критериев владения родным языком): *десять с половиной очка, более восемьсот рублей, вполовину меньше, порядка два миллиона, встреча обеих сторон...*

– мы ежедневно вкушаем плоды попугайства вслед за малограмотными, некультурными политическими деятелями и вынуждены выслушивать *в этой связи* (вместо *в связи с этим*), *неоднозначное выступление, взвешенный подход, неадекватная обстановка...*

– можно привести богатейшую коллекцию уже заштампованных перлов спортивных комментаторов: *повторный матч* (на самом деле – *новый, другой, ответный*, но никак не *повторяемый*), *тренер выпускает на лёд такого-то* (преступника, разъярённого зверя?), *завоевал медаль* – только военная терминология и ни грана творческой фантазии, *изменения в составе динамовцев* (просто стыдно за комментатора!).

Всё это и подобное мы ежедневно выслушиваем от людей, важнейшим элементом профессии которых является знание и сносное владение языком. Но, имея диплом в кармане, место с зарплатой и героический ореол правдоносителей, они не желают работать над собой, над культурой своей речи. А ведь это и есть признак консерватизма и низкой человеческой культуры "передового отряда". Мне кажется странным, что этой теме не уделяется серьёзного внимания, а потери здесь воистину необратимы».

Так пишет сборщик одного из питерских заводов, ещё раз подтверждая своим письмом, насколько же далеко до рабочего человека, привыкшего трудиться (в том числе и «над собою»), тем персонажам, о коих он пишет.

Без комментариев.

Речь молодёжи

«У нашей молодёжи... много сердца, а было бы сердце – печали найдутся», – писал историк Ключевский.

А речь молодёжи – печаль для отцов.

Молодёжь всегда старалась противопоставить себя миру взрослых и соперничающим молодёжным группам. В первом случае – протест как реакция на общественные невзгоды: на ложный пафос, на враньё, на оскорбление личности; в другом – желание сразиться, здоровая конкуренция стилей и форм, игра, в которой и рождаются новый стиль жизни, новые формы речи.

Высокомерие аристократического общества питало снобизм светского молодого человека. В молодости Л. Н. Толстой воспитывал в себе человека «комильфо» (франц. *comme il faut* 'как нужно') – то, что впоследствии получило англизированное именование «джентльмен». Молодые люди такого типа, попадая в университет, либо чувствовали себя неуютно в разночинной молодёжной среде и уходили с курса, либо замыкались в своём кругу: «беложилетники» 1860-х годов, «белоподкладочники» 1880-х, «золотая молодёжь» – чуть позже. В отношении к родному языку поведение этих молодых людей было однозначным. Они принимали высокий слог славянизмов и всячески порицали скороговорку разночинцев, принёсших с собою неприемлемые с их точки зрения словечки и обороты речи. Разночинцы платили им тем же, высмеивая высокомерие «беложилетников». Постепенная демократизация общественной жизни неожиданно порождала всё более грубые формы речи. Собственно, в речи молодёжи и устоялись элементы городского просторечия, прежде чем вошли в литературный язык.

Вот образцы молодёжного жаргона в разные времена:

«– Так ты её очень любишь, Сережа? – зевнул Пьер.

– О, я от нее без ума, – высморкался Сергей Ипполитович.

– Ну, так пойдём к ним, – взял Пьер шляпу.

– Да, да, лечу к ней сломя шею, – порывисто взъерошил влюблённый нависшие на лоб нечёсаные патлы» (диалог 1889 г.).

«– Эй, жлоб, куда прёшь?

– А тебе которое дело? Всякий шмыдрик спрашивать будет. Без сопливых обойдёмся.

– Нишкни, подлюга, а то сейчас кису нагоняю. Стремить на тебя долго не буду.

– Кто на тебя, шкета, зэтить будет? Плетуй-ка, слепой, пока не обокрали.

– Ну, ладно, не мурмуль. Ты куда?

– В ячейку...

– Потартаем вместе...» («комсомольский язык» – диалог начала 1920-х годов).

«Ловит кайф музыки льда; Обожали, переполняли, ломились, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, пестрели... швырялись, мяукали, кайфовали, коло-лись, надирались, отдавались, затихали, благоухали, смердели, лорнировали, блевали, шокировались, не секли, не понимали, не фурлыкали, не волокли, не контачили, не догоняли, не врубались, трубили, кускусничали, акулевали, клялись, грозили, оборжали, вышвыривали, не дышали, стонали, учились, революционизировались, поняли, скандировали ом, ом, оом, оммм!» (о молодёжи 60-х годов – из эссе А. Вознесенского «О»).

В последнем случае заметны не только смысловые, но и чисто звуковые переходы, напоминающие приём, использованный И. С. Тургеневым в аналогичной пародии. Контрасты этой искусственной фразы двойные – и по значению слова, и по рифмовке окончаний. Иные глаголы – всего лишь перевод других, представленных тут же, но малопонятных большинству людей. Словесная «игра» того же рода, что и у простодушных бурсаков, но насколько злее, агрессивнее. Предпочтение глаголу остается, и по тем же причинам.

Конечно, можно было бы добавить и другие слова: так, в 1920-е годы «обожали» словечки *буза* 'скандал' и *бузить*, *дрейфить*, *хай*, *на стрёме*, *сачок*, *слабо́*, *зырить*, *пузыриться*, *зашиться*, *шухариться*, *скулить* 'радоваться', *кодла*, *не рыпайся*, *на ю и на ять*, те же бурсацкие *стырить*, *стибрить* – почти все из речи городского «дна».

Поначалу для молодёжной речи характерна устремлённость к высоким славянизмам (таков общий тон речи в середине XIX века). Затем – и особенно после революций начала XX века – «образцом» становится речь представителей общества, по мнению молодых, достигших «абсолютной свободы» (от всего и всех) представителей городского «дна». И только много позже в оборот входят иностранные слова.

Однако важно то, что в общий обиход, и тем более в литературный язык, подобные слова, переносные значения таких слов, искусственные речения и фразы не вошли. Заимствование же из различных стилевых потоков, перекомпоновка слов в сочетаниях – словесная «игра», в процессе которой незаметно для её участников проверяются речевые ресурсы русского языка, а попутно вкус и умение говорящих совладать с напором речевой стихии в важные моменты истории.

Речь, в которой больше синонимов, чем выражено понятий, отражает способности, симпатии и пристрастия молодого человека, ведь в речи «образцы имеют то преимущество, что удерживают нас на почве конкретности» (А. Белый). Конкретность мышления молодого человека и нуждается в поддержке словом, которое соответствовало бы экспрессивности и картинности выражения, не обязательно логически точного и всем понятного. Мы уже заметили это свойство молодёжной речи: она синкретична по смыслу и слово в ней – образ, символ, а не знак понятия. В этой речи всё опредмечивается, становится вещью. Каждая историческая эпоха предлагает молодому человеку свои выразительные средства, и делом его становится выбор

из многого только того, что нужно или, по крайней мере, удачно выражено.

Молодёжная речь эллиптична, она опускает «лишние», по её мнению, слова (примерно так, как в монологе А. Вознесенского). Глагол и здесь в центре речи, синтаксис упрощён до предела (синтаксические связи слов передаются интонацией – тоже совершенно особой), звучание слов лениво растянуто, и гласные «поются», а согласные временами как бы проскакиваются. Много преувеличений, намеков, недомолвок; здесь господствует гипербола. Метафора, которая украшает речь, встречается редко, но метонимия распространена: слова и понятия сопрягаются не по сходству, а по близости смысла, по смежности, принадлежности общему классу вещей. Образ всегда возникает неожиданно. *Шкурка* 'пустая бутылка', *портянка* 'большое объявление' – что общего между ними? Какие признаки соединили общим словом бутылку и шкурку, портянку и объявление на стене? Связь случайна, но поражает образной точностью. Эта связь непрочна, тут же распадается, поскольку внутренне нет ничего общего между предметами, сопряжёнными в данный момент для эмоционального выражения мысли, нет ощущения.

С течением времени иные словечки могут проникнуть и в разговорную речь, как пришли к нам в начале века *разнузданный*, *прогорел*, *ошиваться*, *охмурять*, *завсегдатай*. Вот словечки и поновее, рождены в 1950-е годы, но уже слышны не столь часто: *ляп*, *очкарик*, *слабак*, *хохма*. Особенно быстро изнашивается образ, представленный в сочетании логически несоединимых слов: *шлангом прикинулся*, *идея клюнула* – случайность смысловой связи не задерживает внимания на значении выражения, в нём нет ничего, кроме образа. Любой предмет получает своё символическое имя, которое претерпевает неизбежную эволюцию. Сравним: *чинарь* – *чинарик* – *бычок* – *хабарик* – *хапчик* – *хапец* – всё это 'окурок'. Обратим внимание на признаки, выдающие устноречевое происхождение новых вари-

антов: *хабарик* в «ласкательной» форме даёт *хапчик* – с оглушением звонкого *б*; но при новом суффиксе, уже допускающем возвращение звонкого звука, этого не происходит (не *хабец*, а *хапец*).

В основе словотворчества неизменно лежит глагол. Всякое действие также передается синонимами разного происхождения: 'спать' – *падать, отрубаться, ломаться, отвалиться.*

Развитие значения в слове или идиоме происходит стремительно: не опишешь этот процесс. Например, 'протекция' – *рука, лапа, волосатость*; формула, которую можно расшифровать: «у него там рука», «нет, не рука, а просто лапа», «лапа не простая, а волосатая (силы больше)», «волосатая лапа, следовательно, и сила в её волосатости». В подобном движении мысли не возникает переносных значений слова, перед нами обычное ироническое переосмысление известного оборота путем подстановки стилистически сниженного слова (*рука – лапа*), что уже само по себе выражает отношение к соответствующему деянию; по сравнению с рукой, лапа – волосата (раз уж руку заменили лапой, должны проявиться и типичные её признаки), и чем больше волосатость (признак становится вещью), тем лучше – отсюда перенос признака посредством эллипсиса (опускается определяемое слово *лапа*, не в лапе дело).

Он роет – далеко от смысла народного выражения (в говорах *роет* значит 'бросает, кидает'), но всё-таки каждому русскому понятно. *Хорошо роет* заключает уже изменившийся смысл – 'работает здорово'; характеристика 'хорошо' постоянно присутствует в подтексте. От конкретного действия, выраженного общерусским словом с конкретным значением, мысль моментально пробегает весь путь возможных причинно-следственных связей (которые могут выразиться в значении слова или сочетании данных слов) и замирает в отдалении, уже никак не связанная с исходным значением слова. Тем самым основное значение слова как бы выворачивается наизнанку, достигает пределов возможных смысловых переходов.

Условное искажение слов, заимствование из других языков, переосмысление слов родного языка с помощью смысловых сдвигов или непривычных словообразовательных моделей – все эти способы переиначивания слов традиционны для любого языка, когда молодёжь «творит новое», подчас и не предполагая, что всё это новое «уже было».

Однако наряду с ошибками и увлечениями молодёжная речь обеспечивает поступление новых образных средств в литературный язык. Разумеется, если говорить о серьёзных опытах, если оставить в стороне пошлость и грубость, попавшие в молодёжную речь извне (типа *Заткнись! Рубанем! До лампочки!*...).

Эмоция и образ в действии

Во все времена весёлые школяры чуть-чуть искажали свою речь – и делали это отчасти сознательно, чтобы хоть чем-то отличиться от своих метров. При этом они вовсе не отдавали себе отчёта в том, что уродуют родной язык. Ведь любой человек в свои молодые годы, осваивая родной язык, как бы пропускает его через себя, через свою эмоцию, оживляя его образы, делая его понятным для себя. Вполне естественно, что это личное представление о красоте и ценности слова одного человека со временем может распространиться и среди его сверстников – юный возраст легко поддаётся моде.

В XIX веке влиятельные лингвистические школы вообще полагали, что развитие языков именно так и происходит: сменяются поколения, и каждое новое преобразует родной язык, совершая это отчасти из чувства протеста против старших, потому что в молодости так неприятны их менторский тон или ложный пафос. Языковая игра, начатая в детстве с усвоения речи окружающих лиц, со временем развивается в настоятельную потребность самовыражения в слове; подобные словесные игры развивают творческие способности, в них

создаётся вкус человека. Это своего рода «языковой эксперимент», важный и в социальном смысле. Многие в детстве пишут стихи – тоже игра со словом.

Обычно говорят о молодёжном жаргоне. Он действительно когда-то был очень распространён. Жаргон – специальная речь корпоративно замкнутых обществ, к числу которых относились и средневековые университеты, и воровские шайки, и маклерские фирмы, – современные студенты, разумеется, ничего общего с ними не имеют. Молодёжная речь теперь иная, она обращена к будущему и, в общем, по характерному для нее стилистическому тону, оптимистична и энергична, и направленность её – творческая.

Три «координаты» выделит каждый филолог, говоря о родном языке: норма литературная – то, что полезно и общепринято для общения; система языка – то, что существует в реальности и в своих изменениях не зависит от нашего желания; и стиль речи – то, что в речевом общении говорящему кажется особенно верным, удачным и даже красивым. Все три признака необходимы для понимания языка. В каждом слове как бы ввинчены одна в другую три сути: понятие как общечеловеческое, образ как национальное и эмоция как личное свойство единой в сущности структуры слова. Они слиты в органическом единстве и вместе с тем развивают одна другую. Точно так же, как слово-понятие без образа мертво, так и слово-образ без понятия невнятно. Резерв национальных образных средств слова в образе и в эмоции, их постоянное освежение необходимо для поддержания художественного тонуса любого развитого литературного языка. Безусловно, речетворчество юных в этом смысле – большое благо. В переносном значении старого слова, в метком словечке, в неожиданном сочетании они выражают не только смысл – но своё отношение, чувство, оценку, постоянно усиливая экспрессивные возможности русской речи.

Вспомним: многие ныне заслуженно литературные слова пришли из студенческой речи. Это ведь студенты Петербургского университета с 1860 по 1905 год, по-

степенно сменяя слова одно другим, максимально усилили выражение степеней качества: *большой* стал *огромным*, оборотился *громадным* и вырос в *грандиозного*. Вспомним, в 40-е годы XIX века молодой Л. Толстой осуждал семинарское слово *великолепно*, предпочитая ему дворянско-клерикальное, высокого слога и вполне привычное *прекрасно*. Позже на смену ему пришло и *железно* (против него возражают ещё и теперь), а вот сегодня слышим: *потрясно*, – и что-то ещё, от чего немеет пока язык.

Старое, уходя, может стать и литературным (как стало им слово *великолепно*), но может и исчезнуть навеки. Не уходят ли одно за другим выражения о модном: *последний звон – последний крик – последний писк* – и (полный восторг!) – *отпад*? От густого звона через истошный крик – к изнемогающему писку – каков диапазон! И нет ли глубокого смысла в брезгливом оттенке самих выражений, да сказанных ещё соответствующим тоном?

Когда-то о непроходимом дураке говорили просто: *дубина*. Со временем этого стало недостаточно. Слишком мягко, да и неправильно: дубина – только что срубленный ствол, ещё напитанный соками жизни («дубинушка зелёная» – только что выломанная, ещё сырая). Вместо *дубина* в том смысле стали говорить *бревно* – уже обиднее: что такое бревно, хорошо известно. Теперь недостаточно и этого, говорят – *пенёк*. Ни дерева никакого, ни бревна, а малый выступ на ровном месте – вот что такое... пенёк. Усиление образности связано с особой эмоциональностью производного слова. *Дубина... бревно... пенёк!*

Таким образом, самое главное в речи молодёжи – эмоция, чувство. Молодость инстинктивно отталкивается от строгости термина и точности логического понятия, ведь преимущество всякого образа в том, что он удерживает мысль на почве конкретности, избегая отвлечённых обобщений. В этом его сила, но и слабость тоже. Бесконечно повторяемое слово быстро тускнеет, поэтому и должны возникать всё новые ему замены,

хотя уже сама повторяемость слова становится средством его осмысления, определяет его судьбу: плохое отсеивается, нужное – остается. Речь молодёжи – не система, она принципиально несистемна. И открыта для любого нового творчества всех последующих поколений. И *ляп*, и *хохма*, и *бузить*, и *жох*, и *сачок*, и многие другие слова пришли из этого языка. Иногда они становятся важным материалом в писательской работе. Вот пример. Диалектное слово *бобка* – игрушка (вообще что-то маленькое, хорошенькое, например детская рубашонка). В жаргонной речи начала века *бобка* – рубашка (ещё недавно о модной рубахе говорили не *батник*, а *бобочка*). Но вспомним страшное слово, якобы придуманное Достоевским, – *бобок*. Откуда оно? Источник всё тот же: маленький, хорошенький, игрушка таинственная, скрытная, неведомая – а оттого и страшная... Ничто не пропадает в языке, если удачно выразило себя в речи.

Развитие творческой экспрессии речи определяется и питается здоровой самоиронией, которая возможна только у духовно здорового человека. В ход идёт всё: и условное искажение словесного образа, и иноязычное заимствование (очень распространено теперь, когда многие знают языки!), и метафора, и народная этимология, близость слов, основанная часто на звучании... Но, как и в каждом серьёзном деле, главное тут – не перебрать. Шутка не должна превратиться в грубость, ибо это уже недостаток вкуса, чутья и такта. Для сравнения: воровской жаргон строится по тем же лингвистическим принципам, но с прямо противоположной ориентацией – на искажение речи, а не на развитие заложенных в ней творческих возможностей: то, что юные открывают, воровская речь – скрывает.

Неизбежность экспрессивных форм речи признают теперь и психологи. Они говорят о биологических, идеальных и социальных потребностях современного человека, а в плане речи и слова это выражается (соответственно) в эмоциональном, образном и понятийном содержании смысловой структуры слова.

По мере надобности слово может возникнуть не раз, многие «новые» слова кажутся таковыми лишь по незнанию их истории.

Кто такие «волосатики»? Новое слово? Нет. Оно пришло из воровского жаргона начала XX века, в котором *волосатики* – чужие, не свои, подозрительные. Но ещё и в середине XIX века «волосатые» ходили под подозрением (так называли, например, революционных демократов, во множестве вышедших из семинарской среды). А если покопаться, в далёкие языческие времена уходит образ заросшего природной растительностью человека, который вызывает недоверие и кажется чужим. И в наши дни отчуждённое отношение к «волосатикам» только кажется ощущением свежим, оно является древним. Само сочетание корня с суффиксом здесь выражает отношение к тем, кто является «волосатиком». Не случайно современный «волосатик», снимая с себя неприглядность облика, прикрывается обезличенным термином, как модно теперь, – из английского: *хайраст*. Ни образа нет, ни эмоции, никто не осудит, «полный кайф»... и волосы все – долой! В одном интервью было сказано «сибирским чалдоном»: «Лучшая женщина года – Киркоров». Надо думать, не с пьяну сказано.

Забурел совсем – как будто новинка, но и этому выражению больше ста лет, и всегда оно значило то же: зазнался, сильно возомнил о себе, стал нравственно глухим. Думают, что *трепаться* или *балдеть* – новые формы, но и они встречаются в фельетонах столичных газет с конца XIX века, и в том же самом смысле, и обычно без всяких кавычек, как хорошо известные выражения. Исчезло, выплыло, снова исчезло... Нужные слова как бы запрограммированы в языке, становясь какими-то словесными «генами», и в случае надобности возникают из небытия, ничем не обогащая нас, кроме острой эмоции и свежего образа.

Словесный образ всегда неожидан, а в речи молодёжи теперь он всё чаще связан с интеллектуальной сферой деятельности (что выдаёт с головой студенческое

его происхождение). *Ясно как в танке* – ничего не ясно. *Идея клюнула* – появилась мысль. *Шлангом прикинулся* – разыграл простачка. Неожиданно для себя удачно сдал экзамен – *прогнулся*. Скучная и неинтересная лекция – *лажа*, общежитие – *резиденция*. Конспекты лекций – *учёные записки*. Усердно заниматься перед экзаменами – *напрягаться*, и так далее (кстати, *итакдалее* – незнакомая девушка). А чем плохо: *стоять буквой «зю»* – работать в поле?

В этой речи историк языка очень часто найдёт старинные корни и значения слов, которые бытовали когда-то, а затем ушли из речи, как казалось – навсегда. Ан нет: «В какой аудитории занимаемся?» – спросит преподаватель. «Где мы живём?» – спросит студент. Исконно древнее значение слова *жить* (как 'пребывать, находиться') как бы всплывает в новом выражении. Студент, перебирая смысловые возможности русского глагола, интуитивно наткнулся на давние его корни и позабытые значения. Спящие почки смысла распускаются на древе языка.

Сиюминутность такой речи порождает необходимость создания всё новых вариантов, а для лингвиста это важно. Как генетик с помощью плодовитой дрозофилы за свою жизнь успевает поставить опыт с развитием генетических особенностей организма, так и языковед оказывается в состоянии определить направленность словесных поисков данного поколения. Вот несколько примеров из числа тех, которые «вытерпит» бумага.

Шамать – хавать – уцокать – удавить сменяли друг друга, и вот он, собирательный образ обжоры, прорастает из глагольного корня: *удав*. Что интересного для лингвиста? А то, что чем ближе к нашему времени, тем шире речевой эксперимент, причём не с диалектным и старинным словом, а со словом литературного языка, найдены новые возможности изъяснить старинный образ собственными языковыми средствами. Значит, сегодняшний школяр хочет, чтобы его понимали все – а не только узкий круг своих. *Удавить*

и *удав* – игра слов, но вместе с тем и приближение к искомой точности термина.

Специальным рядом в любом жаргоне рисуется портрет человека, и вот этот портрет в студенческом жаргоне наших дней: человека как абстрактной личности вовсе нет, а есть конкретный *бабец* или *кент* (что очень грубо) или *чувак* и *чувиха* (что ещё грубее, хотя никто не знает теперь происхождения этих слов – из воровского жаргона). А вот *кочка* – это голова, *пакли* – волосы, *веточки* – руки, *лапы* – ладони, *вращалки* – глаза, *рубильник* – нос, *копыта* – ноги, а ничего другого такому человеку и не полагается. Грубовато? Да, но вполне благодушно, не осудительно вовсе. Пугало в огороде, карикатурное подобие человека. Можно даже сказать, что за века существования подобные описательные выражения настолько распространились, что постепенно переходят в категорию нейтральных стилистически слов (в абстрактном смысле, разумеется: ни один лексикограф не включит этих слов в свой словарь без пометы – если вообще включит). Однако история подтверждает, что и в древности необходимость замены устаревшего слова образным приводила к тому же, и наше, вполне респектабельное, слово *голова* когдато означало ни много ни мало, как «черепок»! Оно родственно слову *желвь* («черепаха»), которое сохранилось в своём производном *желвак*.

Молодёжный жаргон имеет и функциональное оправдание – самое важное из доказательств его практической ценности. Им можно, например, отпугнуть – как комара запахом, им можно высмеять или оскорбить. И вот результат: *он отвалился, отлип, отсох, отрубился* – в последовательности появления этих глаголов в речи. Усиление грубости – усиление силы слова в отношениях с внешним миром.

Писатели, остро чувствующие современность, замечают постоянное перетекание понятия в образном слове, стремительно утрачивающем свой задор и накал.

У Василия Белова: «Иванов провёл очередную летучку – планерку – оперативку – пятиминутку (тер-

мины снашивались как медные пятаки)...» А потому что – не термины вовсе. Такие же... пятиминутки.

Описывая свои молодые годы, ушедшие 1960-е, Владимир Крупин столкновением современных слов с их прежними образными эквивалентами хорошо передаёт самый воздух тех прежних лет: «В те годы это назвалось *кадрёжкой*, сейчас – *приколом*», а что теперь *стекляш-ка* – было тогда *деревяшкой*, а что делает *диск-жокей*, то в эпоху домашних патефонов выпадало на долю *заводилы*. А китайские *кеды*? Куда там *кроссовкам*!»

Отрицательная характеристика неприятного человека создаётся на новых языковых основаниях. Кого называют ласково *страшок*? Кого упрекают в грубости подчеркнутым «грыбы отсуда!»? Как назовут делягу? *Нужник* – «нужный человек». В смехе рождается истина, в сокровенности словесного образа отражается и наше отношение к тому, что требует незамедлительной оценки.

Эмоция и есть отношение, всегда конкретное, сиюминутное. Но её не выразишь, её не поймут, не будь в основе её глубокого словесного образа, что таится до времени в глубинах корня. В этой речи, собственно, и нет ничего, кроме попытки выявить образы и выразить своё чувство.

Вспомним выражение о «своей руке», или протекции. Молодёжи мало выражения: *имеет руку*. Скажут: *имеет волосатую руку*. Так верней, потому что волосатая покрепче, она надежней всё устроит и уладит. Но когда на этом ироническом образе строится отвлечённый термин «волосатость», трудно понять, о чём речь: образ утрачен (термин его поглотил).

Во всяком случае, подобное словотворчество вполне естественно, как естествен, например, одуванчик в поле. Но отцветёт одуванчик – сорвите его, иначе занесёт он свои семена во все огороды окрест, доставит хлопот. Не к чему насыщать подобными словечками и молодёжные повести. Особенно много их в современных журналах. Можно составить целый словарь выраже-

ний, откровенно грубых, но чем-то милых авторам таких повестей. Вот разговор молодых людей, составленный из реальных фраз, которые извлечены из журнала «Юность»:

«Опять завёлся! Завязывай!.. Заимел на всякий, притырок, и отвалить захотел?» – «Ты не сечёшь моих мыслей, фантомас. Только большое дело даёт большой кайф!» – «Перебьёшься. А уж фасад я ему покрашу, дам по рогам, это уж точняк». – «Уловил... сделаешь? Спасибо, старина. Так звякни».

Вот уж верно: «ой, ребята! жутко хорошо!»

Молодёжная речь – речь устная. Тут важна интонация, отношение, даже взгляд, который способен сгладить ощущение грубости или выразить мысль с убийственной остротой. Записанное, да ещё и поданное столь густо на печатных страницах, утрачивает оно почти весь свой аромат, как цветок на гербарном листе. Не дело писателя – хватать всё подряд, что подвернётся под руку. Литература обязана делать выбор – из многих вариантов речи. Литературный язык – не разговорная речь и тем более не жаргон. Искусство художественного слова, как говорят мастера, – это способность создать образ, выразить словом, умело вплести в собственный его стилистический ряд.

На чужой эмоции не проживёшь, на старинном образе не выедешь, коли своего понятия нет!

«Мурло мещанина» и русская речь

В истории народа, его языка и понятий частенько случается так, что слово и понятие не сходятся до поры до времени в общем фокусе: то слово не найдено, хотя жизнь настоятельно требует его, то, напротив, слово уже есть, но не наполнилось смыслом жизни и означает не то, что могло бы. Это великий соблазн для мещан – любителей слова, слова не понимающих. Они моментально подхватят его, стремясь приспособить

на личные нужды, точно так же, как хватают они всё вокруг, что плохо лежит.

Этическое и общекультурное представление о мещанстве как о явлении возникло в конце XIX века. К сожалению, явление это, начисто отвергнутое было советским обществом, всё ещё живо, так что и слово, обозначающее его, в нашем активном словаре. Мещанство, по видимости исчезнув в социальных вихрях XX столетия, одновременно разнеслось мельчайшей пыльцой по душам многих людей, вроде бы вовсе не мещан.

Приноравливаясь к любым временам, мещанство вползает и в новую жизнь, проявляет себя в психологии, в культуре, в языке.

Именно язык и позволяет раскрыть его, потому что, меняя обличье, мещанин не в силах обойтись без языка. «С языком шутить нельзя, – предупреждал В. И. Даль, – словесная речь человека – это видимая, осязательная связь, звено между душою и телом, духом и плотью». Речь человека выдаёт не только его характер, но и весь его дух и смысл, его нацеленность в жизни, его общественный тонус. Дух и плоть мещанина – в его речи, в словах, которые он предпочитает, в терминах, которыми пользуется, в особом пристрастии к известным выражениям и фразам.

На первый взгляд в речи мещан много общего с речью молодёжи. Однако есть и принципиальное отличие. Язык молодёжи устремлён в будущее, язык мещан – в прошлое.

Русскому слову следует оберегать себя от влияния мира, уходящего в прошлое, от мутных хлопьев вчерашнего мировоззрения. Не всё так невинно, как кажется. Язык – выразитель миросозерцания, точка зрения и точка отсчёта всех ценностей, какими по праву сегодня мы все владеем. Мещанство в отношении к родному языку в полной мере проявляет своё миросозерцание, свой тлетворный дух, неприемлемый для всего общества.

Суть, а не видимость – вот что определяет наше миросозерцание. У мещан другой, прямо противопо-

ложный лозунг, жизненное кредо – *казаться, а не быть*. Мир для мещанина предстаёт в паутине слов-однодневок, которые похожи на настоящие русские слова лишь внешне, а не внутренне, не смыслом своим. Мысль в этой паутине смятенно бьётся, не в силах понять своего назначения, ей невдомек, что именно она-то вовсе не нужна тут! Нужно прикрытие, тень – видимость, «крыша».

Одно из таких прикрытий для бездарности мещанской мысли – иноземное слово. Оно ведь всегда вторично, но стильно, а рабская подражательность во вкусах – тоже черта мещанина. Не будь иностранных слов – мещанин придумал бы их, да и придумывает, если хватает сил. «Кайф!» – это значит хорошо ему, славно. И неважно, что слово – турецкое, произносится (у нас уже почти два века) в соответствии с этим как *кейф*. Англизированное *кайф* выдаёт с головой мещанина в попытке приспособиться к современной моде на всё «английское».

И плывут из специального языка науки, от переведённых и плохо освоенных слов чужого языка словечки-недоноски, похожие на иностранные, что-то где-то для кого-то значившие, но ставшие теперь словесной шелухой, сплюнутой на ветер мещанским языком. *Всё железно*, а затем с нарастающим усилением: *капитально*, *оптимально*, *максимально*, *экстремально*. Он *в курсе*, он живёт *по высшему классу*, он *ходит на ревю*, он *крутится в темпе*, он – *нужный кадр*, у него *есть хобби*... Нет у него увлечений, у него только хобби – красивое, звонкое слово. Но всего лишь слово: сел на свой конёк.

Вот ещё речения, до боли знакомые, примелькались, всегда с нами: столовая на столько-то *посадочных мест*, *пара дней* или *пара дел*, загадочные *яйцо* и *кура* вместо русского *яйца* и *куры*. Время от времени поражают воображение разные объявления. «Товар с витрины не продаётся» – но ведь тогда это не товар, а экспонат! «Салон для приёма стеклотары» – очень мило; так говорили у Помяловского в XIX веке сто-

личные горничные: «салон вам ручкой!» «Требуйте долива пива после отстоя пены!» – торжественный гекзаметр в «административно-торговом» применении.

Мещанство изгаживает язык в угоду мелким надобностям дня. Мещане говорят красиво и этим отличаются, например, от бюрократов, которые говорят возвышенно. А ведь язык – не штампы и формулы, готовые к употреблению, а та внутренняя сила образа, которая веками стоит за корнем слова и в нужный момент развернётся новым словом, оборотом, фразой. Мещанский же язык враждебен творческому началу.

Как ни странно, из воровского жаргона в нашу речь вошло много слов. Нравственное чувство современника всячески противится им. Наоборот, мещанина привлекают такие слова, таинственность и дерзость незаконного действия, стремление отхватить кусок пожирнее притягательны для него. Отсюда и привязанность к непонятной другим воровской лексике.

В 1930-е годы исподтишка, сначала как шутка и будто в переносном смысле, вошло в разговорную речь из идиш выражение *по блату* – 'незаконным образом', как у блатных. Слово *blat* ('посвящённый') поначалу перешло в польский язык. Там оно значит 'укрыватель' либо 'взятка', а оттуда в воровской жаргон (там *блат* – 'преступление'). У Л. Леонова в романе «Вор» читаем: «Он был тот, на которого смотрел весь воровской мир, блат». Ни у Даля, ни у Грота в словарях девятнадцатого столетия ни этого слова, ни ему подобного нет, и только словарь под редакцией Д. Н. Ушакова в 1935 году впервые с пометами «новое, просторечное, вульгарное» включил его в статью «*блат* – воровской жаргон». В 1950 году 17-томный «Словарь русского литературного языка», который «по должности» обязан был включать в себя все слова, попавшие на печатные страницы, повторил определение словаря Ушакова, но уже подробнее, словно источник заимствования становился малоизвестным: «*по блату* – о незаконном способе получения чего-то путем протекции или обмана».

О первых послевоенных годах рассказывает роман А. Рекемчука «Тридцать шесть и шесть». Горячие проблемы 40-х годов поданы в разговорах двадцатилетнего журналиста Алексея. Вот один такой разговор с пожилым театральным режиссёром:

«– Не в Истоминой дело, а в самих словах, – уже спокойнее объяснил Алексей. – Слова какие-то старорежимные: *покровительство, протекция*... Тьфу.

– А как же это теперь называется? Просветите, если не секрет.

– Ну, *блат*.

– Блат? Так ведь это ещё хуже. И само слово хуже, и то, что оно обозначает, хуже».

Какая знаменательная смена декораций! *Покровительство* пришло в XVIII веке, *протекция* – порождение века XIX. Всесильный барин, способный покровительствовать таланту, влиятельный чиновник, умеющий составить протекцию начинающему, опустились до уровня мелкого мошенника, воровски устраивающего личные делишки – и не только в тёмных подворотнях: *блат*.

Неодобрение, которым встретило предшествующее нам поколение выражение *по блату*, удостоверяется и тем, что в популярных словарях оно не отмечалось вовсе (первое издание словаря С. И. Ожегова в 1949 году), и даже в фельетонах 1930-х годов, уже открывших это явление мещанского быта, самого слова *блат* избегали. Но взгляните на последние издания того же словаря, выходящие в 1980-е годы, на четырёхтомный академический словарь. В них находим уже не сочетание *по блату* с пометой «вульг.» – вульгарное, но самостоятельное значение отдельного слова, имени существительного (и значит – существующего!) «*блат* – знакомство, связи, которые можно использовать в личных корыстных интересах: *найти блат, по блату* (незаконным способом)».

За треть века смысл слова переменился, изменилась и точка отсчёта в его значениях: уже не честный человек этим словом порицает жулика, а сам жулик

оценивает «деловые» возможности окружающих его людей! Пытаясь навязать нам свой взгляд на мир, он выворачивает слово наизнанку, изменяя его оценочный смысл. Сегодня этому слову отказано в словарях в помете «вульгарное». Встречая его в речи, мы уже не слышим за ним ни таинства языка посвящённых, ни грубости воровского жаргона – то есть ни свойственного изначально этому слову значения 'укрыватель' (краденого), ни характерного для него позднее значения 'взятка'. Теперь слово *блат* – само по себе как выражение понятия, а не просто определение чего-то противозаконно-потаённого, хотя бы той же взятки.

Попытка смягчить, сгладить, притупить гражданское неприятие самого понятия – вот что содержится в изменении оценки вульгарного слова: уже не покровительство и даже не простые связи, а главный жизненный принцип, распространению которого призван воспрепятствовать уголовный кодекс. Попытка, и хотелось бы верить – ещё не победа.

Эмоции разговорной речи мещан вообще довольно крепко повязаны интересом к воровскому жаргону, это настораживает. В привязанности к старым арго виден социальный вызов мещанина, который нагло выражает своё презрение к тем, кого почитает низшими. Он *оторвал* себе вещь, он кого-то *подначил*, он *вызвонил* и *провернул дельце*, он *облапошил* и потом *заначил*, но пока ещё не *погорел*, не *влип*, не *засыпался*. Эти и сотни других малопочтенных ныне слов пришли из воровской речи XIX века. В словаре Даля их нет (или даны они с пометой: «так говорят мазурики»), в словаре Ушакова кое-что появляется, но с пометами: «фамильярно», «вульгарно», «новое из воровского арго». Современный же словарь снабжает их пометой: «просторечие». Словарь в своих показаниях всегда объективен, он сурово напоминает, насколько сегодня мы равнодушны к слову, позабыли происхождение, смысл его и значение.

Мещанин не просто привносит новое, переносное значение в слово, как это принято в русском языке,

он ломает все законы движения смысла в нём. Он нахально совершает насилие, извлекая из слова вторичный смысл, низводя народное слово на уровень «вторсырья». *Бедный* – ’неимущий’, в переносном смысле ’несчастный, жалкий’. Так употребит это слово каждый нормальный человек. Мещанин выворачивает его, и *бедный* для него – ’неразворотливый’ (’не рубит’). *Дешёвый* значит в переносном смысле ’ничтожный, пустой’. Для мещанина же *дешёвый* – ’нечестный’. *Крепкий* – по смыслу ’твёрдый’, а в переносном значении ’надежный, верный’. Воровская речь надругалась и над этим словом, вывернув его наизнанку: *крепкий* – ’слишком доверчивый’. Каждое слово, перебирая и прицениваясь, метит шайка своим клеймом, вырывая его из связи значений, оскопляя образный смысл его, лишая потомства. *Бедный* как глупый, *дешёвый* как бесчестный, *крепкий* как доверчивый, *серый* как подозрительный – все эти русские слова, выражая преступный взгляд исподлобья, в этом своём смысле как бы приговорены к насильственной и преждевременной смерти. Снять с них налет преступного мира – наша обязанность перед потомками.

Вся чисто внешняя экспрессия речи мещан сводится к уменьшительности: *фирмочка*, *точненько*, *везунчик*, *заначка*, *сходняк*, *разворотистый*, *наведенец*, *несунишка* и множество прочих, в которых хамское самодовольство выходит наружу. Экспрессия речи выражает личность – верно, но для чего нам экспрессивная речь личины?!

К миру мещанин присматривается с мыслью: как бы не прогадать. Это мир всего в двух измерениях: вверх и вниз. С одной стороны – «куда лезешь? чего прёшь? больше всех надо! подумаешь! н-но!», а с другой – «разрешите побеспокоить... подскочу к вам... извиняюсь...» «Вся его лексика, весь его синтаксический строй, – сказал о подобном социальном явлении К. Чуковский, – представляли собой, так сказать, дымовую завесу, отлично приспособленную для сокрытия истины».

Пусть не утешает нас тот факт, что во всех современных литературных языках больших наций происходит сегодня один и тот же процесс «снижения» речи с оглядкой на «среднего» горожанина с мелкими его интересами и жалким языком – именно такие особенности иноземной речи и копирует наш мещанин. Мещанство интернационально, язык же – по-прежнему наш, свой, родной. Демократизация языка может идти только через народный язык, все другие пути – это просто утрата языка. А народный язык – это, прежде всего, словесный образ, в котором не только прошедшее, но и – будущее.

Женская речь

«Читателю, вероятно, известно, что было время, когда наши дамы стыдились говорить по-русски и коверкали наш язык самым немилосердным образом, чего, не в укор будь им сказано, ещё и поныне заметны некоторые следы», – писал в 1840-е годы В. А. Соллогуб.

Женская речь во многих обществах, например в языческом ритуале, в столичном светском обществе XVIII века, в некоторых социальных группах XIX века, отличалась от мужской, иногда намеренно. Две из трёх постоянных характеристик языка – биологической, психологической и социальной – остаются контрастными в мужской и женской речи до настоящего времени. В произношении женщина отличается от мужчины тембром голоса, темпом речи, характером пауз, длительностью гласных. Актёр, играя женщину, всегда выдаст себя, женщине подделаться под речь мужчины ещё труднее. Девочки, как правило, начинают говорить раньше, постепенно осваивая звук за звуком в простейших сочетаниях и так – до осмысленной фразы. Мальчики обычно отмалчиваются, пугая неопытных родителей, но зато начинают говорить сразу предложениями, долго пренебрегая деталя-

ми произношения. Только к восьми годам силы уравниваются.

Даже в сложных случаях женщинам удобнее размышлять вслух, и тогда монолог превращается в диалог, нередко разрастаясь постепенно в хор. Коллективное мышление, благодаря своей явной гласности, демократичнее и притом допускает проверку рассуждения в любой его точке. Это значит, что речевое (вербальное) мышление женщин быстрее приводит к верному заключению.

Благодаря устремлённости к диалогу, женская речь приближается к разговорному стилю, часто нарушающему строгие законы литературной нормы. В постоянном конфликте между устойчивой литературной нормой и причудливо изменяющейся разговорной речью женщина держит сторону последней. Не очень часто развивая её творчески, она тем не менее быстрее мужчины улавливает важное, что приносит с собой новое выражение, и активно вводит его в норму.

Языковедам известно, что женщина лингвистически «быстрее» мужчины, она быстрее осваивает иностранные языки, вводя их в общество: в петровские времена – французский, в XIX веке – английский (долгое время считался языком барышень), сейчас – итальянский (как хобби). На лингвистический вопрос у женщин всегда больше ответов, и ответы даются почти в одних выражениях, поскольку набор общеупотребительных слов у женщин всегда удивительно совпадает. Мужчины проявляют больше индивидуальности в выборе лексики. Короче говоря, мужчины создают штампы – женщины их сохраняют.

В беглой речи женщины чаще употребляют местоимения, частицы, отрицания и прочие «второстепенные» слова, в которые можно вложить эмоцию, а речь мужчин ориентирована на существительные, которые непосредственным образом воплощают понятия. «Мужским» терминам отвлечённого смысла женщина предпочитает бытовые слова, но зато уж освоив специальную лексику, начинает даже злоупотреблять ею. Так,

в прошлые времена женщина почти не знала книжных слов, справедливо видя в них опасность для живой речи. Женщины очень любят прилагательные, формы превосходной степени (*Ужас сколько!*), а также «ласкательные» выражения. Пока на пишущей машинке работал мужчина – это была *машина*. С начала XX века его сменила «пишбарышня» – и машина обернулась *машинкой*. Все старинные русские слова вроде *чаша*, *миса*, *ложица*, *таз*, *тарелка* именно женщина в своей речи последовательно изменила в *чашку*, *миску*, *ложку* (и *ложечку*), *тазик*, *тарелочку*, превратив уменьшительно-ласкательный суффикс -*к*- в обязательный знак принадлежности слова к существительным. Так, в слове *водка* суффикс -*к*- не означает уменьшительности ('водичка'), а является признаком появления у слова нового значения, отличного от значения слова *вода*. С помощью этого суффикса и сегодня приземлённо бытовые слова противопоставляются возвышенно-книжным: *глажка* («одной с *глажкой* не справиться») не то же самое, что *глажение*, в котором в большей степени сохраняется глагольность корня. Но *глажение* – славянизм, характерный для книжной речи, а *глажка* – «домашнее» слово. *Косметичка* – типично «женское» слово, из тех, которые образуются всё по тем же образцам, хотя сегодня уже чаще от иностранных корней.

Социальная активность современной женщины порождает несвойственные языку формы. Незаметно для себя женщины как бы стараются уподобиться мужчине и в выражении мысли, и в форме слов: *бы́ла*, *по́няла*, потому что *бы́л*, *по́нял*, хотя старинные *была́* и *поняла́* – лучше и выразительнее. Однако язык и помогает женщине утверждаться. Например, старое слово *учитель* с помощью суффиксов обрастает уточнениями, из которых самая нейтральная форма *учительница*. Нарушается смысл и во фразах типа «Молодой доктор пришла» (принято: «Доктор пришла», и сомнительно «молодая доктор»), так и хочется сказать: *докторица*? *докторша*?

Однако, несмотря на всё это, различия в речи мужчин и женщин вовсе не препятствуют тому, чтобы договориться – и в семье, и с друзьями, и на работе...

Тип петербургской женщины XVIII века мало известен, но, вероятно, он не очень отличается от того, какой требовался по строгим канонам древнего благочестия. Ещё в самом начале XIX века сохранялась мода на такой тон: «...Петербургская Барышня, – язвительно сообщает Барон Брамбеус, – тиха, как кошечка; скромна, очень скромна!.. Она краснеет, когда ей приходится сказать слово *нога*, а слова *подвязка* не выговорит она вам ни за какое благо в мире... Сверх того, какая она застенчивая с мужчинами!.. Она не умеет сказать им и трёх слов, хотя прекрасно знает три иностранные языка – французский, английский и немецкий; русского и считать нечего, потому что это язык природный, то есть она знает по-русски столько, сколько ей нужно, чтоб объясняться с горничною и приторговать пять аршин тюлю в Гостином дворе».

Видимо, застенчивость в употреблении грубых и маловыразительных русских слов и приводила петербургскую барышню к мысли изучать жантильные языки, чтобы не женироваться в... Я хотел сказать: модные языки, чтобы не стесняться в галантных... Вот ты, беда какая: так и накатывают слова из лексикона петербургской барышни XIX столетия!

Однако случилось невероятное. И я опять предоставляю слово очевидцу – Н. И. Гречу, издателю и лингвисту: «Сочинения Карамзина произвели в России ту благодетельную перемену, что и женщины стали с удовольствием читать русские книги, а без женщин, без содействия их нежного чувства, нет успеха в изящных искусствах».

Это мнение справедливо. Своими успехами русская литература первой половины XIX века, несомненно, обязана женщине, которая приняла её, поддержала художников слова, а сама познакомилась с тем, что можно назвать, хотя и весьма условно, русским наре-

чием. Это тем более важно, что, по мнению Н. Г. Помяловского, вообще-то «сословность в женщине гораздо сильнее, чем в мужчине», а одним из сословных признаков дворянина была любовь к французскому языку. Однако именно женщины, что бы ни случилось, куда бы ни забросила их судьба, берегли родную речь. И. А. Гончаров рассказал о поразившем его: в Сибири, где он побывал в начале 50-х годов XIX века, ни один русский по-русски не говорил, предпочитая якутский язык. И вот именно «дамы в Якутске, жены и дочери чиновников, перестали в публичных собраниях говорить этим языком», перешли на русский.

Правда, отношение к русскому языку у женщин своеобразное. Подчас это разговорный, всегда ограниченно бытовой разговор, ничего общего с литературной речью не имеющий. Поэтому-то начиная с Н. И. Новикова в XVIII веке и порицали писатели ту русскую женщину, которая в быту желала вернуться к родной речи: женщины портят русский язык! Позиция Новикова по крайней мере ясна: ему не нравилось, что дамы не употребляют высоких славянизмов и недолюбливают отвлечённости научного стиля. Но вот мнение гимназического наставника В. Долопчева, высказанное уже в начале XX века: «Наиболее грешат против чистоты языка женщины и дети по причине поверхностного изучения отечественного языка, недостатка в чтении и частого общения с прислугою, у которой заимствуют областные слова, неправильные обороты речи и произношение».

Таково суждение специалиста, который русским языком считает только литературный – разговорный для него слишком груб. Однако – и это удивительная удача! – писатели в своих творениях стали подражать именно тем, «кто пишет так, как говорят, кого читают дамы!» (К. Н. Батюшков).

Однако пора вернуться к петербургской барышне и посмотреть, какой стала она к середине века, после знакомства с трогательными повестями Н. М. Карамзина и народным слогом А. С. Пушкина.

Представляю вам героиню повести П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя». Молодая светская женщина Мария Михайловна, 22 лет, дворянка, вдова чиновника, бывала за границей, живёт в хорошем доме с малолетним сыном, знает все три положенных петербургской даме иностранных языка и... «знает русские слова». Ни в одной европейской столице «не попадается таких прелестных женщин, как в Петербурге. Здесь смешанная порода... Полунемецкий, полупольский, полуславянский тип». Её речь – смесь русского просторечия с галлицизмами и иностранными словами, её мысли не всегда понятны, да она и не желает их выставлять: она хочет, чтобы поняли её чувства. Итак, ей слово: «Всё родство в таких грандёрах, что рукой не достанешь! ...Ее бы послали к чёрту на кулички; ...Ползает... перед каждой дурой; ...Его jargon в том же роде... но только в десять раз грубее; ...У него пропасть такту; ...Я покраснела от непривычки говорить по-русски; ...Я глядела на него, почти выпуча глаза; ...Готова забыть свой страм; ...Он... раскланялся со мной без всякой аффектации; ...Он же подал мысль видеться где-нибудь на terrain neutre [нейтральной территории]; ...Из нашей хохотни всегда выйдет какая-нибудь мысль; ...Он мне уже говорит иногда "ты", когда разговор идёт по-русски; ...Моя физия стала эффектнее; ...Он говорит, что я страшно похорошела; ...Произвести блистательный эффект на большом бале; ...Мою куафюру с опущенным вуалем; ...Мое любопытство так и прыгало; ...Послушайте, моя милая, кто вас выучил так приятно произносить русский язык? – необыкновенно симпатичный контральто; ...По-русски говорит так вкусно, удивительно, что прелесть; ...Писала смешные глупости с грамматическими ошибками; ...Ехали мы очень шибко; ...Не знаю, много ли их, этаких идиотов, но если бы они не водились, и женщины перестали бы манериться; ...Я так омужчинилась, что не могу уже иначе выразиться, как мудрёными словами! ...Я замечала, вернувшись в Россию, что теперь неглупая женщина не может по-русски

двух слов сказать, чтобы не вставить *принципа, организма* и *интеллигенции*! ...Имела глупость войти в амбицию; ...А по-русски и мы-то хорошенько не смыслим, не только что какие-нибудь кордебалетные девчонки! ...Все свои люмьеры соберёт воедино и начинает вас бомбардировать вопросами; ...Когда он Чацкого играл, все дамы в первый раз застыдились, что не умеют так хорошо говорить на отечественном диалекте; ...Русский язык очень меня стеснил. Я, конечно, говорю; нахожу даже, что для вранья он иногда приятнее французского, но тут, на глазах всех этих уродов... у меня вовсе нет фраз, я ищу слова; ...По-французски, по крайней мере, есть готовые вещи, и все их повторяют с незапамятных времён...»

Прервём сбивчивую речь размышляющей петербургской дамы и пожалеем её: запуталась она в своих... проблемах. А ведь на глазах читателя она почти самостоятельно пыталась освоить русскую речь, перебирая знакомые ей русские слова, отвергая иные из них, примеряясь к другим. «Вы первая русская женщина, – скажет Марии Михайловне один из героев романа, писатель, – у которой такая точность выражений. Вы не только не ищете слов, вы даже не поправляетесь никогда. Это – замечательная черта».

Есть и другие особенности её речи – характерное произношение слов, построение фразы, совершенно нерусской, и др., чего касаться не будем. Иностранные слова ещё не выражают в этой речи адекватных им понятий, галлицизмы перемешаны с грубоватыми русскими идиомами, словообразование – типично разговорного характера (*хохотня*), конструкция фразы простая, но каждое предложение словно выдернуто из некоего целого, представляя дробность мысли, как бы членённой вздохом, минутным впечатлением, ритмом суетливых движений.

Конечно, были в XIX веке и другие женщины, образованные и более, и менее Марии Михайловны. Были среди них и писательницы с ясным слогом и гибкой фразой. Однако женская речь выделялась всё

теми же особенностями. Когда А. Я. Панаева и Н. А. Некрасов совместно писали романы, всегда было видно, кто из них отделывал ту или иную главу.

В России того времени не было ещё «культурной» разговорной речи, основанной на литературном языке. Не было условий, в которых русская женщина нашла бы для себя нечто общественно полезное. Однако своим участием в развитии языка и она готовила почву для развития форм разговорной городской речи. Сравните с речью Марии Михайловны монолог современной дивы, скажем, Пугачевой или Новодворской. Что изменилось и что – осталось?

Воровской жаргон

Из удачного фельетона, показавшего типичный склад такой речи:

«Хэлло, бэби, – сказала она и достала “Лакистрайк”. – Хэлло, – я щёлкнул лайтером “ронсон”. В баре висел смог, как над картинговым треком. Эркондишн, как всегда, фурыкал. Да и вообще, бар был не тип-топ – какой-то попартистский по дизайну. Я заказал двойной скоч и драймартини. Она любила драймартини. – Как бизнес? – спросил я. Хреново: никакого профита. Она опустила голову. Всего на инч. Но я недаром вкалывал в “Ллойд, Ллойд энд Прайс лимитед” – ”Спешиал сервис фор резидентс”...»

У всех на памяти энергичная борьба с остатками «гулаговского сознания», изобличительные речи новых праведников, посвятивших свою жизнь искоренению «тоталитаризма», «коммунизма» и прочих сорняков общечеловеческой морали.

Эта деятельность, какой бы полезной она ни была, оставила после себя лагерную лексику, упрощённый образ мыслей – чёрно-белых, лишённых диалектики и красок. Вокруг себя слышим мы ежедневно не просто поток просторечных, всплывших из тёмных глубин беспамятного сознания *аж*, *ихный*, *отстёгивать*,

ложили цветы, дадена неделя на переговоры, показывает о том, упрёки о том (вместо *показывает то, что... упрёки в том*) и др., но и выражения с основательным уголовным прошлым.

Включаешь телевизор – и вот уже «Момент истины»: ведущий позволяет себе выражения вроде «она уже пересохла к чёртовой матери», «на хрена это тебе надо?», «фигня это всё»...

Нельзя сказать, чтобы подобные словечки не были известны большинству нашего населения. Иные из выражений попали прямо из просторечия, но обросли побочными со-значениями, как днище старого фрегата обрастает ракушечником и ржой. Специалисты подсчитали, что в общеуголовном жаргоне используется около 1400 слов, попавших туда из народных диалектов, 2850 слов – бывшие просторечными, и около 500 – искажённые в произношении литературные слова. Сколько здесь слов из других языков – не сосчитано, но это именно заимствования, не осмысленные русской ментальностью. Например, известное нам немецкое слово *Rasttag* так и звучит – *растаг* – «день отдыха», а вовсе не народное *роздых*. Известно в точности, что в этом жаргоне 742 обозначения кражи, 126 названий грабежа, 384 – мошенничества и так далее. Если обилие синонимов, по уверению многих, является основным преимуществом высокоразвитого языка, то воровской жаргон на первом месте. Правда, касается это только определённых сфер «понимания» и «деятельности». Самые обычные русские глаголы образуют устрашающую по числу «синонимов» цепочку путем распространения глагола соответствующими именами, и *брать за жабры* – только самое скромное по эмоции выражение, определяемое глаголом *брать*. Да и сам подбор употребляемых при этом глаголов интересен. Воровской жаргон использует в своих целях только глаголы типа *брать, взять, врезать, всучить, гнать, давить, дать, делать, кинуть, ломать, посадить* и прочие, всё с тем же обязательным добавлением имён (типа *дать в...*). Русский глагол тут обозначает не дей-

ствие, а деяние, служит чем-то вроде вспомогательного слова при основном – при имени.

Лагерная лексика пропитала наш быт: с кем поведёшься, от того и наберёшься... *Базлать* – говорить громко, *бухтеть* – тихо, *мудеть* – болтать чушь. Все эти глаголы – из народной речи, но и они искажены в значении. *Базлать* – не только говорить громко, но и буянить, шуметь, болтать, говорить чушь... Из народных говоров пришли глаголы *мурыжить* – но это мучить, обманывать, приставать к кому-то, *мухлевать* – но это не просто мошенничать, обманывать, а также и ворожить, заколдовывать.

Именно в Петербурге XIX века отлился в законченные формы и воровской жаргон – наречие городского «дна», созданное специально для сокрытия мыслей своих – как их ни мало – от посторонних. Его называли «блатной музыкой», «байковым языком». Некоторые слова и выражения позднее вошли в разговорную речь города: *оголец*, *амба*, *для близиру*, *для форсу*, *двурушничать*, *достукаться*, *жох*, *зашился*, *засыпался*, *завсегдатай*, *темнит*, *не каплет*, *захороводила*, *забуреть*, *кемарить*, *шебаршить*, *манатки*, *чинарик*, *чихирь*, *башка*, *зубы заговаривать*, *трепаться*, *охмурять*, *кирюха*, *клёвый*, *лады* (или *ладно*), *лататы задал*, *мокрое дело*, *липовый* (или *липа*), *слабó*, *стырить* и *настырный*, *подначивать*, *на ширмака*, *чумичка* и многие другие, включая сюда и знаменитую *малину*. Источником их были слова финские, татарские, цыганские, турецкие, даже попавшие к нам китайские, но больше всего слов немецких и еврейских. Сравнение с воровскими «языками» других народов показывает общий тип мышления уголовников.

В постоянной тревоге «засыпаться» воровской мир изменял и смысл обычных русских слов, так что становились они непонятными для непосвящённых: *грубо* 'хорошо' (тут же и более новое *круто*), *обратно* 'снова' (тут же и *по новой* 'опять, вновь'), *прогореть* 'разориться', *завалить* 'убить' (отсюда и просторечное *завалить дело*), *слинять* 'убежать, избегнуть беды',

серый 'ничтожный, неясный', *ушлый* 'умный', *дешёвый* 'нечестный' (*дешёвка* 'дешёвая водка'). Использовали и почти понятные современному обывателю выражения: *что-то темнит, замотал мои вещи, оторвал вещь, его купили, ушлый парень, подняли хай...*

Образцы подобной речи русские писатели давали с осторожностью, поскольку их герои «говорили что-то на условном жаргоне, представляющем смесь из еврейского, цыганского и румынского языков и из воровских и конокрадских словечек» (А. И. Куприн). Иное дело – 20-е годы XX века, когда жаргон хлынул на страницы беллетристики в изобилии и примерно в таком виде, как у И. Сельвинского:

Вышел на арапа. Канает буржуй.
А по пузу золотой бамбер.
«Мусью, сколько время?» Легко подхожу...
Дзззызь промеж роги... и амба.

Подобные речения вплоть до неистребимого *скока время?* – сегодня можно встретить в разговорной речи горожан. Почти все. К сожалению.

То, что впоследствии стало приметой городского просторечия и часто используется в разговоре как экспрессивное средство выражения, чаще всего восходит к чуть искажённым в значении общерусским словам: *глубоко* 'совершенно, полностью', *даром* 'без усилий' (т. е. первоначально 'без подготовки к «делу»'), *нахально* 'насильно' и др. На первый взгляд их значения понятны каждому (но именно сегодня, после того как многие популярные стихи и песни нас «просветили!»). Однако незаметное «уменьшение» исконного значения слова налицо, и сменившее его переносное значение не столь уж удачно с точки зрения языка в целом. Ведь язык обладает и другими словами, обозначающими то, для чего потребовалось искажение смысла.

Д. С. Лихачев, специально изучавший в 1930-е годы воровской жаргон, заметил, что и в вывернутом наизнанку обычном русском слове, и в таинственном звучании чужого слова проглядывало желание скрыть-

ся, хотя бы на время исчезнуть из вида и со слуха. То была попытка магическим отношением к миру зашифровать этот мир непонятным словом. Магия слова. Слово – сигнал, с помощью которого можно воздействовать на этот мир. Кроме того, воровская речь очень экспрессивна. Она вся рассчитана на непосредственность чувства, на эмоцию, с помощью особого слова пытается внушить нечто важное для воровской среды. Отсюда и игра словом, на первый взгляд невинная. В почёте особые клички, запретные слова или слова, заменяющие одно другим. Подобная речь, воздействуя на эмоции, не рассчитана на длительное существование. В каждом новом употреблении она как бы рождается вновь, обновляясь в формах и знаках, чтобы хотя таким образом сохранить таинственную привлекательность. «Плодовитость воровской речи, – писал Лихачев, – напоминает плодовитость рыб – чем больше они мечут икры, тем больше её погибает (характерная черта низших организмов)».

Такой она и была – неустойчивая по значениям и слишком выразительная по эмоциям, чтобы служить долго. Это не язык и даже не речь как живая форма народного языка. Это жаргон, который уходит... Но не сразу. Особенно в 1920-е годы экспрессия воровского жаргона казалась живой и привлекательной, и она захватила многих. Засорение подобными вульгаризмами русской речи приняло такие размеры, что пришлось специально писать исследования и, составляя справочники и словари, настойчиво предостерегать молодёжь против злоупотребления жаргоном.

Однако в городском просторечии многие из них остались и даже неожиданно для всех – получили новую жизнь. Основная цель этой книги – остановить потоки разгулявшихся по нашей земле жаргонных слов. Список общеуголовных слов, внедрённых в нашу речь, пусть будет напоминанием о том, что так говорить не следует:

Бабай, баксы, сварганить, надраться в драбадан, вертухай, вкалывать, вколачивать бабки, гадюшник

(притон), *гоношить(ся)*, *греби отсюда*, *забурел совсем*, *завязал*, *ишачить*, *лабать*, *оборзел совсем*, *офонареть*, *очкарик*, *мымра*, *оторвать* (украсть), *шмонать*, *гмырь*, *мент*, *мухлевать*, *ханыга*, *мурыжить*, *туфта*, *ништяк*, *лох*, *на халяву*, *не волокёшь*, *лимон* (миллион), *пятак на рыло*, *ряжка*, *накнокать*, *шмутьё*, *будь как штык*, *поиметь*, *пижон*, *пахан*, *пацан* (буквально: *крысёнок*), *заныкать*, *подзалететь*, *трахнуть*, *шустрить*, *лажа*, *психануть*...

Намеренно не привожу значения этих слов – но тот, кто слышал, знает их смысл. Употребление подобных слов всегда неприятно для вашего собеседника.

Варваризм как признак времени

Шотландский врач Джон Кук, бывавший в Петербурге в XVIII веке, писал, что в северной столице каждый говорит на семи-восьми языках — и на всех неправильно. Удивительно, но это так. Как сказал поэт, «Мы все учились понемногу...» и выучили только то, что полезно в деле. Педантичный иноземец заметил, что его русский собеседник бросает словечки, почерпнутые из разных лексиконов, и решил, что тот знает, хоть и плохо, языки. Какое заблуждение...

Сегодня то же самое, но уже в грандиозных размерах, хотя и нынешние куки себе на уме: они просто требуют, чтобы ты говорил о *рекламе*, *менеджменте*, *дилерах*, *бизнесе* и прочем, забывая русские слова, а с ними и собственные понятия о том же самом и о ц е н к и его. «Словари новых слов», постоянно издаваемые Академией наук, набиты подобными словечками, а современные газеты так просто пестрят неразжёванными варваризмами. А «пёстрым», *пестротою* на Руси всегда называли всё дьявольское или, говоря по-нынешнему, инфернальное.

Вот именно – варваризмами.

Заимствованные слова в каждом языке проходят свой нелёгкий путь укоренения. Заимствованиями они

являются по происхождению, по употреблению и по смыслу своему.

По происхождению иностранных слов у нас много, и притом в разговорной речи, это бытовые слова. Заимствованные в далёком прошлом, стали они вполне русскими: *блин*, *сарафан*, *изба* или *баня* – куда как русские слова. Кто помнит теперь, что заимствованными были *книга*, *буква* или, скажем, *свёкла*, *огурец* и та же *капуста*?

Иностранные по употреблению – это специальные термины, которые обычно включают в словари иностранных слов и изучают как науку; иногда вся «наука» сводится к изучению таких слов (например, в школьных программах). Это и есть язык науки, но отдельные слова и у каждого на слуху: *терапевт в поликлинике* пропишет *аспирин*.

Иностранные по значению, по смыслу своему и есть те самые варваризмы текущей действительности, которые схватывают на лету, не освоив их смысла, наши современники. В основном – мужчины и особенно молодые люди; женщины инстинктивно сторонятся подобных слов (речь, понятно, о женственных женщинах). Иные из варваризмов потом входят в нашу речь на правах русских слов, но не всегда, и долго ещё остаются для большинства современников «мутной водой в облаках небесных», как выразился о них питерский публицист в XIX веке. То же и сегодня: *инвектива* вместо *возражение*, *генерация* вместо *поколение*, *вариабельность* вместо *изменение*, *циничные бутады* вместо *выпады*... Каждый продолжит список, разворачивая поутру свежую газету.

Брошенное в нашу жизнь подобное новое слово и есть варваризм, ни родства, ни смысла не имеющий. Продуманный же в смысле своём и включённый в систему близкозначных русских слов, ограниченный их присутствием в каждом высказывании или тексте, варваризм воспринимается иностранным всё-таки словом, но уже понятным, то есть наполненным определённым понятием. Тогда пред нами то, что

называют «заимствованной лексикой», заимствованием.

Но когда такие заимствования притрутся к нашей речи и по форме, обрастая суффиксами и окончаниями, признаками наших частей речи и даже изменяясь в произношении, – тогда мы забудем, что эти слова иностранные.

Оставим на совести тех, кто любит «пудрить мозги» варваризмами, их стиль и тон и разберемся в простой механике перерождения варваризма в обычное (иногда совершенно необходимое нам) русское слово.

Самый распространённый способ «перевода на язык родных осин» – дублирование русским словом, так, чтобы всем понятным стало, хотя бы приблизительно, значение варваризма.

Морально-этический, опытно-экспериментальный, отвлечённо-абстрактный и прочие обозначают один и тот же признак для русского и иностранного слова. Однако становится ясным смысл усиленного иностранным термином понятия о морали, эксперименте или абстракции. Сегодня никто не скажет *грунт земли* или *физиономия лица*, а в XIX веке так говорили; *грунт* и *физиономия* понятны без перевода, но стали понятны благодаря переводу. Однако важно: они не заменили, вытеснив, русских слов, а как-то растворились в стилистических оттенках. *Грунт* – термин, а *физиономия*... каждый знает, что такое физиономия. Но и сегодня язык испытывает на прочность слова *экспонат, вакансия, мемориал, сервис*, отсюда назойливые выражения вроде *экспонаты выставки, свободная вакансия, мемориальный памятник* или *служба сервиса*.

Сочетания типа *опытно-экспериментальный* также внешне похожи на целое высказывание, стоит только раздвинуть рамки слов: «опытный – это экспериментальный». Определение из толкового словаря, но в форме термина. Здесь чёрточка между двумя корнями сильней объединяет два слова, чем целое предложение.

Кроме сложного слова-определения может быть и определение существительным. Для русской речи – вполне обычная вещь. Дом отца или отцовский дом – почти равнозначны. Значит, при истолковании иноземного слова можно воспользоваться и этим способом пояснения смысла.

Патриот родины – пример введения иностранного слова таким образом. *Служба сервиса* и все остальные – тоже. Вам говорят ненавязчиво, пока не усвоите: патриот почти то же самое, что и человек, который любит свою Родину. Сервис – то же, что и служба, и т.д.

Сочетание с родительным падежом всё-таки дальше разводит два слова, это ведь сочетание, а не одно слово, как *опытно-экспериментальный*. Здесь одно подчинено другому и объясняется им. Слово *патриот* – словом *родина*, слово *сервис* – словом *служба*. Однако два слова, всё дальше уходя в историю, как слова одинаковые, но только русское и нерусское, со временем становятся самостоятельными, с разным значением и даже понятием. Тогда они могут встретиться вместе и «подать друг другу руку» – в виде союза.

Так и здесь, если неблагополучным кажется соединение слов *служба сервиса* тем, кто знает европейские языки, – как быть тому, кто их не знает? Выходит, каждый из нас должен знать и перевод только что заимствованного слова? А зачем? Сам язык помогает нам понять новое слово, располагая в речи слова таким образом, что русское, всем понятное как бы разъясняет суть иноземного, попутно истолковывая и новое для нас понятие; «сервис» же не охватывается понятием «службы».

У каждого понятия есть признаки различения (содержание) и те предметы (объём), которые именуются данным словом. И вот во всех «тавтологиях», здесь приведённых (и им подобных), как раз и происходит очень важное в процессе познания совмещение содержания и объёма понятия: своего, родного, и чужого, заимствованного, которое почему-то оказалось нам нужным именно сейчас. У одного слова шире объём

(слово *служба* обозначает самые разные формы «работы», а слово *сервис* – нет), у другого – содержание (у понятия «сервис» – больше признаков, но в нашей речи не все из них мы пока усвоили). Например, английское *сервис* – не просто 'бытовое обслуживание населения', т. е. коммунальные услуги, но и 'исполнение служебных обязанностей', и 'помощь в нужде', и 'услуга-одолжение', оно обозначает и личное отношение человека к тому, кому он оказывает этот «сервис». Понять это – значит усвоить не просто иностранное слово, но и всё, что за ним стоит, и что шире «службы». Необходимо время, чтобы разные слова и понятия сошлись в фокусе смысла, а попутно и слова окончательно распределили свои роли в обозначениях того, что они называют. Только контрастно поставленные рядом, постоянно «в деле» на наших глазах, они и смогут со временем стать р а з н ы м и словами русского языка.

...А теперь спросим себя: следует ли прерывать этот путь естественного вхождения слова в русский язык? И кто имеет на это право?

Другое средство перевода предоставляет фраза. Долго нам внушали, что «партия – передовой отряд...», что верно, поскольку по исходному смыслу латинского корня *партия* и есть отряд, идущий во главе какого-то дела. А кто не помнит фразы, повергавшей в смущение политэкономов: «экономика должна быть экономной»? *Масло масляное* – очень хороший способ втолковать задумчивому обывателю смысл иностранного слова. Согласно логическому закону тождества, *А* есть *А*, «и ежу понятно».

Но существуют слова особенные, идеологически важные. В них является даже не понятие, которое следует понять, но символ или, как говорили некогда, «слова-лозунги». Таким, по-видимому, никогда не стать русскими словами, слишком много в них оценочно символического. Не принимает душа их, что поделаешь. Но и без них не обойтись. Варвары XX века называют нас варварами; как же варвару без

варваризмов? Они – что бусы на шее или кольцо в носу. И только поэт сразу чувствует ложный звук в очередном заимствовании. Петру Вяземскому не нравилось слово *талантливый*, Владимиру Далю – *эгоист*, Николаю Лескову – *оккупация*, Александру Блоку – *дифференциация*... Эти слова остались в лексиконе, но стали ли они русскими?

Если перелистать старые словари, встретишь множество определений терминов, ныне весьма расхожих.

Вот словарик иностранных слов 1837 года, и здесь: *демагог* – руководитель народной партии бунта; *конспирация* – злоумышление; *революция* – возмущение, мятеж; *реформа* – восстановление порядка; *терроризм* – грозная система управления; *солидарность* – круговая порука. Позже, в других словарях, появились: *коммунизм* – общинность, *пролетарий* – нищий, бобыль, бесприютный человек...

Потребовалось полвека, чтобы в политической борьбе классов и партий публицистика наполнила социальным содержанием эти международные термины, возвысила их над обыденным представлением. Для Ф. Булгарина *диктатура* – всего лишь диктовка, например, статьи, а в наши дни – не ограниченная законом, опирающаяся на силу власть.

Вот как постепенно входили в наш лексикон политически важные слова.

Реакция – старое слово, каждый, знающий французский язык, мог его употребить в прямом значении (например, *реакция в химической колбе*). Пока не возникло нужды в политическом термине, научный смысл слова пытались переводить на русский язык. Радищев объяснял его как отдействие, Даль – как противосилие. Неопределённо и слишком темно получается в переводе на русский, никаких образных впечатлений. Пустое слово. Белинский в своей публицистике ввёл это слово в литературный быт как данность: *реакция* – 'возвращение к прошлому порядку вещей'. Публицистика Герцена развивала понятие дальше: «оплот европейской реакции». Явилось совершенно новое слово,

политический термин, известный в таком значении с 1863 года. «Но на светлом небе 60-х годов, – писал Л. Ф. Пантелеев, – осталось дымчатое облако – слово *реакция* было произнесено».

Вот ещё пример. Для князя В. Ф. Одоевского в начале XIX века *идеолог* – всего лишь вредный мечтатель, обычно идеалист; ещё и в середине века – это философ, изучающий историю идей, умозрительную философию, за которой нет действия; лишь в марксистской литературе 1880-х годов наполнилось слово новым смыслом, стало обозначать общую систему взглядов той или иной социальной группы, класса или партии.

Знакомый Пушкина Вигель писал о 1817 годе: «Слово *либерализм* в это время только что начало входить в употребление». Что значило оно? В настоящем смысле 'щедрость'; только оно происходило от другого слова, *liberte*, то есть 'свобода'. Французская свобода в аристократическом обществе России поначалу обреталась под видом обычной щедрости. Один и тот же термин, иностранное слово, каждый раз несёт на себе отпечаток своего времени.

П. Л. Лавров и другие демократические публицисты в XIX веке употребляли слово *система*, имея в виду не объективно существующее соотношение элементов, а теорию, систему взглядов. Сегодня *система* – 'самостоятельно существующая цельность', а не точка зрения на нее. Другие понятия до времени таились в русском обличье, постепенно раскрываясь на страницах русской печати.

Направление – перевод французского слова *tendance*. С 1830-х годов у Белинского это просто 'направление мыслей, ума, журнала', с середины века и шире – партии, группы. А это расширение смысла уже настораживало и вызывало подозрения. Переведённое на русский язык, слово оказалось слишком острым. И тогда, как бы желая успокоить и снять подозрения, в публицистику незаметно вплетается и заимствованное, не совсем определённое по смыслу,

не имеющее словесного образа слово *тенденция.* И невинно, и просто – средневековая университетская латынь, в которой *tendentia* всего лишь 'направленность'. Эзопов язык революционной публицистики широко пользуется этим словом, но каждый знает, что суть его – направление и другие столь же важные по смыслу русские слова. В 1882 году слово попало даже в словарь В. Даля, а этот автор далеко не каждое иностранное слово впускал в свой словарь. Слово *тенденция* дано тут как французское, которое по-русски значит: 'направление, стремление, тяга к чему-то'.

Эта вот «тяга к чему-то» и не нравится публицистам, которые не приемлют нового термина. С конца XIX века они предпочитают ставшие нейтральными по смыслу русские слова *течение*, *направление*, что угодно – только не *тенденция*!

Оказывается, политическую выразительность термина получает то русское, то заимствованное слово, но всегда в зависимости от того, кто и в каких целях его употребляет. *Направление* и *тенденция* со временем как бы поменялись местами, и всё оттого, что публицисты некоторое время вынуждены были прятаться за иностранным словом! Оно настолько впитало в себя значения соотносимых с ним русских слов (которые постоянно подразумевались), что эти подразумевавшиеся значения совершенно изменили смысл термина *тенденция*, и сегодня это слово даже звучит по-русски: не *тэндэнция*, а *тенденцыя*; так произносят и русские слова, с мягким согласным перед «е» и с «ы» после «ц». Слово стало русским по смыслу и по форме.

«Много есть таких слов, – писал сто лет назад критик Н. К. Михайловский, – ненавистных одним, священных для других: *цивилизация*, *революция*, *народность*, *конституция*, *отечество*, *слава*, *свобода*, *патриотизм*... Надо ещё заметить, что слова эти, имея мировое значение, тем не менее для каждого народа специализируются. У нас, например, есть своё слово *переворот*, но мы взяли и *революция* как слово, выражающее известный оттенок того же понятия, но не

нами выработанный. Слово это мы получили с известной готовой репутацией, проверять которую, однако, и не пытались. Мы только осложнили её своими разными элементами».

«Своими разными элементами» противоборствующие классы осложнили и самые обычные русские слова. Тот же Михайловский (которого считают народником) писал: «Явились даже термины *народники*, *народничество* – термины сами по себе недурные, но, к сожалению, во-первых, очень неопределённые, а во-вторых, захватанные руками эпигонов, не желающих быть эпигонами, а желающих во что бы то ни стало «новые слова» говорить... а для показания «самостоятельности» народный принцип подменивался национальным. Но и это не создавало нового слова, потому что возвращало нас к давно пройденной ступени славянофильства, без его цельности и последовательности».

Национальное – не совсем то, что народное, вдобавок славянофильский призыв к «народности» взят на вооружение и самодержавием: «православие, самодержавие, народность»; народ и народность поминают и все остальные слои и общественные группировки. Случилось настоящее «смешение языков»: одно и то же слово могло обозначать разные понятия.

«Игра словами» особенно распространилась в литературной критике – самом доступном виде критики. Вот три мнения литературных критиков 1860-х годов, которые относились к различным направлениям, но одинаково подозрительно приглядывались к слову *народ*.

«Слова: *народность*, *народ*, *народное благо*, *народные идеалы* – в конце 40-х годов сделались самыми популярными в литературе и начали употребляться на каждом шагу не одним каким-либо кружком, а в одинаковой степени сделались заветными лозунгами всех литературных партий» (А. М. Скабичевский). «В 58-м году так много твердилось о демократизме, о народности, так бесцеремонно играли словом *народность*. Это была любимая тема людей, болтавших пре-

имущественно на французском языке и воспитанных на французской литературе, во французских нравах, не признававших ничего святого – русского. Такая была мода» (В. Быкова). «Да вдобавок ещё, *народность* – бранное слово, т. е. не в смысле ругательного слова, а в смысле битвы, лозунга битвы...» (Ап. Григорьев).

Однако подобная – социальная – многозначность возможна и у слова, заимствованного нами; тут только важно, чтобы оно представало каждый раз как другое слово, совсем не то, что в устах остальных, что в употреблении других.

К таким-то словам относится и слово *прогресс*, которое мы заимствовали не один раз.

С 1600 года через немецкий или польский язык вошло в наш лексикон латинское слово *progressus*, что значит просто 'успех'. Его забыли.

В конце XVIII века то же слово пришло из французского и тоже в прямом значении 'шествие', но с обязательным разъяснением, вот как у Радищева: прогресс – «шествие разума». Слишком конкретно, на термин не похоже, и слово снова не прижилось.

С 30-х годов XIX века французское *progres* понимали как столь же простое 'движение'. Для многих бытописателей XIX века таким оно и осталось, как, например, в одном романе: тут *прогрессирование* – «дальнейшее развитие и воплощение в форму того, что ещё раньше, только смутно, бродило в её душе».

И лишь в 40–60-е годы это слово постепенно наполнялось известным теперь смыслом: 'движение вперёд', т. е. действительно 'развитие'. Это значение отчётливо проявляется в публицистике Белинского и его последователей.

Читающая публика внимательно следит за журнальной полемикой. В 1858 году молодая девушка из интеллигентной семьи (Е. Штакеншнейдер) пишет в дневнике: «Я была за границей, видела цивилизацию, приобретенную посредством прогресса, т. е. посредством шествования вперёд по тому пути...» Совсем как

у Белинского, но ниже: «Происходит какая-то путаница, слово *прогресс* заменило слово *цель*». Слишком много накопилось значений у нового слова, слишком часто его заимствовали, переводили и комментировали. Тогда же очень точно сказал об этом народник П. Ткачёв: «Едва ли есть много слов в общественном обиходе, которыми бы так часто или, лучше сказать, так постоянно злоупотребляли, как словом *прогресс*. Из слов, общих практической рутине и отвлечённой теории, это, конечно, одно из самых неопределённых слов. Ему не только придаются различные смыслы различными отраслями науки... но и в одной и той же сфере человеческих знаний или человеческой деятельности различные люди различно его понимают... Слово, которое имеет такое важное практическое значение, которое употребляется как ярлык для отличия друзей от врагов, должно бы было, по-видимому, иметь самый точный и определённый смысл».

В этом разъяснении хорошо выражена сущность иностранного слова, которое становится термином. Нужно знать то значение его, которое станет знаменем твоей партии. Не так было сто лет назад. Слова-термины часто оставались многозначными как раз оттого, что на русской почве в них не вкладывались ещё свои, организующие идеологический смысл, понятия.

Самыми светлыми и высокими словами могли пользоваться совершенно недостойные люди, и люди XIX века были на пороге того, чтобы слова *либерал*, *гуманист*, *прогресс* и другие считать чуть ли не ругательством. «Точный термин», иноземное слово – а такая неразбериха! Но точно такой путь прошли все социально важные термины – они закалились в огне политических битв, в сражениях отлили в металл тот самый – единственно важный и верный – смысл, который заполнил форму словесного образа. Слова получили – кроме значения – ещё социальную значимость, и сегодня мы уже владеем терминологией, которую создали для нас поколения. Уже перед второй мировой войной в интернациональном лексиконе на-

считывали до ста тысяч слов, и многие из них в том смысле, какой внесли в эти слова русские публицисты.

Иностранное слово больше знак, чем русское слово. Родное слово, отстаивая свои позиции перед иностранным, неизбежно проходит множество изменений смысла в попытке сохранить притом исходный образ народного слова. Вот они возникают одно за другим: *шествие... движение... развитие*. Однако всё это – не то, что нужно, совершенно не то, когда речь идёт о прогрессе.

Нетерпимость к новому иностранному слову у многих из нас есть неосознанное стремление сохранить словесный образ национальной формы, ввести её в оборот и тем точнее объяснить суть дела. Иногда это получается, но чаще – нет, не может оживить его дыхание современности. Всякий раз, как заходит речь о готовых интернациональных понятиях, такая попытка оказывается напрасной.

Но каждый раз, когда нам навязывают варваризм, мы встречаемся с варваром нашего времени. Высокомерным и наглым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своём развитии современный русский язык испытывает давление двух сил.

С одной стороны, это естественная снашиваемость образных форм языка, экспрессивных средств выражения, очень важных для нашего сознания и нашей речевой деятельности. Происходит своего рода рост энтропии, связанной с внутренней неупорядоченностью системы языка: система «перегревается», разрушаясь. Развивается «затухание» эмоционального заряда в сыгравшей свою историческую роль словесной форме. Говорили о деле *вырисовывается*, потом — *высвечивается*, теперь и это кажется слишком пресным выражением, и слышно почти вульгарное *вытанцовывается*. Смысл один и тот же, ни к рисунку, ни к свету, ни тем более к танцам отношения не имеет, но — всё и всем понятно, о чём речь. Уклончивое выражение мысли посредством передачи впечатления. Типично интеллигентская манера «говорить косвенно»...

С другой стороны, необходимо всё-таки ответствовать на вызов времени, наполняющего нашу жизнь совершенно новым содержанием. Новые смыслы жизненного контекста перекрывают отдельные старые значения русских слов — в торопливой суете мы стараемся заместить их путем заимствования варваризмов. И вот тут-то подстерегает опасность: мы вызываем к жизни духов преисподней, телесного образа не имеющих.

Примеры всюду, и вот один.

Словари «Новых слов русской речи» показывают сотни новых слов с иностранным «превербом» типа

анти-, *видео-*, *теле-*, десятки других. Что такое, в самом деле, эти *кинобалет*, *видеобалет*, *телебалет – кинобоевик*, *телебоевик*, *видеобоевик – кинопоэма*, *видеопоэма*, *телепоэма*?.. А также *кино* (*видео-*, *теле-*)+ *герой*, *драма*, *жанр*, *индустрия*, *клуб*, *новелла*, *портрет*... Туманное нечто, в природе не обретаемое или же существующее в другом качестве, как всем известные *балет*, *драма*, *поэма* и прочее. Родового смысла приставки *кино-*, *видео-*, *теле-* представляют собою отвлечённость идеи как слова, которое симулирует вещь. Высокий стиль речений только подчеркивает пустоту содержания, ведь высокий стиль обслуживает отвлечённо абстрактную идею, не имеющую связи с конкретностью вещи. Это миражи современной культуры, упакованные в рекламную обёртку. Однако, вместе с тем, это и есть то самое следование логике суждения, согласно которой новая информация может поступить и из внетелесной сферы, в суждении типа *видеопоэма*, *кинопоэма*, *телепоэма* – всё это *поэма*. Всё во всём и всё для всего.

Несводимость преобразованной формы языка и поступающих «от жизни» новых значений – дело временное. В творении новых форм язык не поспевает за текучестью жизни и вынужден – временно – довольствоваться перестроением наличных форм разговорной речи. Пусть не обманет нас сумятица слов и речений, описанных, в частности, здесь, в этой книге. Эта невольная паника под грузом навалившихся дел непременно схлынет. Язык дозреет и выстоит – ибо это такой язык. Главное всё-таки в нас самих, в нас и в нашем доверии родному языку.

Человек не может мыслить разумно иначе, как в языке.

Когда он вид подводит под род – он мыслит логически: *корова – это животное*. В логическом суждении узнали нечто новое, но – узнали ли?

Когда же человек уже род объясняет видом – он тоже мыслит, но мыслит уже художественно:

ж и в о т н о е – *это, вот, корова, лошадь там, собака...*

Наша мысль восходит в логической операции, чтобы затем ещё раз проверить себя в конкретности вещей, до них опускаясь. И так без конца. Художественное при этом столь же важно, что и логическое. Лишь дополняя друг друга, они порождают цельность познания. В конце концов и мозг так устроен: левое и правое полушария отвечают каждое за свою деятельность, либо понятийно логическую, либо творчески образную.

Вера и разум живут рядом.

Веря в разум, доверимся времени...

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Викторович Колесов

«КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ...»

Редактор А. И. Кривенко
Корректор Н. В. Евстигнеева
Художник П. С. Канайкин
Технический редактор Г. А. Смирнова

Лицензия ЛР № 01084 от 28.02.2000.

Подписано в печать 22.02.2001. Формат 84×108 $^1/_{32}$.
Гарнитура SchoolBook. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 24. Печ. л. 22.
Тираж 5000 экз. Тип. зак. № 207.

ОАО «Иван Федоров »
191126, Санкт-Петербург, Звенигородская ул., 11

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП ордена Трудового Красного Знамени «Техническая книга»
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

В ЭТОЙ СЕРИИ
МЫ ПЛАНИРУЕМ ВЫПУСТИТЬ:

М. А. ГРАЧЕВ
“ОТ ВАНЬКИ КАИНА ДО МАФИИ”

В. В. КОЛЕСОВ
“КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ...”
“ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЛОВА”

В. И. КОНЬКОВ
“ЯЗЫК СОВРЕМЕННЫХ СМИ”

В. И. МАКСИМОВ
“ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФОНЕТИКА”

Ю. В. ОТКУПЩИКОВ
“К ИСТОКАМ СЛОВА”

В. Н. СЕРГЕЕВ
“НОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СТАРЫХ СЛОВ”
“НАШИ ДРУЗЬЯ СЛОВАРИ”

Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ
“СЛОВО В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ”



Владимир Викторович Колесов
Доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой русского языка
Санкт-Петербургского государственного университета

Все чаще мы говорим об экологии среды и природы. Среда же, созданная самим человеком, – не природа, это – его культура. Можно даже сказать, что природа современного человека во многом объясняется его средой, его культурой. Язык – важнейший компонент культуры. И родной язык нуждается в охране и защите от всего, что грозит ему уничтожением. Если осознанно отнестись к языку и его проблемам, многие беды еще можно предотвратить.





ISBN 5-93893-074-X
9 785938 930742